Быть Принцессой

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРИ РУССКОМ ДВОРЕ

КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каждая девочка с детства хочет стать принцессой, чтобы носить красивые платья и чувствовать на себе восхищенные взгляды окружающих. Но так ли беспечна повседневная жизнь царских особ?

Русских императриц объединяло то, что они были немками, и то, что ни одна из них не была счастлива… Ни малышка Фике, ставшая Екатериной Великой, ни ее невестка, Мария Федоровна, чьи интриги могут сравниться лишь с интригами Екатерины Медичи, ни Елизавета Алексеевна, муза величайшего поэта России, ни Александра Федоровна, обожаемая супруга «железного» императора Николая I. Не было горя, которое миновало бы Марию Александровну…

О чем они думали, что волновало их, из чего складывался их день? Вошедшие в книгу дневниковые и мемуарные записи немецких принцесс при русском дворе дает исчерпывающий ответ на вопрос: каково же это – быть принцессой?

- Елена Владимировна Первушина
  - Екатерина II
    - Часть I
    - Часть II
    - [Декабрь 1761 – январь 1762 гг.]
  - Императрица Александра Федоровна
    - 1817 год
    - 1818 год
    - 1819 год
    - 1820 год
  - Великая княгиня Ольга Николаевна
    -
    - 1822–1830 годы
    - 1831 год
    - 1832 год
    - Зима 1833 года
    - 1834 год
    - 1835 год
    - 1837 год
    - 1838 год
    - 1839 год
    - 1840 год
    - 1841 год
    - 1842 год

- 1843 год
- 1844 год
- 1845 год
- 1846 год

Елена Владимировна Первушина
Быть принцессой
Повседневная жизнь при русском дворе

Екатерина II
Воспоминания

Часть I

Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

• качества и характер будут большей посылкой;

• поведение – меньшей;

• счастье или несчастье – заключением.

Вот два разительных примера:

• Екатерина II,

• Петр III.

Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный (см. «Дневник» Бергхольца в «Магазине» Бюшинга). Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекского, герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы.

«Екатерина после приезда в Россию». Художник Луи Каравак. 1777 г. Екатерина II Алексеевна Великая (1729–1796) – императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год.

«Действовать нужно не спеша, с осторожностью и с рассудком».

(Екатерина II)

Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре

камергера; из них двое – Адлерфельдт, автор «Истории Карла XII», и Вахтмейстер – были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, – голштинцы. Этого принца воспитывали в виду шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли.

С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданны принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более – его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа, вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.

Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит

многое.

Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.

Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.

Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата, с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.)

Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и Русским великим князем вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания.

Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило

величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать – по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, – что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского, для русского языка – он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого – профессора Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом.

Самым усердным учителем был Ланге, балетмейстер, учивший его танцам.

В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое

давало ему значительный перевес над политиканами передней.

Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского; маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, – матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги; у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана.

К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь Кабинета императрицы, служивший раньше в Кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил.

Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему.

Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был

очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.

Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.

На десятый день после моего приезда в Москву как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русского языка, и Ланге, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.

На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа: послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое.

Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль.

Наконец, в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый

день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала.

Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.

Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.

Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора.

Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе.

Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и,

между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей.

Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы.

Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом: я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться.

С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас; он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас; в числе их был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане.

В мае-месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью; в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая.

«Петр III и Екатерина II».
Художник Георг Кристоф Гроот. 1745 г.

«Доброй хозяйки должность есть: быть тихой, скромной, постоянной, осторожной; к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать к справедливости и любви к ближнему; перед родственниками и свойственниками быть учтивой,

добрыя речи слушать охотно, лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной на всякое изделие и бережливой в расходах».

(Екатерина II)

Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток; проходя, он подошел к великому князю и ко мне – а мы смеялись – и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец»; потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это; он ответил: «Об этом после узнаете», – и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал; первый рассуждал вслух, я – про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы не виновны», я ему ответила: «Долг мой – следовать за матерью и делать то, что она прикажет».

Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья; что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но небезразлична была для меня русская корона. Наконец, дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла.

Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.

Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью,

однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана en Moyse; я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться; когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался.

Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии, и следующий день, Петров день, – для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя; но я сказала ему, что это для меня невозможно и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные.

В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости.

В июле-месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной русской великой княжне, и тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день: мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери – в одной карете; великий князь, Брюммер, Бергхольц и Дукер – в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной; с тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышев; взяли одну из повозок с нашими постелями; приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышев и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней, и, таким образом, мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей

повозки; но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обер-гофмаршалу Брюммеру, обер-камергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и, между тем как мы смеялись дорогой, они бранились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа.

Наконец, в половине августа она прибыла в Козелец; мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в фараон в большой зале, посередине дома; в остальных помещениях всем приходилось очень тесно: мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери – в передней и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он действительно стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения; зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней, и, не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней; тем не менее я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете.

Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить; я замолчала и заплакала; великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и, так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка; одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. С тех пор великий князь невзлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия, и легко переходило в натянутые

отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее.

Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и действительно, великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец, 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там десять дней, после чего отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев.

Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы: моя мать, я и великий князь – были в театре в ложе напротив ложи Ее Императорского Величества, я заметила, что императрица говорит с графом Лестоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Лесток ее оставил и пришел к нам в ложу; он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?» Я сказала, что да. «Ну вот, – сказал Лесток, – она очень на вас сердита». – «На меня! За что же?» – был мой ответ. «Потому что у вас, – отвечал он мне, – много долгов; она говорит, что это бездонная бочка и что, когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом и что она старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит». Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, затем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел.

Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбранили. Это был довольно обычный его прием, и в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась. Что касается матери, то, когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашиваясь ее, она умывает руки в этом деле; итак, оба они стали против меня. Я же

тотчас решила привести мои дела в порядок и на следующий же день потребовала счета. Из них я увидела, что должна семнадцать тысяч рублей; перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне пятнадцать тысяч рублей и большой сундук простых материй, но я должна была одеваться богато.

В итоге оказалось, что я должна всего две тысячи; это мне показалось невесть какой суммой. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало три-четыре платья, это уже был предел возможного, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день; дюжина рубашек составляла все мое белье; я пользовалась простынями матери. Во-вторых, мне сказали, что в России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами; ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь затем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарков; дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала.

Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла пред ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще, я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало; у нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело: все старики были из нее изгнаны, вся молодежь – допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному; всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее.

В сущности, вся эта досада матери пошла оттого, что не

взяли с собой во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюммер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы. В ноябре-месяце в Москве великий князь схватил корь; так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях: мать и я – в одних, великий князь и граф Брюммер – в других. 18 декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хотиловский Яр, вечером в моей комнате великий князь почувствовал себя плохо; его отвели к себе и уложили; ночью у него был сильный жар.

На следующий день, в полдень, мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше; я хотела узнать почему; он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хотилове; графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге.

В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хотилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру.

Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и, когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышев, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышевым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих, но так как благодаря этой досаде было скучно до тошноты и выбора не было, а они были более образованные и

более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери.

Наконец, мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери – направо; как только мать увидела это устройство, она рассердилась: во-первых, потому, что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее; во-вторых, потому, что ее комнаты отделялись от моих общей залой; на самом же деле у каждой из нас было по четыре комнаты: две – на улицу, две – во двор дома; таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубою и красною материей, безо всякой разницы; но вот что еще больше способствовало ее гневу.

Графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома по приказанию императрицы, запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуясь со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах, и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне; она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете; я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и, вообще, я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней три-четыре раза в день, остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги, так что в пятнадцать лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста.

Графиня Мария Андреевна Румянцева (Румянцова), урожденная Матвеева (1699–1788) – мать полководца Румянцева-Задунайского, по слухам, рожденного ею от Петра Великого, статс-дама, гофмейстерина

К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со

многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.

Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.

Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», – и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.

В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень

вырос, но лицом был неузнаваем: все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и, несомненно, было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен.

9 февраля минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 г. императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел семнадцатый год. Она обедала одна со мной на троне; великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя; не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа.

Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово, доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала) и что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезни; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения.

Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате; это тот самый, который скульптор Фальконет увез с собою во Францию; я была на нем совсем живая.

Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением; вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты; наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. […]

Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была

очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.

Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор; немного времени спустя после ее приезда в Петербург она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка; этим я была очень довольна, все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около двадцати лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером, после ужина, я впускала к себе своих трех фрейлин: двух княжон Гагариных и девицу Кошелеву, – и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры.

Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своею надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами: я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость; кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность.

Я отдала ключи от моих брильянтов Марии Петровне Жуковой; эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову; кружева – девице Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина; младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не испрашивая совета ни единой души, вечером было представление; чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери.

Императрица, великий князь и весь двор пришли туда; в манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога

Курляндского, покои которого я занимала, был устроен маленький театр. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих брильянтов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк – торжествующею от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо.

На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду поста он не придет в этот день ко мне.

Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, – потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, – стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа.

В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись, и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.

Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили заутреню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке; я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на

матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею; она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, ни того даже, что это ей было нужно; однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы, и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой.

Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покои матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость; в отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску.

Потом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было года три-четыре. Она этим была очень опечалена, я тоже ее оплакивала.

Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с нею в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие.

Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем Прусским и Австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников; императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против Австрийского дома и против Франции, к которой тяготел Прусский король, и если маркиз Ботта, посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де ла Шетарди был

изгнан на тех же основаниях. Не знаю цели этого разговора; но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная; она вовсе не склонялась тогда на сторону Австрийского дома; что меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом; она получила на это для меня разрешение императрицы; к концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой; доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой.

Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой, в казармах Измайловского полка; я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае-месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец; нам с матерью отвели для житья каменное строение, находившееся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшее к дому Петра I. Мать жила в одной стороне этого здания, я – в другой. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима; мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно; но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день; в душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом; я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я больше чем когда-либо старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела.

После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Императрица и великий князь жили наверху в доме, который выстроил Петр I; мы с матерью – внизу, под комнатами великого князя; мы обедали с ним каждый день под парусным навесом на

открытой галерее, прилегающей к его комнате; он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам.

Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет; свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только на публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским.

Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей которой туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить; нас было восьмеро, мой камердинер – девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами; мы прогуляли до полуночи самым невинным образом; когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и, когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно и она очень устала дожидаться меня, то она легла; я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня; она уверяла, что не нашла бы нас, но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побранить; я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели; я хотела подойти, чтоб поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бранить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения.

Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская (1712–1760) – мать императрицы Екатерины Великой, дочь любекского князя Христиана Августа, принцесса Гольштейн-Готторпского дома, супруга владетельного князя Ангальт-Цербстского

Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и не знаю, чего только она ни выдумывала, чтобы огорчить меня, – вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам; но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том,

что мы поднимались в покои великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах; в час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх, в покои великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло; он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках; я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась.

Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей.

Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камер-фрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камер-фрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить или же я была на выходах.

На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы не каждый день видела, но которая очень смягчилась по отношению

ко мне в это время.

К концу сентября она уехала, мы с великим князем проводили ее до Красного Села; ее отъездом я очень искренне огорчилась, я много плакала; когда она уехала, мы вернулись в город. Возвратившись в Летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову; мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала; на следующий день утром: тот же вопрос с моей стороны – тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большою пышностью из летнего жилища в зимнее; мы последовали за ней в ее покои. Прибыв в свою парадную опочивальную, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери; казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии человек тридцати, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой.

По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от дворца единственно за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины; ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна; мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорные россказни Шенк, у которой даже не было здравого смысла; эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастии, коего единственная причина – моя привязанность к ней. Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки; а между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтоб остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной; с другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто: эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила, как я только что рассказала.

Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянника в пользу того,

что только что было сделано; я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее. Насколько это будет, по крайней мере, от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву; я приказала послать ей то, что я ей назначила, через ее брата, сержанта гвардии; пришли мне сказать, что этот человек с женою получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков.

В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значило зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода. Но дело на этом не стало: через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию; мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травин; он поехал в Москву, чтоб на ней жениться, если ей понравится; она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку; как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основания.

В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы; покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы; чтобы идти к нему, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он, и я делали этот путь много раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в передней с обер-камергером Бергхольцем, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали весь двор и весь город.

Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом; середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигели, которые были в два этажа; в одном танцевали, но, чтобы идти ужинать, нас заставили пройти, в январе-месяце, через двор по снегу; после ужина надо было опять проделать тот же путь.

Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка; его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили.

Ему было очень худо; ему не раз пускали кровь; императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, вошла ко мне госпожа Измайлова, которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала: вечерние молитвы; она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт.

После этого я попросила ее поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно; она пошла передать императрице мое поручение, а я – ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила.

В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я была тут, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила; впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще, у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы.

Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась первую неделю Великого поста; императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю; я велела ответить Ее Императорскому Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь пост.

Гофмаршал императрицы Сивере, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает.

Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня бранить; я сказала ему, что не могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете.

В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал еще больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы

никогда не видели. Он нам не сказал, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, – для удобства зрителей, как он говорил.

Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня так испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил, по крайней мере, двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе.

До воскресенья мы не слышали никаких разговоров, но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне позже обыкновенного; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может

смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить.

Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось; когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и, хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами.

Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном, наполовину смущенным, наполовину насмешливым: «Она была, точно фурия, и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате.

Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня, как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому молчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит; вы должны были бы сказать ей оба: «“Виноваты, матушка»”, и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом ее Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, – так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова «виноваты, матушка», как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше. […]

Елизавета I Петровна (1709–1761) – российская императрица из династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 года по 25 декабря 1761 (5 января 1762), младшая дочь Петра I и Екатерины I, рожденная за два года до их вступления в брак.

В мае-месяце мы перешли в Летний дворец; в конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чоглокову, одну из своих статс-дам и свою родственницу; это меня как громом поразило; эта дама была совершенно преданна графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы, уехал тогда, не знаю с каким-то поручением, в Вену; я много плакала, видя, как она

переезжает, и также во весь остальной день; на следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут, что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать.

Я вспомнила наставление Крузе и сказала: «Виновата, матушка», – и она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно увидала, что ему дали понять, что Чоглокова приставлена ко мне, потому что я не люблю его, великого князя; но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину; я ему это и сказала.

Чтобы служить мне Аргусом – это другое дело; впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую, и, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной; Чоглокову считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания; она вышла за него замуж по любви; такой прекрасный пример, какой мне выставляли напоказ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие, я говорю «ускорило», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами; он очень бы хотел сделать то же и с приближенными Ее Императорского Величества, но там дело было труднее.

Великий князь имел, при моем приезде в Москву, в своих покоях троих лакеев по имени Чернышевых, все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными.

Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что

иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених».

Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству после нашей свадьбы называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною, и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились: одни – из ревности, другие – из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас.

Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Еврейнов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну так что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его так же, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». – «Да, – отвечал он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена – и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля-месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом.

В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышев, как и другие.

Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сивере; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: «Скоро ли вернется императрица?» Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас.

На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне. […]

В начале августа императрица велела сказать великому князю и мне, что мы должны говеть; мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утрени и всенощные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждого порознь, относительно того, что произошло у нас с Чернышевыми; но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мною у него вырвалось: «Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?» На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее Императорскому Величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Мы причащались в субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораниенбаум,

между тем как императрица ездила в Царское Село. Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту; камергерам, камер-юнкерам, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам – всем было дано по мушкету на плечо; Его Императорское Высочество делал им каждый день ученья, назначал караулы; коридор дома служил им кордегардией, и они проводили там день; обедать и ужинать кавалеры подымались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать; из дам были только я, Чоглокова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные, – следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался: мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходились не слишком по вкусу придворным.

После бала им разрешалось идти спать к себе. Вообще, мне и всем нам опротивела скучная жизнь, которую мы вели в Ораниенбауме, где нас было пять или шесть женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем как мужчины, со своей стороны, скрепя сердце упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою.

С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.

Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму, а нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились, и действительно, они были очень удобны; это были комнаты императрицы Анны.

Каждый вечер весь наш двор собирался у нас; тут играли в разные игры или бывали концерты; два раза в неделю бывало представление в Большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одною из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились. Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тихвин, куда она собиралась. Это была поездка на богомолье; но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что

поездка отложена: нам пришли сказать потихоньку, что у обер-егермейстера Разумовского подагра и что императрица не хочет ехать без него.

В этот промежуток времени мой камердинер Еврейнов, причесывая меня однажды утром, сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышев и его братья находятся в Рыбачьей слободе, под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Масленой мой камердинер катался в санях с женою и свояченицей; свояки стояли на запятках. Муж свояченицы был канцеляристом петербургского магистрата; у этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом Тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в Рыбачью слободу и вошли к управляющему этим имением императрицы; заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за святцами, в которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет. Через несколько минут принесли книгу; свояк Евреинова схватил ее и первое, что он нашел, открыв ее, – это имя Андрея Чернышева, написанное им самим вместе с числом того дня, в который великий князь подарил ему книгу; затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился, книга была возвращена, и они вернулись в Петербург, где свояк Евреинова сообщил ему по секрету о своем открытии. Евреинов убедительно просил меня не говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово.

Две или три недели спустя мы действительно поехали в Тихвин. Эта поездка продолжалась всего пять дней; мы проезжали по пути туда и обратно через Рыбачью слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышевы; я старалась увидеть их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке; нам сказали, что у него каменная болезнь; муж Чоглоковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия; это был дурак заносчивый и грубый, все ужасно боялись этого человека и его жены, и, говоря правду, они были действительно зловредные люди. Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих Аргусов, но даже их задабривать, но тогда еще эти средства только изыскивались. Одним из самых надежных было играть с ними в фараон: оба они были игроки, и очень жадные; эта слабость была открыта прежде всего, остальные – после. […]

Незадолго до поста мы ездили с императрицей в Гостилицы

на праздник к обер-егермейстеру графу Разумовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, которая меня очень огорчила. Мне дали досыта выплакаться в течение недели; но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец; на это она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем. Наконец, постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение шести недель. […]

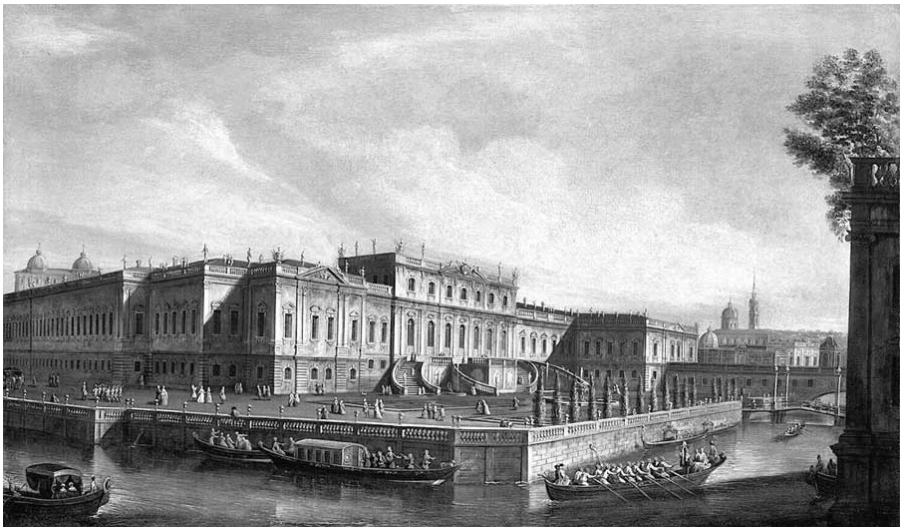
После Пасхи мы переехали в Летний дворец и оттуда в конце мая на Вознесенье ездили к графу Разумовскому в Гостилицы; императрица выписала туда 23-го того же месяца посла императорского двора барона Бретлаха, который ехал в Вену; он провел в Гостилицах вечер и ужинал с императрицей. Этот ужин кончился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в домик, где жили. Этот деревянный домик был расположен на маленькой возвышенности и примыкал к катальной горе. Расположение этого домика нам понравилось зимою, когда мы были в Гостилицах на именинах обер-егермейстера, и, чтобы доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в этом домике; он был двухэтажный; верхний этаж состоял из лестницы, зала и трех маленьких комнат; мы спали в одной, великий князь одевался в другой, а Крузе занимала третью, внизу помещались Чоглокова, мои фрейлины и горничные.

Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов утра сержант гвардии Левашов приехал из Ораниенбаума к Чоглокову поговорить насчет построек, которые тогда там производились; найдя всех спящими, он сел возле часового и услышал треск, показавшийся ему подозрительным; часовой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обежал дом снаружи; он увидел, что из-под дома вываливаются большие каменные плиты; он побежал разбудить Чоглокова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее постараться вывести из дома всех, кто в нем находится. Чоглоков надел шлафрок и побежал наверх; стеклянные двери были заперты; он взломал замки и дошел до комнаты, где мы спали; отдернув занавес, он нас разбудил и велел поскорее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я сказала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел; я оделась наскоро; одеваясь, я вспомнила, что Крузе спала в соседней

комнате; я пошла ее разбудить, она спала очень крепко, мне удалось с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо выходить из дому.

Я помогла ей одеться, и, когда она была готова, мы переступили порог комнаты и вошли в зал, но едва мы там очутились, как все затряслось, с шумом, подобным тому, с каким корабль спускается с верфи. Крузе и я упали на пол; в эту минуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты; я взглянула случайно на гору; она была в уровень со вторым этажом, теперь же, по крайней мере на аршин, выше уровня этого второго этажа. Левашов, дойдя со мною до лестницы, по которой пришел, не нашел ее больше: она обрушилась, но так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов передал меня ближайшему, этот – другому, и так, переходя с рук на руки, я очутилась внизу лестницы, в прихожей, а оттуда меня вынесли из дому на лужайку. Там был и великий князь, в шлафроке.

Выбравшись, я стала смотреть, что делалось в стороне дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окровавленные, а других выносили; между наиболее тяжело раненными была моя фрейлина княжна Гагарина: она хотела спастись из дому, как и другие, и, когда проходила по комнате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате кровать; несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее ранили, так же, как и горничную, спасавшуюся вместе с ней. В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спало несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившейся печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что произошло между фундаментом этого дома и первыми этажами. Шестнадцать работников, служивших при катальной горе, спали там, и все были раздавлены этим осевшим строением. Причиной всего этого было то, что домик этот был построен осенью, наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда известняковых плит; архитектор велел поставить в первом этаже двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен был отправиться в Украину; уезжая, он приказал управляющему Гостилиц запретить до своего возвращения прикасаться к этим двенадцати балкам.



Летний дворец Елизаветы Петровны – несохранившаяся императорская резиденция в Санкт-Петербурге, построенная Бартоломео Растрелли в 1741–1744 годах на месте, где теперь расположен Михайловский (Инженерный) замок. Снесен в 1797 году

Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом домике, то, несмотря на распоряжение архитектора, принял самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенадцать балок, так как они портили сени. Когда наступила оттепель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, которые стали сползать в разные стороны, и само здание поползло до бугра, который его задержал.

Я отделалась несколькими синяками и большим страхом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий испуг был так велик, что в течение четырех с лишком месяцев всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла нас всех вздрагивать. Когда первый страх прошел, в этот день императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе, и, так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались находить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не находили ничего опасного; мой страх ей очень не понравился, и она рассердилась на меня за него; обер-егермейстер плакал и приходил в отчаяние; он говорил, что застрелится из пистолета; вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились в Петербург, после нескольких недель нашего пребывания в Летнем дворце… […]

В начале сентября императрица отправилась в Воскресенский монастырь, куда мы получили приказание приехать ко дню ее

именин. В этот день она назначила своим камер-юнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит; я радовалась его возвышению, потому что, когда он еще был пажом, я его заметила как человека, много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке. У меня по возвращении из этой поездки сделалась острая боль в горле с сильной лихорадкой. Императрица навестила меня во время этой болезни. Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ее Императорское Величество приказала мне через Чоглокову причесать племянницу графини Румянцевой и быть у нее на свадьбе; она выходила за Александра Нарышкина, который впоследствии был обер-шенком. Чоглокова, видя, что я едва еще поправляюсь, была немного огорчена, передавая мне это приказание, которое не доставило мне удовольствия, потому что я ясно видела, как мало заботятся о моем здоровье, а может быть, и о самой жизни; я в этом духе говорила с Владиславовой, которая, казалось, как и я, была очень недовольна этим грубым и беспощадным приказанием. Я собралась с силами, и в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой я убрала голову моими брильянтами; когда это было сделано, ее повели в придворную церковь для венчания; мне же велели ехать в обществе Чоглоковой и моего двора в дом к Нарышкиным.

А мы жили в Москве во дворце на краю Немецкой слободы; чтобы попасть к Нарышкиным, надо было проехать через всю Москву и сделать, по крайней мере, семь верст; это было в октябре-месяце, около девяти часов вечера; был трескучий мороз и такая гололедица, что можно было ехать только тихим шагом. Я провела, по крайней мере, два с половиной часа в дороге туда и столько же оттуда, и не было ни одного человека из моей свиты и ни одной лошади, кто бы не упал один или несколько раз. Наконец, доехав до Казанской церкви, которая возле ворот, называемых Троицкими, мы встретили другое затруднение: в этой церкви венчали в тот самый час сестру Ив[ана] Ивановича] Шувалова, которую причесывала императрица в то время, как я причесывала Румянцеву, и у этих ворот скопились и спутались кареты; мы останавливались на каждом шагу, потом возобновились падения, так как ни одна лошадь не была подкована на шипы; наконец, мы прибыли, нельзя сказать, однако, чтобы в самом лучшем настроении.

Мы очень долго ждали новобрачных, с которыми случились приблизительно те же приключения, что и с нами. Великий князь сопровождал новобрачных, потом ждали еще императрицу,

наконец, сели за стол; после ужина сделали несколько туров парадных танцев по комнате, потом нам велели вести новобрачных в их спальню. Для этого пришлось пройти по нескольким очень холодным коридорам, подняться по нескольким лестницам, не менее холодным, потом проходить через длинные галереи, сколоченные на скорую руку из сырых досок, по которым вода текла со всех сторон.

Наконец, дойдя до покоев, мы сели за стол, на котором было накрыто угощение; там оставались, чтобы выпить только за здоровье новобрачных, потом повели молодую в спальню и вернулись, чтобы ехать домой. На следующий день вечером пришлось туда снова поехать. Кто бы подумал, что вся эта суматоха, вместо того чтобы повредить моему здоровью, нисколько не помешала моему выздоровлению; на следующий день я лучше чувствовала себя, чем накануне.

В начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит; он больше не дрессировал своих собак, раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорченный вид, был задумчив и рассеян; он накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая – из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали. Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно недолго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом, кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет.

Наконец, однажды он мне открыл, что его мучило; я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере во время пребывания в Раеве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели; он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась; остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте. Чоглоков получил от обер-егермейстера, под предлогом развлечения великого князя, две своры: одну из русских собак и с егерями, другую из французских или немецких собак; к этой были приставлены старый доезжачий-француз, мальчик-курляндец и один немец. Так как Чоглоков стал заправлять русской сворой, Его Императорское Высочество взял на себя иностранную свору, которой Чоглоков вовсе не интересовался; каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части, следовательно, Его Императорское Высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах, и, наконец, коли пошло начистоту, он

связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними; на охоте он был всегда среди них. В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батурин, весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя, впрочем, человек очень решительный. Не знаю, по какой случайности или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры, но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского; словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно.

Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников; ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батурин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет.

Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батурина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья. Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское.

Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то, как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной

компанией. Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие.

Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу, и что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего он прыгал от радости, успокоился, и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формозе, в Тихом океане.

15 декабря мы отправились из Москвы в Петербург. Мы ехали день и ночь в санях, которые были открыты. На полдороги у меня снова сделалась сильная зубная боль; несмотря на это, великий князь не соглашался закрыть сани, с трудом соглашался он, чтобы я задернула немного занавеску в кибитке, дабы защититься от холодного и сырого ветра, который дул мне в лицо. Наконец, мы приехали в Царское Село, где уже была императрица, обогнавшая нас по обыкновению в пути. Как только я вышла из саней, я пошла в комнаты, нам назначенные, и послала за лейб-медиком императрицы Бургавом, племянником знаменитого Бургава, и просила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который меня мучил уже от четырех до пяти месяцев. Он соглашался на это с трудом; но я этого хотела непременно; наконец, он послал за Гюйоном, моим хирургом. Я села на пол, Бургав – с одной стороны, Чоглоков – с другой, а Гюйон рвал мне зуб; но в ту минуту, как он его вырвал, глаза мои, нос и рот превратились в фонтан; изо рта лила кровь, из носу и глаз – вода. Тогда Бургав, у которого было много здравого смысла, воскликнул: «Какой неловкий!» – и, велев подать себе зуб, сказал: «Вот этого-то я и боялся, и вот почему не хотел, чтобы его вырвали».

Гюйон, удаляя зуб, оторвал кусок нижней челюсти, в которой зуб сидел. Императрица подошла к дверям моей комнаты в ту минуту, как это происходило; мне сказали потом, что она растрогалась до слез.

Меня уложили в постель, я очень страдала, больше четырех

недель, даже в городе, куда мы, несмотря на то, поехали на следующий день, все в открытых санях.

Я вышла из своей комнаты только в половине января 1750 году, потому что все пять пальцев г. Гюйона были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке, внизу. В первый день нового года, желая причесаться, я увидела, что мальчик-парикмахер, родом калмычонок, которого я воспитала, был очень красен и с очень отяжелевшими глазами; я спросила, что с ним; он ответил, что у него жар и очень болит голова. Я его отослала, велев ему идти лечь, потому что действительно он еле держался. Он ушел, и вечером мне доложили, что у него оспа; я отделалась страхом, что схвачу оспу, но не заразилась, хоть он мне и причесывал голову. […]

К концу Масленой императрица вернулась в город. На первой неделе поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.

В конце концов, она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему – доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня

повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.

В половине поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться; я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею, – одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.

Екатерининский дворец (также известный как Большой

Царскосельский дворец, Большой Екатерининский дворец, Большой дворец, Старый дворец) – бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трех российских монархов – Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Расположен в 26 км на юг от Санкт-Петербурга в бывшем Царском Селе (ныне город Пушкин)

Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: «Что делать!», у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать; он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь – и из-за всей этой истории, и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного.

На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал им по комнате направо и налево и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но, как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях.

Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, чтос вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы

вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови, и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью и, когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало.

В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и, когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю; Чоглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытрите щеку, на ней мазь». На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее». Тогда великий князь сказал Чоглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются, мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно». Чоглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз». Дело тем и закончилось, и великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чоглокове.

Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили; он их любил, и вдобавок они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать – значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре; итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему; я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к пасхальной заутрене и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мною случились; не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные

боли; я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной, все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами; мне дали лекарство; я провела первые два дня праздника в постели. […]

В начале весны нас перевели на житье в Летний сад, в маленький Петровский домик, где комнаты выходят прямо в сад; ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елисаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора Евреинова в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе; на эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чоглокову и сказал, что тот наговорил ему, без всякого уважения к присутствию великого князя, массу грубостей. Чоглоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня; у него было на руках все, что мне принадлежало.

Императрица приказала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным, занял его место; к этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в Летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои; одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая – на гадкий узкий дворишко.

В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника г-жу Арним поехать со мною верхом в Екатериненгоф. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично; императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти-шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже

вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов. Я спустилась, чтоб садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади.

Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал.

Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездою Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется, Чоглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена; наконец, нам ее доставили в Екатериненгоф, но приключения этим еще не закончились. В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами; сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост, – это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги,

которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтоб не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чоглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.

Из Летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили постоянно часть дня у Чоглоковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Ораниенбаум, где каждый Божий день бывали на охоте и иногда проводили по тринадцати часов на лошади. Лето было, однако, довольно дождливое; помню, что однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: «Как вы себя отделали; не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых». Я носила их только из шелкового камлота; от дождя они садились, от солнца – выгорали, а следовательно – мне и нужны были все новые.

В это время я придумала себе седла, на которых можно было сидеть как угодно; они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался, и другое стремя спускалось и поднималось, как угодно и смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у берейторов, как я езжу, они отвечали: «На дамском седле, согласно с волей императрицы»; они не лгали; я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут, и так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей; великому князю было все равно, как я езжу; что касается берейторов, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят.

По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду; чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее, так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также всегда была с собою в кармане книга, и, если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение. Я заметила на этих охотах, что Чоглоков становится гораздо мягче, особенно со мною; это внушило мне опасение, как бы он не

вздумал ухаживать за мною, что мне отнюдь не было на руку; во-первых, сама особа его нисколько мне не нравилась: он был белокурый, хлыщеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом; его все ненавидели, как жабу, и он совершенно ничем не был приятен; ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были также вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были. А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чоглокова, но таким образом, что ему никогда не приходилось жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женою, которая была мне за это благодарна и которая меня впоследствии очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу.

При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерал-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, рожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении ее на престол, когда она проявила ей редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей, недавно женился на одной из фрейлин императрицы, Матрене Павловне Балк. Старшего его брата звали Петром, это был дурак в полном смысле слова, у него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот; при этом он был сплетник первого сорта и, как таковой, был довольно хорошо принят у Чоглоковых, которые, впрочем, считали его незначащим человеком. Я подозреваю, что это Владиславова, в качестве старинной знакомой матери этого дурака, и внушила Чоглоковым мысль женить его на принцессе Курляндской. Как бы то ни было, но он стал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено.

По возвращении нашем в город он был этим сильно рассержен и дулся на принцессу Курляндскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужества, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь от него некоторого рода влияние еще очень долгое время. Я была в восторге от этого брака и велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания, потому что Ее Императорское Величество сама назначала день,

очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой. Осенью мы возвратились в город, и я имела удовольствие видеть, как принцесса Курляндская и Петр Салтыков благодарили Ее Императорское Величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но от другой ветки, чем эти, между тем как Бирон, сделанный принцем Курляндским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера одного курляндского дворянина. Этого фермера звали Бирен, но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Биронов во Франции приняла его в свой род, по уговору кардинала Флери, который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие и тщеславие Бирена, герцога Курляндского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что, кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртаг. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму.

Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить; другой – для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах; иногда допускалось и на этот бал дворянство и наиболее именитое купечество. Придворные балы не превышали числом человек полтораста-двести; на тех же, которые назывались публичными, бывало до 800 масок. Императрице вздумалось в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице; это был собственный куртаг навыворот.

Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы – в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство было в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел;

вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой фацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она закончила, она подошла ко мне; я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною. Я не утаила этого от Чоглоковой, которая пересказала на ухо двум-трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали.

Маскарад в эпоху Екатерины II.

«Праздность есть мать скуки и многих пороков».

(Екатерина II)

Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов, сенатор и директор Кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где он оставался в отсутствие двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русские, которые тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера. В этих последних сии молодые люди так же плохо произносили слова, как играли, и так как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыграны при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях, и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с бóльшим, нежели можно было ожидать, интересом.

Театр, который был устроен в одной из зал дворца, был перенесен во внутренние ее покои; она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров; она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями Ее Императорского Величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый восемнадцати– или двадцатилетний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный; но на нем видели и вне театра брильянтовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье.

Наконец, он вышел из Кадетского корпуса, и обер-егермейстер граф Разумовский, прежний фаворит императрицы, тотчас же взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда царедворцы стали делать заключения на свой лад и вообразили, что так как граф Разумовский взял к себе в адъютанты кадета Бекетова, то это не могло иметь другой цели, как подорвать фавор камер-юнкера Шувалова, который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьею Разумовских, и отсюда было выведено, наконец, заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы.

Узнали, кроме того, что Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфильевича Елагина. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы; она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто; так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька

этой женщины. Никто не был более заинтригован начинающимся фавором этого молодого человека, как моя фрейлина княжна Гагарина, которая была уже не молода и искала себе партии по вкусу; у нее было свое состояние, она не была красива, но очень умна и ловка, ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, которое потом пользовалось фавором императрицы: первым был Шувалов, вторым – тот самый Бекетов, о котором только что шла речь. Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной, кроме того, у нее была многочисленная родня; родня эта обвиняла Шувалова в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие тряпки; от злости на это княжна Гагарина и все молодые хорошенькие придворные дамы на чем свет бранили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили; он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей, а они смотрели на это как на новые оскорбления. Его всюду отталкивали и дурно принимали; все эти женщины смотрели на него как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь.

У меня в комнате был истопник, Иван Ушаков, и ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю, почему, но другие слуги вздумали звать моего пуделя Иваном Ивановичем, по имени этого человека. Пудель этот сам по себе был забавным животным; он ходил большею частью на задних лапках, словно человек, и был необычайно взбалмошный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному, и чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался; он садился с нами за стол, ему надевали салфетку, и он очень чисто ел со своей тарелки; потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом; иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию. Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли, потому что он не злоупотреблял свободой, которой пользовался, и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы; летом мы взяли его с собою в Ораниенбаум; камергер Салтыков-младший приехал к нам с женой, и эта последняя и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные чепцы и одеяния и друг у друга его отбивали. Наконец, Салтыкова

так его полюбила, что он особенно к ней привязался, и, когда она уезжала, ни пудель не хотел от нее уходить, ни она от него, и она так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его под мышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна.

Свекровь при виде ее с собакой, выделывавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку; услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, и через три-четыре дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины, враги Шувалова, имеют каждая по белому пуделю, с кличкой Иван Иванович, в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться. Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтыковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности, это была клевета; только одну эту собаку так называли, да и то она была черная, и о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку. […]

Я тогда очень любила танцы; на публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платья; наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило: раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший.

На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла, и в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса, и это сходило без всякой критики; наоборот, это нравилось императрице, но я не знаю хорошенько, почему. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе и что всякий старался отличиться в наряде.

Помню, что как-то раз, на одном из этих публичных маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня тогда была очень

тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжжи из очень белого газу, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину; я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! как! даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.

Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы, и так как мне было очень весело, то в этот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были редкой изысканности. В таких развлечениях окончился 1750 год. Г-жа Арним танцевала не лучше, нежели ездила верхом. Помню, как однажды, когда у меня с ней зашло дело о том, чтоб узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она; усевшись на стул, она призналась, что изнемогает, между тем как я еще танцевала.

Часть II

В начале 1751 года великий князь, полюбивший так же, как и я, посланника Венского двора графа Берни, вздумал говорить с ним о своих голштинских делах, о долгах, которыми страна эта тогда была обременена, и о начатых с его разрешения переговорах с Данией. Он мне сказал как-то раз, чтоб и я поговорила с графом Берни; я ответила, что, если он мне это приказывает, я не премину это сделать. Действительно, на первом же маскараде я подошла к графу Берни, остановившемуся у балюстрады, за которой танцевали, и сказала, что великий князь приказал мне поговорить с ним о делах Голштинии. Граф Берни выслушал меня с большим интересом и вниманием. Я ему вполне откровенно сказала, что хотя я молода и мне не с кем посоветоваться, в делах, может быть, плохо смыслю и вовсе не имею опыта, который я могла бы привести в свою пользу, но взгляды у меня свои собственные; пусть не хватает для этого многих знаний, но мне кажется прежде всего, что голштинские дела не в таком отчаянном положении, как хотят их представить.

Далее, что касается обмена самого по себе, то я довольно хорошо понимаю, что он может быть полезнее для России, чем лично для великого князя; конечно, ему как наследнику престола должен быть дорог и важен интерес империи; если для этого интереса необходимо нужно, чтоб великий князь отделался от Голштинии, дабы прекратить нескончаемый разлад с Данией, то и тогда дело лишь в том, чтобы, сохраняя пока Голштинию, выбрать наиболее благоприятный момент, когда бы великий князь согласился на это; настоящее время, как мне кажется, не такой момент ни для интереса империи, ни для личной славы великого князя; между тем могло бы наступить время или обстоятельства, которые сделали бы этот акт и более важным, и более славным для него, и, может быть, более выгодным для самой Российской империи; но теперь все это имеет вид явной интриги, которая при удаче придаст великому князю такой вид слабости, от которого он не оправится, может быть, в общественном мнении во всю свою жизнь; он, так сказать, лишь немного дней управляет делами своей страны, он страстно любит эту страну, и, несмотря на это, удалось убедить его обменять ее, неизвестно зачем, на Ольденбург, которого он совсем не знает и который больше удален от России; сверх того, один только Кильский порт в руках великого князя может быть важен для русского мореплавания. Граф Берни вошел во все мои соображения и сказал мне в заключение: «Как посланник на все это я не имею инструкций, но

как граф Берни я думаю, что вы правы». Великий князь сказал мне после этого, что имперский посланник ему сказал: «Все, что я могу сказать вам об этом деле, так это то, что, по моему мнению, ваша жена права, и что вы очень хорошо сделаете, если ее послушаете». Вследствие этого великий князь очень охладел к этим переговорам, что, очевидно, и заметили и что было причиной, по которой стали с ним реже говорить об этом. После Пасхи мы по обыкновению переехали на некоторое время в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф. Пребывание здесь с каждым годом становилось короче. […]

В конце сентября мы снова перешли в Зимний дворец. При дворе в это время был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф и даже следовали за нами в Москву. Билось и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было ими пользоваться; так как нужно было особое приказание императрицы на получение новых вещей и большею частью трудно, а подчас и невозможно было до нее добраться, то я решила мало-помалу покупать себе комоды, столы и самую необходимую мебель на собственные деньги, как для Зимнего, так и для Летнего дворца, и, когда мы переезжали из одного в другой, я находила у себя все, что мне было нужно, без хлопот и потерь при перевозке. Такой порядок полюбился великому князю; он завел такой же для своих покоев.

Что касается Ораниенбаума, принадлежавшего великому князю, мы там имели за свой счет все, что нам было нужно. Для своих комнат в этом дворце я все покупала на свои деньги, во избежание всяких споров и затруднений, ибо Его Императорское Высочество хотя и очень был мотоват на все свои прихоти, но жалел денег на все, что меня касалось, и вообще, вовсе не был щедрым; но так как то, что я делала для своих комнат на собственный кошт, служило к украшению дома, то он был очень этим доволен. В течение этого лета Чоглокова особенно меня полюбила, и так искренно, что, вернувшись в город, не могла без меня обойтись и скучала, когда я не бывала с ней. Сущность этой привязанности заключалась в том, что я совсем не отвечала на привязанность, которую ее супругу угодно было ко мне проявить, что придало мне необычайную заслугу в глазах этой женщины. […]

После Пасхи мы перешли в Летний дворец. Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе; он всегда приходил со Львом

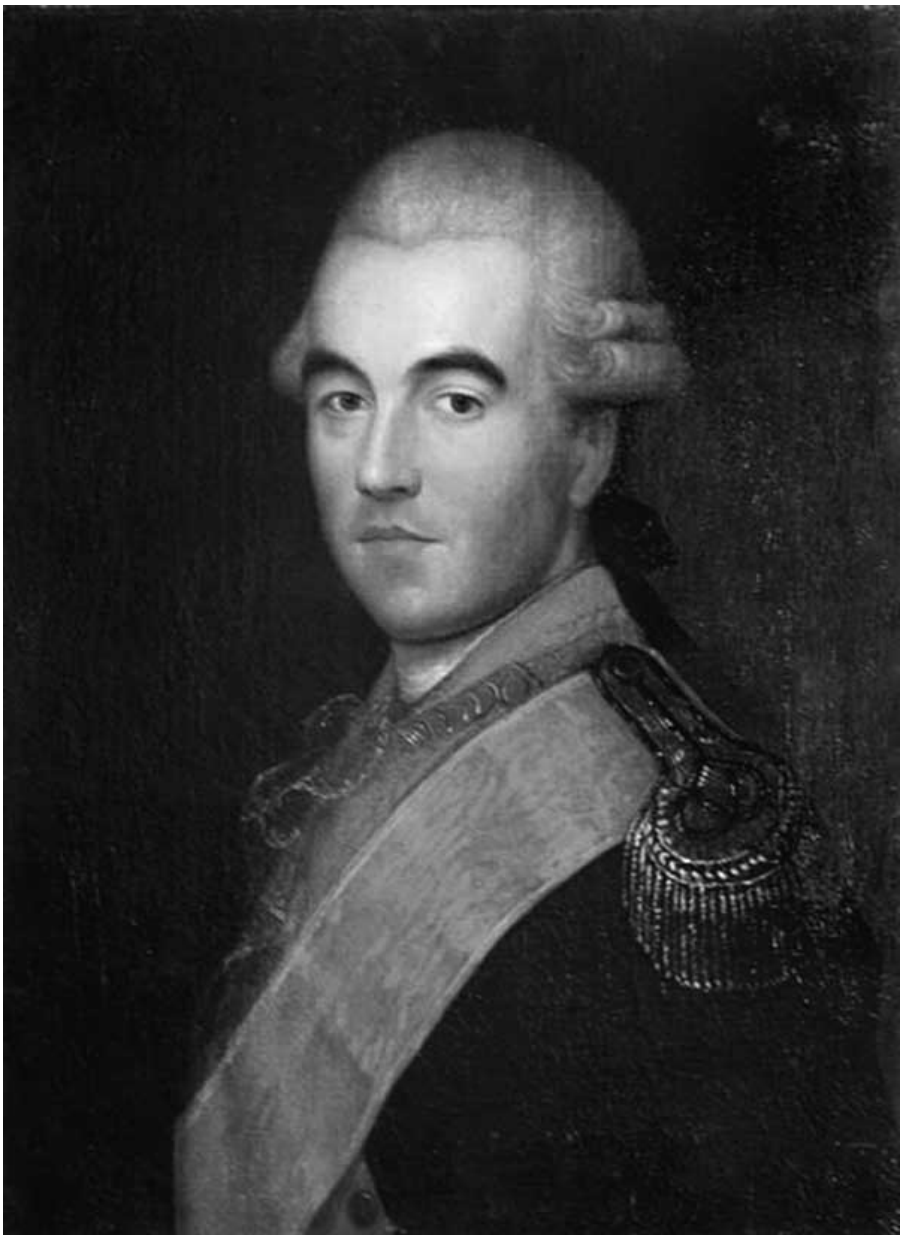
Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью – я уже привела некоторые черты ее. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него как на личность, совсем не значащую и очень оригинальную. Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частые посещения должны были иметь какие-нибудь скрытые цели.

Чоглокова была тогда беременна и часто нездорова; так как она уверяла, что я ее развлекаю летом так же, как и зимою, то она часто просила, чтобы я к ней приходила. Сергей Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и некоторые другие бывали обыкновенно у нее, когда не было концерта у великого князя или представления при дворе. Концерты надоедали Чоглоковой, которая или поздно, или совсем на них не появлялась. Чоглоков никогда их не пропускал. Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную наклонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чоглокова, просили его сочинить новую песню; он с большою готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большею частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер. Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чоглоковым, а пока тот их сочинял, разговор шел в комнате без стеснения и говорили что угодно, ибо когда Чоглоков куда-нибудь усаживался, то он уже не вставал со стула во весь вечер; таким образом, от места, где он сидел, зависело, чтобы он был удобен или неудобен, невыносим или очарователен; последним он бывал только тогда, когда находился очень далеко. У меня была толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось.

Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?»

Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все

меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем.



Сергей Васильевич Салтыков (1726–? печатных упоминаний после 1776 г. нет, иногда в качестве возможной даты смерти называют конец 1784 г. или начало 1785 г., но есть и другие

предположения) – русский посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене, первый по времени фаворит Екатерины Алексеевны. По одной из версий, был биологическим отцом императора Павла I

У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах.

Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания. Между тем Чоглоков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках; наши лошади были высланы вперед. Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного.

Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения.

Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что

не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь»; а он: «Я это запомню» – и пришпорил лошадь; я крикнула ему вслед: «Нет, нет!», а он повторил: «Да, да!» Так мы расстались. Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали; во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступеней лестницы и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглокова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра.

В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.

Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя, Брессан, француз родом, передал ему, что Его Императорское Высочество сказал в своей комнате: «Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чоглокова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним». Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более трех недель при сильном жаре, во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова. Я должна была ее причесывать; ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель; я старалась, как могла; но Чоглокова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор.

Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаевну Шафирову, которую императрица недавно приставила ко мне так же, как и ее старшую сестру, Анну Исаевну. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сестрами, и чтоб извлечь из них себе пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и действительно, они стали с ним очень откровенны в весьма короткий срок. […]

Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чоглоковых; конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь; это дошло до Петергофа, до ушей императрицы.

А в это время очень часто случалось, что когда Ее Императорскому Величеству хотелось браниться, то она не бранила за то, за что могла бранить, но ухватывалась за предлог бранить за то, за что и в голову не приходило, что она может бранить. Это заметка царедворца; я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышева.

В Ораниенбауме вся наша свита, как мужчины, так и женщины, согласилась сделать себе на лето костюмы одинакового цвета: нижнее платье серое, остальное – синее с черным бархатным воротником, и все безо всякой отделки; это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды и что я езжу по-мужски. Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртаг, императрица сказала Чоглоковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей и что мой костюм совсем неприличен; что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то, как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чоглокова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины и что хотя Их Императорские Высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было.

Тогда Ее Императорское Величество стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны; вообще, она проявила сильный гнев и сказала, что ее муж – колпак, который позволяет водить себя за нос соплякам.

Все это было передано Чоглоковыми в одни сутки доверенным лицам; при слове «сопляки» сопляки утерлись и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу, было решено и постановлено, что, следуя с большою точностью намерениям Ее Императорского Величества, Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чоглокова, о которой он сам, пожалуй, и не будет подозревать, и под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой недели на три, на четыре, чтобы прекратить бродившие темные слухи. Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц, в свои

семьи.

Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе: снизу он был белый, остальная часть – зеленая, и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме он похож на муху в молоке.

Впрочем, я продолжала посещать Чоглоковых по-прежнему, только побольше у них скучала; и муж, и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Ораниенбаума к ней в Кронштадт, куда она отправилась для открытия канала Петра I, начатого по его приказанию и теперь законченного. Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее Императорское Величество, пославшая тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море; она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю. Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делало боровшееся с бурей судно. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем, что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности, поехали тотчас по прибытии яхты. Но на самом деле яхта приехала в Ораниенбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались трое суток в Кронштадте; в это время совершено было с большою торжественностью освящение канала и впущена в него в первый раз вода.

После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала, но она уехала на третий день, а спуск так и не удался: этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду, – впрочем, это было бы и невозможное тогда дело, так как дно канала ниже моря, но этого не предусмотрели.

Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы – в Ораниенбаум. Чоглоков просил и

получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствие его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы. Сначала она имела несколько совещаний с камер-лакеем великого князя Брессаном; Брессан нашел в Ораниенбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Грот; несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться; потом Брессан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой.

Я хорошо замечала, что Чоглокова была очень занята, но я не знала, чем, когда наконец Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело.

Наконец, благодаря своим трудам Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет графа Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний.

Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным.

Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем, и ночью; на последней станции эти признаки исчезли при сильных резях.

Приехав в Москву и увидев, какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. […]

Наконец, Чоглокова, оправившись от родов, приехала в Москву, а несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика, и все там всегда очень раскидывались,

то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора. По правде говоря, я была этим огорчена, однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что, как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде.

Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Голштинской канцелярии у Пехлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это и сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как я найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщать друг другу, что найдем нужным. Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит.

Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чоглоковых и сказал ему между прочим: «Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы неглупый молодой человек». Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате; затем сказал: «В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне; я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах».

Наконец, Сергей Салтыков вернулся в восторге и от этого поручения, и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно».

Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают

иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно.

Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет!» Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой наверно». На это я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи. […]

В течение мая-месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя, в 12 или 14 верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился; мы не могли в нем жить; чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в кибитке; утром с трех или четырех часов сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в двух шагах от наших палаток, для того чтобы нам было где прожить остаток лета.

Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках; я не ездила больше верхом, но в кабриолете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда.

На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чоглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, месяца два-три; в течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть «места» осталась; от меня скрыли это обстоятельство; наконец, на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий; меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате, при невыносимой жаре.

«Портрет Екатерины Алексеевны в охотничьем костюме». Художник Георг Кристоф Гроот. 1740-е гг.

> «Искусный стрелок, не попадая в цель, вину не кладет на лук, или стрелы, но у самого себя в проронке, требует отчета: однако для того бодрости духа и охоты не теряет».
>
> *(Екатерина II)*

Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я

захворала, и, казалось, была огорчена моим состоянием. В течение шести недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чоглокова, и то она приходила довольно редко, да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила; с тоски я часто плакала. Что касается великого князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер, по имени Карнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая его, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чоглокова, которого, впрочем, все обманывали и надували. Но в этих ночных и тайных попойках великого князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великого князя плохо слушались и плохо ему служили, ибо, будучи пьяны, они не знали, что делали, и забывали, что они были со своим господином, что этот господин – великий князь; тогда Его Императорское Высочество прибегал к палочным ударам или обнажал шпагу, но, несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, и не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение; тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду, напоминая им об их обязанностях, и тотчас же они подчинялись, что заставляло великого князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми; что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу.

Однажды, когда я вошла с этой целью в покои Его Императорского Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки.

Я спросила, что это значит; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени; что его легавая собака поймала крысу и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная напоказ публике в течение трех дней, для назидания.

Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, ввиду той важности, какую он этому придавал; я удалилась и прикрылась

моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания. […]

Наконец, через несколько дней нам позволили ехать в Люберцы. Здесь мы считали себя в раю. Дом был совсем новый и довольно хорошо устроенный; в нем танцевали каждый вечер, и весь наш двор здесь собрался. Во время одного из этих балов мы видели, что великий князь был долго занят разговором на ухо с Чоглоковым, после чего Чоглоков казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым.

Сергей Салтыков, видя это, а также что Чоглоков необычайно с ним холоден, подсел к девице Марфе Шафировой и постарался узнать через нее, что это могла быть за непривычная дружба у великого князя с Чоглоковым. Она ему сказала, что не знает, что такое, но она догадывается, что это могло бы быть, так как великий князь несколько раз ей говорил: «Сергей Салтыков с моей женою обманывают Чоглокова неслыханным образом, тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может. Сергей Салтыков – наперсник Чоглокова; он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого, а та охотно выносит общество Сергея Салтыкова, который забавен; она пользуется им, чтобы делать с Чоглоковым что хочет, а в душе издевается над обоими; надо разуверить этого беднягу Чоглокова, мне его жаль, надо ему сказать правду, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг: жена моя или я».

Как только Сергей Салтыков узнал об этом опасном разговоре и о неприятном положении, которое отсюда вытекало, он мне его передал, подсел к Чоглокову и спросил, что с ним. Чоглоков сначала вовсе не хотел объясняться и только вздыхал; потом стал горько жаловаться на то, как трудно находить верных друзей; наконец, Сергей Салтыков столько раз подходил к нему со всех сторон, что вырвал у него признание относительно разговора, который у него только что был с великим князем. Конечно, нельзя было ожидать того, что было между ними сказано, не зная этого заранее.

Его Императорское Высочество начал с того, что стал усиленно убеждать Чоглокова в дружбе, говоря ему, что лишь в крайних житейских обстоятельствах можно отличить истинных друзей от ложных; что для того, чтобы убедить его, Чоглокова, в искренности своей дружбы, он сейчас даст ему явное доказательство своей откровенности; он знает, без всякого сомнения, что Чоглоков влюблен в меня, что он не ставит ему этого в вину, – что я могу казаться ему достойной любви, что с

сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить, что он плохо выбирает своих наперсников, что он простодушно думает, будто Сергей Салтыков – его друг и что он у меня старается для него, между тем как тот старается только для самого себя и подозревает в нем своего соперника; что же меня касается, то я смеюсь над ними обоими, но если он, Чоглоков, желает следовать его, великого князя, советам и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный и настоящий друг.

Чоглоков очень благодарил великого князя за дружбу и за уверения в дружбе, и, в сущности, он принял все остальное за пустяки и бредни на свой счет. Легко поверить, что ни в каком случае он не придал значения тому наперснику, который и по положению, и по характеру был так же мало надежен, как и полезен. Раз это было высказано, Сергею Салтыкову не стоило ни малейшего труда водворить мир и спокойствие в голове Чоглокова, который привык не дорожить и не придавать большого значения речам человека, не обладавшего никаким рассудком и прослывшего за такового.

Когда я узнала все это, признаюсь, я была сильно возмущена против великого князя; и, чтобы отбить у него охоту к подобным попыткам впредь, я дала ему почувствовать, что мне небезызвестно то, что происходило между ним и Чоглоковым. Он покраснел, не сказал ни слова, ушел, надулся на меня, и дело на том и остановилось. Когда мы вернулись в Москву, нас перевели из «архиерейского» дома в покои того, который назывался Летним домом императрицы и уцелел от пожара. Императрица велела выстроить себе новые покои в течение шести недель; для этой цели брали и привозили бревна из Перовского дома, из дома графа Гендрикова и князей Грузинских. Наконец, она въехала в него около Нового года.

Императрица отпраздновала день 1 января 1754 года в этом дворце, и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. За столом Ее Императорское Величество казалась очень веселой и разговорчивой. У подножия трона были расставлены столы для нескольких сотен особ первых классов. Во время обеда императрица спросила, что это сидит там за особа (она указала ее место), такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеей, как она выразилась. Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и, обращаясь ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу: шейка долга – на виселицу годна; я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой насмешкой, которая не пропала даром и которую придворные повторяли из уст в уста, так что, встав из-за стола, я увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это

великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, я и не подумала с ним об этом заговорить. […]

В феврале-месяце у меня появились признаки беременности. В самую Пасху во время службы Чоглоков захворал сухой коликой; ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась.

На Святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе; я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два выкидыша; я была одна в своей комнате, когда Чоглоков прислал просить меня пойти к нему; я пошла туда и застала его в постели; он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидания с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на Масленой, в один из дней придворного бала, он пришел к ней одетый арлекином, что Камынин его выследил; словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал. В минуту наибольшего возбуждения его пришла его жена; тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного. И он, и она были люди очень подозрительные и ограниченные; я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий.

Жена, в свою очередь, сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней; что ни он и никто другой не может, по крайней мере, упрекнуть ее в том, что она пренебрегала им до сих пор в чем бы то ни было; и свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться; и тот, и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили. Я молчала, боясь оскорбить того или другого, или обоих вместе, или же выдать себя. У меня горело лицо от страха; я была одна с ними. В самый разгар пререканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои; я тотчас же туда побежала, Чоглокова вышла со мною, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад; она там и уселась, как мне потом сказали. Что касается меня, то я вошла в мою комнату вся запыхавшаяся и действительно застала там императрицу. Видя меня впопыхах и немного красной, она меня спросила, где я была. Я ей сказала, что пришла от Чоглокова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться как можно скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с

другими вопросами, но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным; однако она продолжала разговаривать со мною; она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал. Ни он, ни я во все царствование императрицы не смели ни выезжать в город, ни выходить из дому, не послав испросить у нее на это позволения.

Владиславова была в моей комнате; императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах и затем, пробыв без малого полчаса, ушла, объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля. Я была удивлена, что Чоглокова не последовала за мною; я спросила у Владиславовой, когда императрица ушла, что с тою приключилось; она мне сказала, что та уселась на лестнице, где плакала. Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мною случилось во время их прогулки: как Чоглоков меня позвал, что было сказано между мужем и женою, о моей боязни и визите, который императрица мне сделала. Тогда он мне сказал: «Если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа, и, чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя, и у Чоглокова, я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи, к Ивану Шувалову». Действительно, когда великий князь удалился, он ушел со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем, к Ивану Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, сей последний стал расспрашивать их подробно о прогулке, и Сергей Салтыков сказал мне потом, что, по его вопросам, ему показалось, что он не ошибся.

С этого дня болезнь Чоглокова стала все ухудшаться; 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала, по своему обыкновению, перевезти больного в его собственный дом, чтоб он не умер при дворе, потому что она боялась покойников.

Я была очень огорчена, как только узнала о состоянии, в котором Чоглоков находился. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым и с ним даже можно было справляться, изучив его характер. Что касается жены, то она искренне меня любила в то время и из черствого и недоброжелательного Аргуса стала другом надежным и преданным. Чоглоков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в который он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили: я посылала туда почти

каждый час.

Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постели в последние дни болезни мужа; он был в одной стороне своего дома, она – в другой. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа; окна комнаты были открыты, птица влетела в нее и села на карниз потолка, против постели Чоглоковой; тогда она, видя это, сказала: «Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу; пошлите узнать, так ли это». Пришли сказать, что он действительно умер. Она говорила, что эта птица была душа ее мужа; ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенная птица, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но, так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней. […]

Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась, по крайней мере, на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться. Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора; наконец, это удалось. После двадцати девяти дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова.

Мы поехали в Петергоф; я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты, такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду

перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.

Я очень страдала; наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней.

Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели – две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая – в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ.

Наконец, после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно оттого, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться.

Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение, по меньшей мере, не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец, меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне.

Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком.

Графиня Екатерина Петровна Салтыкова, в замужестве Шувалова (1743–1816, Рим) – дочь фельдмаршала графа П. С. Салтыкова, статс-дама императрицы Екатерины II, наперсница Платона Зубова, гофмейстерина двора великой княгини Елизаветы Алексеевны

В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге; эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь, однако,

зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.

Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате; в сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой. […]

Наконец, великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елисавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы.

Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили.

Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы; его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы.

Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом: пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал.

Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.

В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камер-фрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который

стоил бы сто рублей; ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик; вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ее Императорского Величества, я привыкла считать бесценным для себя.

Он ушел с этим комплиментом очень веселый. Он впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала; я ему ответила, что на празднества императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта.

Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня: чтобы я бога ради одолжила эти деньги Кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги, и он возвратил мне их в январе-месяце.

Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость оттого, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне; для этого и взяли у меня в долг мои деньги. […]

После крестин моего сына были празднества, балы, иллюминация и фейерверк при дворе. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки; наконец, выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первая, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе; это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо, в свою постель, где я только и делала, что горевала; чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать; но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе. […]

Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших оттого, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал; княжна Гагарина между тем вышла замуж в назначенный срок. Когда прошло 40 дней со времени моих родов,

императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять; но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту самую минуту, как молитвы были закончены, императрица велела его унести и ушла. 1 ноября было назначено Ее Императорским Величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после шести недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда и от меня переехала в Зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за нею дня два или три спустя.

Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского и наполовину к дому Рагузинского; другая половина этого последнего дома была занята Коллегией иностранных дел. В то время строили Зимний дворец со стороны большой площади. Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда «Историю Германии» и «Всеобщую историю» Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать, между прочим два огромных тома Бароniуса в русском переводе; потом я напала на «Дух законов» Монтескье, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась с силами, чтобы выйти на Рождество. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, и я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись к себе, я разделась и улеглась в мою кровать, а это было не что иное, как кушетка, поставленная мной у заделанной двери, через которую, как мне казалось, не дуло, потому что, кроме подбитой сукном портьеры, перед ней стояли еще большие ширмы, но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму.

На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила; когда я закрывала глаза, я видела перед собою

лишь плохо нарисованные фигуры на изразцах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая.

Что касается моей спальной, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на Неву, на восток и на север; вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум, приблизительно такой же, как в кордегардии; кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давали себя здесь знать. Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простенок, что в общем могло составлять пространство от семи до восьми аршин в длину и аршина четыре в ширину, между тремя дверьми. Так начался 1755 год.

С Рождества до поста были только празднества при дворе и в городе: это было все еще по случаю рождения моего сына. Все наперерыв друг перед другом спешили задавать как можно лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации и фейерверки; я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни.

К концу Масленой Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депеши графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, которой передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путем. Таким же образом я узнала еще, что, как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначили в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средство меня видеть; я поговорила об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней, а оттуда ко мне; я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел; я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, что мне стало ясно как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне, без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему. Сам Лев Нарышкин, хоть и друг его, не очень-то или даже совсем не

оправдывал его. Правду сказать, я этим была очень оскорблена; я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне; ему не трудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе.

Я последовала его совету и появилась 10 февраля, в день рождения великого князя и накануне поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу; я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которая затем облетала город и тешила злобу на их счет; словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать; в их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили. Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатка в поддержке. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше чем когда-либо ласкала.

Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых. Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее, как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали совет и прибегли к придворным хитростям и интригам. В это время появился в России некий Брокдорф, голштинский дворянин, которого раньше прогнали с границы России, куда он было ехал, тогдашние приближенные великого князя Брюммер и Бергхольц, потому что они знали его как человека с очень дурным характером и способного к интриге. Этот человек явился очень кстати для господ Шуваловых. Так как он имел ключ камергера великого князя как герцога Голштинского, то сей ключ дал ему право входа к Его Императорскому Высочеству, который, кроме того, был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны. Этот человек нашел доступ к графу Петру Шувалову вот каким образом. Он познакомился в гостинице, где он стоял, с одним человеком, который не выходил из петербургских гостиниц, разве только для того, чтобы пойти к

трем девицам-немкам, довольно пригожим, по имени Рейфенштейн; одна из этих девиц была на содержании у графа Петра Шувалова.

Человека, о котором идет речь, звали Браун; это был своего рода сводник по всяким делам, он ввел Брокдорфа к этим девицам; здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым; тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить его жену. С этой целью Его Императорское Высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость? Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила: разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана? Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить. Я спросила у него: «Каким образом?» Тогда он прислонился спиною к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит, не рассчитывает ли он драться со мною; что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросила его: «В чем?» Тогда он мне пробормотал: «Да по отношению к Шуваловым». На это я отвечала, что это лишь в отместку и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить: «Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу». Я сказала ему: «Да в чем доверяться?»

Тогда он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать. От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. В тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении.

Чтобы показать ему, как Его Императорское Высочество меня

усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся Ее Императорскому Величеству; что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что, когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер. Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушел со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мною, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию.

Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих голштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала: «Нет ли возможности сделать иначе?» Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют голштинцы. Он действительно так и сделал; просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и шести месяцев с тех пор, как она дала ему сто тысяч; но он остался при своем мнении, а я – при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил.

После Пасхи мы отправились в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в третий раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои Ее Императорского Величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре, как я это уже рассказывала. Приехав на дачу в Ораниенбаум, мы увидели там нечто необычайное. Его Императорское Высочество, которому его голштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут.

Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Находится на территории города Ломоносова (до 1948 года – Ораниенбаум) и включает в себя дворцы и парки XVIII века

От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что притом одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брокдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным подергиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была

рядом с ним; в глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят голштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы прусскому королю; это все предателей приводят в Россию». Вообще, общество было возмущено этим появлением; самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным; в сущности, это было очень неосторожное ребячество.

Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю; я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя, ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец, он на это согласился, и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение.

Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен; это составляло довольно многочисленную компанию, кавалерам нечего было делать в голштинском лагере, из которого Его Императорское Высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне

вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме, и так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово: я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение.

Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника Ламберти; он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум. Он занимался предсказаниями, и, между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, с лишком 80 лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такою уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из Царского Села в Ораниенбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона. Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильямс; в его свите находился граф Понятовский, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля шведского.

После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в

тот же день. Она осталась в Петергофе; там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна.

В Ораниенбаум наехало множество народа; танцевали в зале, который находится при входе в мой сад, потом там же ужинали; иностранные послы и посланники также приехали; помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Уильяме, был за ужином моим соседом и что у нас с ним был разговор – столь же приятный, сколь и веселый; так как он был очень умен и образован и знал всю Европу, то с ним нетрудно было разговаривать. Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой; в этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой: меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала.

Великий князь издавна звал меня madame la Ressource, и как бы он ни был сердит и как бы ни дулся, но если он находился в беде в каком-нибудь смысле, он, по принятому им обыкновению, бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение; как только он его получал, он удирал – опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Ораниенбауме, видя, как танцует граф Понятовский, я стала говорить кавалеру Уильямсу о его отце и о том зле, которое он причинил Петру I. Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил мне то, что я уже знала, а именно что в то время его отец и семья его матери, Чарторыйские, составляли русскую партию в Польше и что они отправили этого сына в Россию, поручив его ему [Уильямсу], чтобы воспитать его в их чувствах к России, и что он надеется, что этот молодой человек сделает карьеру в России. Ему могло быть тогда 22–23 года. Я ответила ему, что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца.

Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене; и в

той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать. […]

В это время и еще долго спустя главной забавой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату; между этими столами едва можно было проходить; он прибил узкие латунные полоски вдоль этих столов; к этим латунным полоскам были привязаны веревочки, и, когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы; кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали тех солдатиков, которые должны были стоять на часах; он присутствовал на этом параде в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать.

К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна; мне пустили кровь. У меня сделался флюс, или, вернее, как я думала, флюсы на обеих щеках; но после нескольких дней страдания у меня появились четыре коренных зуба по четырем концам челюстей.

Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту: четверг был для бала, а вторник – для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали. Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других; в этом числе я считаю госпож Сенявину и Измайлову, сестер Нарышкиных, и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин, все такой же сумасбродный и на которого все смотрели как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу.

Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и, когда я ему отвечала, он входил. 17 декабря между шестью и семью часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери; я велела ему войти; он начал с того, что передал мне приветствия от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова; потом он прибавил: «Но вы

должны были бы ее навестить». Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно идти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает какая будет история». – «О! – сказал он. – Никто этого не узнает; мы примем свои меры». – «Как так?» Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через час или два, великий князь будет ужинать (я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате), он проведет за столом часть ночи, встанет только, когда будет очень пьян, и пойдет спать». Он спал тогда большею частью у себя, со времени моих родов. «Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне».

Это предприятие начинало меня соблазнять; я всегда была одна в своей комнате, со своими книгами, без всякого общества.

Наконец, по мере того как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел; я позвала парикмахера-калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать; он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше.

Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм; я подобрала волосы, как могла лучше; давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила; мы вышли через маленькую переднюю в сени и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь, как сумасшедшие, над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и женою его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитична, ничего не подозревавшая; мы нашли там графа Понятовского; Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души.

На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня; он таким же путем привел своих гостей в мою комнату, и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год.

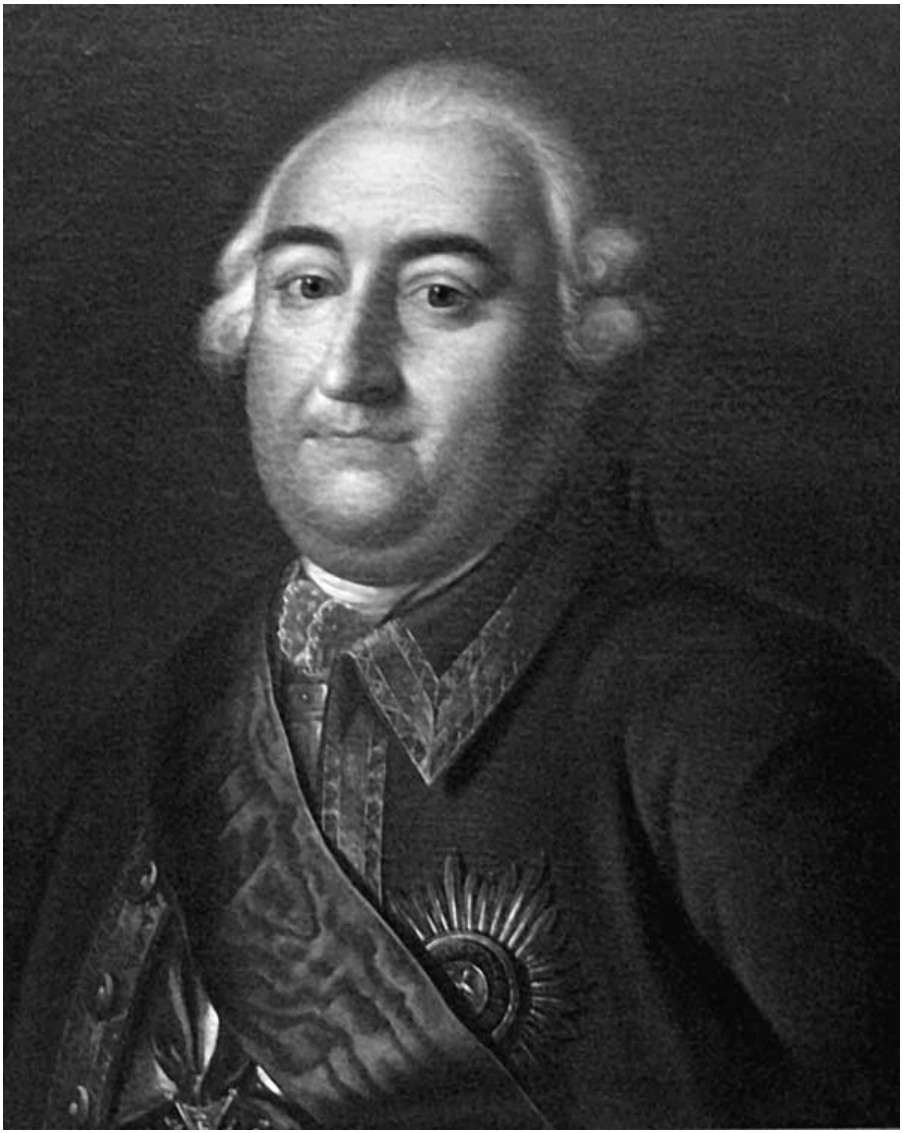
Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой.

В то время готовились к войне с прусским королем. Императрица в силу своего договора с Австрийским двором должна была выставить тридцать тысяч человек вспомогательного войска. Таково было мнение великого канцлера Бестужева, но Австрийский двор желал, чтобы Россия поддержала его всеми своими военными силами. Граф Эстергази, венский посол, хлопотал в этом направлении изо всех сил, где только мог, часто действуя различными путями. Противную графу Бестужеву партию составляли вице-канцлер граф Воронцов и Шуваловы. Англия в то время вступала в союз с прусским королем, а Франция – с Австрией. Императрица Елисавета уже с этого времени начала часто хворать. Сначала не понимали, что с ней такое; приписывали это прекращению месячных. Нередко видели Шуваловых опечаленными, очень озабоченными и усиленно ласкающими от времени до времени великого князя. Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания Ее Императорского Величества были более серьезны, чем думали; одни называли истерическими страданиями то, что другие называли обмороками, конвульсиями или нервными болями. Это продолжалось всю зиму 1755/1756 гг.

Наконец, весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была вступить в Пруссию. Жена его пришла к нам проститься с нами вместе со своею младшею дочерью. Я стала говорить ей об опасениях, которые мне внушало состояние здоровья императрицы, и что мне очень жаль, что муж ее уезжает в такое время, когда, я думаю, нельзя слишком рассчитывать на Шуваловых, которых я

считала своими личными врагами и которые были страшно злы на меня за то, что я предпочитаю им врагов их, а именно графов Разумовских. Она передала все это своему мужу, который так же был доволен моим расположением к нему, как и граф Бестужев, который не любил Шуваловых и был в свойстве с Разумовскими, ибо сын его был женат на одной из их племянниц. Фельдмаршал Апраксин мог быть полезным посредником между всеми заинтересованными сторонами вследствие связи его дочери с графом Петром Шуваловым; утверждали, что эта связь существовала с ведома отца и матери.

Я отлично понимала, кроме того, и мне было ясно как день, что господа Шуваловы пользовались Брокдорфом больше, чем когда-либо, чтобы сколько возможно отдалить от меня великого князя. Несмотря на это, он в то время еще питал невольное доверие ко мне; он почти навсегда сохранил это доверие до странной степени и помимо своей воли; он сам его не замечал, не подозревал и не остерегался. Он был в это время в ссоре с графиней Воронцовой и влюблен в Теплову, племянницу Разумовских. Когда он захотел свидеться с нею, он спросил моего совета о том, как убрать комнату, и показал мне, что, для того чтобы понравиться этой даме, он наполнил комнату ружьями, гренадерскими шапками, шпагами и перевязями, так что она имела вид уголка арсенала; я предоставила ему делать, как он хочет, и ушла; кроме этой дамы, ему приводили еще по вечерам, чтоб ужинать с ним, немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой.



Степан Федорович Апраксин (1702–1758) – русский генерал-фельдмаршал времен Семилетней войны, который командовал русской армией при Гросс-Егерсдорфе

Поссорила великого князя с графиней Воронцовой принцесса Курляндская. По правде сказать, хорошенько не знаю, каким образом. Эта принцесса Курляндская играла тогда особую роль при дворе. Прежде всего это была в то время девушка лет 30, маленькая, некрасивая и горбатая, как я уже об этом говорила; она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камер-фрау Ее Императорского Величества, так что ей сходило с рук все, что она

делала. Она жила с фрейлинами Ее Императорского Величества. Они находились под надзором некоей госпожи Шмидт, жены придворного трубача. Эта Шмидт была финляндка по происхождению, необычайно толстая и массивная; притом бой-баба, всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытного положения. Она, однако, играла роль при дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер-фрау императрицы, а следовательно, и гофмаршала Сиверса, который был сам финляндец и женат на дочери г-жи Крузе, сестры одной из первых любимиц, как я уже об этом говорила. Шмидт правила внутренней жизнью фрейлинского флигеля с большею строгостью, нежели умом, но никогда не появлялась при дворе.

В обществе принцесса Курляндская стояла во главе их, и Шмидт молча доверяла ей руководство ими при дворе. У себя в своем флигеле они помещались все в ряду комнат, примыкавшем с одной стороны к комнате Шмидт, а с другой – к комнате принцессы Курляндской: их жило по две, по три и по четыре в одной комнате, у каждой стояла ширма вокруг кровати, и все комнаты не имели другого хода, как из одной в другую. Поэтому с первого взгляда казалось, что благодаря такому устройству покои фрейлин были недоступны, потому что туда можно было попасть, только проходя через комнату Шмидт или принцессы Курляндской. Но Шмидт часто болела расстройством желудка от всех тех жирных пирогов и других лакомств, которые ей посылали родители этих девиц; следовательно, оставался только выход через комнату принцессы Курляндской.

Здесь, как говорили злые языки, для того чтобы пройти в другие комнаты, надо было так или иначе заплатить пошлину за проход; что было в этом случае удостоверено, так это то, что принцесса Курляндская устраивала и расстраивала браки фрейлин императрицы, сговаривала их и отказывала за них в течение нескольких лет по собственному усмотрению, и я слышала от некоторых лиц, между прочим от Льва Нарышкина и от графа Бутурлина, историю с пошлиной, которую им, как они уверяли, приходилось платить, но не деньгами. Интрига великого князя с Тепловой продолжалась до тех пор, пока мы не переехали на дачу. Здесь она прервалась, потому что Его Императорское Высочество находил, что эта женщина стала невыносима летом; лишенная возможности видеться с ним, она требовала, чтобы он писал ей, по крайней мере, раз или два в неделю, и, чтобы втянуть его в эту переписку, она начала с того, что написала ему письмо на четырех страницах. Как только он его получил, он пришел ко мне в комнату с сильно взволнованным лицом, держа

в руках письмо Тепловой, и сказал мне раздраженным и гневным тоном, и притом довольно громко: «Вообразите, она пишет мне письмо на целых четырех страницах и воображает, что я должен прочесть это, и больше того – отвечать на него, я, которому нужно идти на учения (он опять выписал свое голштинское войско), потом обедать, потом стрелять, потом смотреть репетицию оперы и балет, который в ней будут танцевать кадеты; я ей велю прямо сказать, что у меня нет времени, а если она рассердится, я рассорюсь с ней до зимы». Я ему ответила, что это, конечно, самый короткий путь. Я полагаю, что черты, которые я привожу, характерны и что поэтому они здесь уместны. Вот скрытая причина появления кадетов в Ораниенбауме. Весной 1756 году Шуваловы думали сделать очень ловкий политический ход, чтобы отвлечь великого князя от его голштинского войска, убедив императрицу дать Его Императорскому Высочеству командование над Сухопутным кадетским корпусом, единственным, который тогда существовал. Под его начальство поставили близкого друга и доверенное лицо Ивана Ивановича Шувалова, Мельгунова. Он был женат на одной из камер-юнгфер императрицы, немке и ее любимице. Таким образом господа Шуваловы имели в комнате великого князя одного из самых близких им людей, имевшего возможность говорить с ними ежечасно. Под предлогом оперных балетов в Ораниенбауме привезли туда сотню кадетов, а с ними прибыли Мельгунов и самые близкие к нему офицеры, состоявшие в корпусе. Все они, сколько их было, могли служить удобными наблюдателями во вкусе Шуваловых; среди учителей, приехавших в Ораниенбаум с кадетами, находился их берейтор Циммерман, который считался самым лучшим в то время наездником в России.

Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие уроки верховой езды у Циммермана, чтобы научиться хорошо управлять лошадью. Я сказала об этом великому князю, который ничего против этого не возразил.

Давно уже все прежние правила, введенные Чоглоковыми, были заброшены, забыты или игнорируемы Александром Шуваловым; впрочем, он сам не пользовался никаким, или очень ничтожным, уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем чуть ли не в их присутствии; они подавали тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище «соляного столпа». Она была худа, мала ростом и застенчива; ее скупость проглядывала в ее одежде; юбки ее всегда были слишком узки и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось и чем употребляли остальные дамы для своих

юбок; ее дочь, графиня Головкина, была одета таким же образом; у них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем-нибудь да проглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все мелкое и узкое, истинное отражение их души.

Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в 6 часов утра, одевалась по-мужски и шла в мой сад; там я распорядилась отвести себе площадку на открытом воздухе, которая служила мне манежем. Я делала такие быстрые успехи, что часто Циммерман со средины этого манежа подбегал ко мне со слезами на глазах и целовал мне сапог в порыве восторга, с которым не мог совладать; иногда он в восхищении говорил: «Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок». На этих уроках присутствовали только мой старый хирург Гюйон, одна камер-фрау и несколько слуг.

Так как я занималась с большим прилежанием на этих уроках, которые брала каждое утро, кроме воскресенья, то Циммерман вознаградил меня за труд серебряными шпорами, которые он дал мне по манежным правилам. По прошествии трех недель я прошла все манежные школы, и к осени Циммерман выписал мне скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена; но накануне дня, назначенного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело было отложено до будущей весны. Этим же летом граф Понятовский съездил в Польшу и вернулся оттуда с кредитивом посланника польского короля.

Перед отъездом он приехал в Ораниенбаум, чтобы проститься с нами. Его сопровождал граф Горн, которого шведский король, под тем предлогом, что он должен был отвезти в Петербург извещение о смерти своей матери, моей бабушки, перевел в Россию, чтобы спасти его от преследований французской партии, иначе называемой «партией шляп», против русской, носившей название «партии шапок». Эти преследования так разрослись в Швеции во время сейма 1756 года, что почти все вожаки русской партии были в этом году казнены отсечением головы; граф Горн говорил мне сам, что если бы он не приехал в Петербург, то, наверное, был бы в этом же числе. Граф Понятовский и граф Горн провели двое суток в Ораниенбауме.

В первый день великий князь обошелся с ними очень любезно, но на второй день они ему надоели, потому что он был всецело занят мыслью о свадьбе одного егеря, куда он хотел идти

на попойку, и, когда он увидел, что графы Понятовский и Горн остаются, он их бросил, и мне пришлось их занимать и угощать. После обеда я повела оставшуюся у меня компанию, не очень многочисленную, посмотреть внутренние покои великого князя и мои. Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я думала, что она сойдет с ума от радости. Так как кабинет мой был очень мал, то, кроме Льва Нарышкина, его невестки и меня, никто этого не заметил, но граф Горн понял, в чем дело, и, когда я проходила через комнаты, чтобы вернуться в зал, граф Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка; первая вещь, которую я делал с любимыми мною женщинами, заключалась в том, что дарил им болонку, и через нее-то я всегда узнавал, пользовался ли у них кто-нибудь большим расположением, чем я. Это правило верно и непреложно. Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас, ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит».

Граф Понятовский стал уверять, что все это его фантазия, но не мог его разубедить. Граф Горн ответил ему только: «Не бойтесь ничего, вы имеете дело со скромным человеком». На следующий день они уехали. Этот граф Горн говорил, что когда ему случалось влюбляться, то всегда в трех женщин сразу. Это он показал нам на деле на наших глазах в Петербурге, где ухаживал за тремя фрейлинами императрицы зараз.

Граф Понятовский уехал два дня спустя к себе на родину. Во время его отсутствия английский посланник, кавалер Уильяме, велел мне передать через Льва Нарышкина, что великий канцлер граф Бестужев ведет интригу, чтобы помешать этому назначению графа Понятовского, и чрез его-то, Уильямса, посредство он и сделал попытку отговорить графа Брюля, в то время министра и любимца Польского короля, от этого назначения, но что он, Уильяме, и не подумал исполнить это поручение, хотя и не отказался от него из боязни, чтобы великий канцлер не поручил этого кому-нибудь другому, кто мог бы с большей точностью исполнить возложенное на него и тем повредить его другу, желавшему прежде всего вернуться в Россию. Кавалер Уильяме подозревал, что граф Бестужев, который уже давно держал всех польско-саксонских посланников в своем распоряжении, хотел добиться назначения на это место кого-нибудь из самых доверенных своих людей. Несмотря на это, граф Понятовский получил это место и вернулся к зиме в качестве польского посланника, а саксонская миссия осталась под непосредственным

управлением графа Бестужева.

За несколько времени до нашего отъезда из Ораниенбаума к нам приехали князь и княгиня Голицыны вместе с Бецким. Они ехали за границу для поправления здоровья, в чем особенно нуждался Бецкой, которому надо было рассеяться после тяжелого горя, тяготившего его со времени кончины принцессы Гессен-Гомбургской, урожденной княжны Трубецкой, матери княгини Голицыной, которая родилась от первого брака принцессы Гессенской с Валашским господарем, князем Кантемиром.

Так как княгиня Голицына и Бецкой были мои старые знакомые, я постаралась принять их в Ораниенбауме как можно лучше; мы много гуляли, потом я села с княгиней Голицыной в кабриолет, в котором сама правила, и мы поехали кататься в окрестности Ораниенбаума. Дорогой княгиня Голицына, личность довольно странная и очень ограниченная, завела со мной разговор, в котором дала мне понять, что считает меня сердитой на нее. Я ей сказала, что нисколько и что не знаю, из-за чего могла бы на нее сердиться, так как не из-за чего было спорить. На это она мне сказала, что боялась, что граф Понятовский наговорил мне на нее. Я почти остолбенела при этих словах и возразила ей, что она, конечно, бредила и что он был не в состоянии вредить ей здесь и в моих глазах, так как он давно уехал и так как я знаю его только по имени и как иностранца, и что я не знаю, с чего она все это взяла. Вернувшись к себе, я позвала Льва Нарышкина и передала ему этот разговор, который показался мне столь же глупым, сколь дерзким и нескромным; на это он мне сказал, что княгиня Голицына в течение прошедшей зимы все силы употребила, чтобы привлечь к себе графа Понятовского, что он, из вежливости и чтобы не обидеть ее, оказал ей некоторое внимание, что она была с ним чрезвычайно любезна, а он, понятно, не слишком ей отвечал, потому что она была стара, дурна, глупа и безрассудна, почти даже сумасбродна; она же, видя, что он не отвечает на ее желания, вероятно, возымела подозрение оттого, что он был всегда со Львом и с его невесткой и у них.

Во время краткого пребывания княгини Голицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они, все либо наперсницы, либо любовницы великого князя, во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда также уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать.

Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать, и сказала, что, если они будут

продолжать, я пожалуюсь императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались, но, как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его Императорское Высочество взбесился и тотчас же прибежал ко мне. Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною, что с каждым днем я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а что я обращаюсь с ними, как с прислугой, и что если я пожалуюсь на них императрице, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость, на мою злость, и бог весть, чего он тут мне наговорил. Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит, не благоразумнее ли выгнать всех этих девиц дрянного поведения, которые своими сплетнями ссорят племянника с племянницей, и что, конечно, Ее Императорскому Величеству, дабы водворить мир и согласие между ним и мною и чтобы ей не докучали нашими ссорами, нельзя будет принять иное решение, кроме этого, и что она непременно это сделает.

Тут он понизил тон и вообразил, так как был очень подозрителен, что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам, чем показываю, и что их действительно могут прогнать из-за этой истории, и стал мне говорить: «Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят?» Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить его императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только наполовину.

В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за их глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город.

Немного времени спустя кавалер Уильяме отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России: на следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией; граф Бестужев получил приказание и полномочие заключить этот договор, и действительно, договор был подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по

случаю своего успеха, а на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о присоединении России к конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией. Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером, или казалось, что был обманут, но граф Бестужев сам уже не волен был тогда делать то, что хотел. Его противники начинали уже брать верх над ним, а они интриговали, или, вернее, перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны – Шуваловы, а особенно Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло, в чем их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой мебелью, начинавшей надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю, своему любовнику. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унизить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом.

Граф Петр Иванович Шувалов (1711–1762) – глава русского правительства на исходе царствования Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор и изобретатель. Отец писателя Андрея Шувалова, от которого происходят последующие графы Шуваловы

Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понятовский вернулся в Петербург в качестве посланника польского короля. В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила вскоре после

нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя; ему помогало в этом большое количество голштинских офицеров, которых Его Императорское Высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало, по крайней мере, двух десятков, не считая пары голштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности, все служили шпионами Брокдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренно сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела.

Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Голштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Элендсгейма, мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. На это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать. На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила: «Кто его обвинители?» На это он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают; оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать, а как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком». Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря: обвинители и преступления найдутся после; вам советуют поступать, невзирая на вашу справедливость, на манер «“Barbaric, mon ami»” [cxlvii], как поется в песне. Кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить?» Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других».

Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому, что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый.

Немного времени спустя он вернулся и сказал мне:

«Пойдемте ко мне, Брокдорф скажет вам о деле Элендсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответила: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно». Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: «Говорите с великой княгиней». Брокдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: «Так как Ваше Императорское Высочество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней…» Тут он сделал паузу и затем сказал: «Это дело, которое требует, чтобы его вели с большой тайной и осторожностью…» Я слушала. «Вся Голштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Элендсгейма; правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но, когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно».

Я потребовала у него подробностей об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнокрадства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько ни выставлял Брокдорф напоказ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил; я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить Его Императорское Высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения.

Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели.

Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо, таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии; прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, Его Императорское Высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь

подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия; несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца; эта комиссия действовала вначале с большою энергией, открыв свободное поле доносчикам, и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи; а между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, к каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не закончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле.

Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом, а Брокдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов; но, когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу; наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Элендсгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять акушерки, служившей мне, уведомил меня об этом; партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Голштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование.

Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно; что я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком

случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которые мне внушило поведение этого человека; не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом.

Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «Баба-птица, баба-птица!» – это было его прозвище; птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своею внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупою плоской головой; притом он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта опускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид.

Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала; но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и, чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I.

Сверх того, Брокдорф вовлекал великого князя более, чем когда-либо, в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кордегардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор.

Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более, чем когда-либо, в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно приставить к молодому принцу, наследнику великой империи, и что, по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня

сослаться; я сказала ему: «Да», – и если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу. Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, слушая меня очень серьезно, но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со своим двоюродным братом Иваном; долго он ничего мне не говорил, потом он мне дал понять, что возможно, что императрица будет со мной говорить.

В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел, подпрыгивая, в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого черта: я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я закончил, он преследует меня даже в вашей комнате». Цейц мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого «“да”» или «“нет”», и дела-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и, по мере того как он читал, я говорила: «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет».

Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге: когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла. Дело Элендсгейма осталось в руках Брокдорфа. Но так как Элендсгейм был арестован, Брокдорф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было – удалить его от дел и показать там свое влияние на своего государя.

Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что

говорил много раз, а именно что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России. Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то есть что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил о том, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его испросить позволения присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно, он говорил об этом с Шуваловым, который склонил императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза два-три, и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и, по мере того как мы становились старше, она делалась все заметнее.

Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу; может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться.

Первая ложь, какую великий князь выдумал, заключалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей, будто бы, когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его [великого князя] во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбои. Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль.

Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали; мало-помалу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на

скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи, но, когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило. Тогда, не колеблясь, он мне ответил: «Года за три или четыре». – «Ну, – сказала я, – вы-таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что за три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего 6 или 7 лет, так как вы остались после него одиннадцати лет под опекой моего дяди, шведского наследного принца. И что меня равно удивляет, – сказала я, – так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в шести-семилетнем возрасте».

Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие. Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить, есть ли какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького шести-семилетнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца, ловить цыган. Он замолчал, и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но, когда он забыл мои возражения, он все-таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил.

«Конный портрет Екатерины II». Художник Георг Кристоф Гроот. 1740-е гг.

«Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна».

(Екатерина II)

Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него, которую я приведу в свое время; мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он

часто выдумывал и выдавал за факты и в которых не было и тени правды; достаточно, мне кажется, и этого образчика. В один из четвергов к концу Масленой, когда у нас был бал, я уселась между невесткой Льва Нарышкина и ее сестрой Сенявиной, и мы смотрели, как танцует менуэт Марина Осиповна Закревская, фрейлина императрицы, племянница графов Разумовских; она тогда была ловка и легка, и говорили, что граф Горн в нее сильно влюблен; но так как он был всегда влюблен в трех женщин сразу, то он ухаживал также за графиней Марией Романовной Воронцовой и за Анной Алексеевной Хитрово, тоже фрейлиной Ее Императорского Величества.

Мы нашли, что первая танцует хорошо и довольно мила собой; она танцевала со Львом Нарышкиным. По этому поводу его невестка и сестра рассказали мне, что его мать поговаривает о том, чтобы женить Льва Нарышкина на девице Хитрово, племяннице Шуваловых по матери, сестре Петра и Александра, выданной замуж за отца девицы Хитрово; этот последний так часто приходил в дом к Нарышкиным и так старался, что мать Льва Нарышкина вбила себе этот брак в голову.

Ни Сенявиной, ни ее невестке вовсе не было дела до родства с Шуваловыми, которых они не любили, как я уже раньше это сказала; что касается Льва, он и не знал, что мать думает его женить; он был влюблен в графиню Марию Воронцову, о которой я только что упоминала. Услышав это, я сказала Сенявиной и Нарышкиной, что нельзя допускать этого брака, который устраивала его мать, с девицей Хитрово, а ее никто терпеть не мог, потому что она была интриганка, сплетница и пустая крикунья, и что, для того чтобы покончить с подобными планами, надо дать Льву в жены кого-нибудь в нашем духе, и для этого выбрать вышеупомянутую племянницу графов Разумовских, которые, впрочем, были в дружбе и свойстве с домом Нарышкиных; граф Кирилл Разумовский, кроме того, был очень любим этими двумя дамами и всегда бывал у них в доме, когда они не бывали у него.

Эти две дамы очень одобрили мое мнение; на следующий день, так как был маскарад при дворе, я обратилась к фельдмаршалу Разумовскому, который тогда был малороссийским гетманом, и прямо сказала ему, что он очень нехорошо делает, что упускает для своей племянницы такую партию, как Лев Нарышкин, что мать хочет женить его на девице Хитрово, но что Сенявина, его невестка Нарышкина и я, мы согласились на том, что его племянница будет более подходящей партией, и чтобы он, не теряя времени, пошел сделать это предложение заинтересованным сторонам. Фельдмаршалу

полюбился наш план, он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову, который тотчас же пошел сказать об этом графу Разумовскому-старшему, тот согласился; на следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу купить за пятьдесят рублей позволение или разрешение [на брак]. Получив его, фельдмаршал Разумовский и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, чего она не хотела.

Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрово. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Сенявина и Нарышкина, ее золовка, принялись за Льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным; а до девицы Хитрово ему не было никакого дела.

Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу; она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день, в воскресенье, оба графа Разумовских просили у императрицы ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала. Шуваловы были удивлены способом, каким провели Хитрово и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя; таким образом Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третьей, о которой ни он, ни кто другой три дня тому назад не думали.

Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более, чем когда-либо, с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставила такую хорошую и блестящую партию их племяннице, и не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми, а эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду; к тому же это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила.

Любовные делишки великого князя с Тепловой хромали на обе ноги: одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться; это было всегда украдкой и стесняло Его Императорское Высочество, который так же не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу Масленой эти любовные похождения начали становиться делом партий.

Принцесса Курляндская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец двух девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же,

как и своим пятерым детям, держал неумеренные речи насчет великого князя, и что он между прочим говорил, что, если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость; что для этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для Его Императорского Высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя.

Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой Его Императорское Высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх; чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала; он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова.

Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями; я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курляндскую. Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты; из опасения оттого, что принцесса Курляндская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку: «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят». Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курляндская ответила Его Императорскому Высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил. Но дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя; это была почти «partie carree», потому что там были только фельдмаршал, Марья Павловна Нарышкина, великий князь, Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалось часть поста и дало

повод к другой затее.

Дом фельдмаршала был тогда деревянный; в покоях фельдмаршала собирался народ, и так как и она, и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим эрмитажем, который состоял из двух-трех комнат в первом этаже. Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить, как я уже говорила, без позволения; а благодаря этому распоряжению было три или четыре кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем как другие не знали, что мы там находимся.

К весне умер Пехлин, министр великого князя по голштинским делам; великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штамбке, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штамбке.

В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с тою только разницею, что число голштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, и так как для такого количества не могли найти квартиру в ораниенбаумской деревушке, где вначале было всего двадцать восемь изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе. Но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало пятнадцати-шестнадцати и так как Его Императорское Высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но и множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга… Как только я узнала, что певицы и проч. будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большею частью я ела у себя с двумя-тремя лицами.

Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком

смешанном обществе; и действительно, я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без брильянтов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии, но, однако, она их терпела или, по крайней мере, не запрещала. Я узнала, что Ее Императорское Величество говорила: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне, она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает со всем сбродом, какой там бывает». Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом, и посадками в нем; остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете, и, когда я бывала у себя в комнате, я читала.

В июле-месяце мы узнали, что Мемель добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе-месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме; на нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и Прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии.

Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое между тем он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка ораниенбаумским каменщикам и рабочим.

Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город, где заняли Летний дворец. Здесь граф Александр Шувалов пришел однажды вечером сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму.

Я отправилась тотчас же в покои графа и графини

Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того как я поцеловала ей руку, а она поцеловала меня, по своему обыкновению, она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу. А тогда уже прошло с лишком восемь месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила Ее Императорскому Величеству, что прошлой зимой, видя поведение Брокдорфа, я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом Ее Императорское Величество; что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему сказала, что если Ее Императорское Величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала, и все, что знаю. Тут я рассказала ей историю Элендсгейма, как она происходила; она, казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, о его приближенных. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и, когда сообщила ей о голштинских делах некоторые подробности, показавшие ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: «Вы, кажется, хорошо осведомлены об этой стране». Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею. Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее, и вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить, и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова, так что эта беседа показалась мне, скорее, своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором.

Наконец, она меня отпустила так же холодно, как и встретила, и я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала; да и нечем тут было похвастаться. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шуваловы внушили ей против меня. Впоследствии увидят гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною.

Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин, вместо того чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такою поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в

этих действиях; даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений.

Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше его не видела, однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной, все еще находившейся, из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже; тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил не своевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России, под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая о его отъезде.

Граф Бестужев прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждала его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства. Великий канцлер граф Бестужев послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин не ответил мне; между тем отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал Фермор; нам сказали, что он ехал, чтобы занять место в армии; он некогда был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха. Первым делом

генерал Фермор потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников или смотрителей над строениями, бригадиров Рязанова и Мордвинова, и с ними он уехал в армию. Это были военные, которые раньше ничего не делали, как заключали контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозван; а когда он возвращался, он нашел в Четырех-Руках распоряжение остановиться там и ждать приказаний императрицы.

Долго пришлось их ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утишить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовыми, графом Бутурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых побуждали послы Версальского и Венского дворов начать процесс против Апраксина. Наконец, назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался апоплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки.

Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–1766) – русский государственный деятель и дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне (до опалы в 1758 году)

В этом процессе был бы, наверное, также замешан генерал Ливен; он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина; мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливен был ко мне искренно привязан; но, какую бы дружбу я ни питала к Ливену и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распустить слух, что это в угоду великому князю и мне они отступали, вместо того чтобы идти вперед. Ливен иногда

давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности; между прочим, однажды, когда посол Венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в ту минуту граф Понятовский: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута». Этот анекдот я узнала от самого графа Понятовского, впоследствии короля польского.

Как только генерал Фермер принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо, несмотря на суровое время года, он занял Кенигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758 года.

В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Нарышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым: он только нехотя приходил ко мне и говорил вещи, которые показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке, сестре, графу Понятовскому и всем тем, кто был ко мне привязан. Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы меня наказать за то, что я ему помешала жениться на девице Хитрово, и что, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, которая может стать мне вредной.

Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я; и буквально он вел себя как безумный и оскорблял нас, как только мог, без причины, и это в то время, когда я меблировала на свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него не корыстная душа; словом, у него не было причин жаловаться никоим образом; ясно было видно, что он служил орудием тем, кто им завладел. Он более, чем когда-либо, аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала; он простирал невежливость иногда до того, что когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила, между тем как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями дружбы так же, как и его семью, с тех пор как я их знала.

Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что эта милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни та, ни

другой меня не любят и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня… что, как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь, и тому подобные вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посулили орден св. Анны как знак милости великого князя по отношению к нему. С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели, и его заставили зайти так далеко и даже дальше, чем желали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. Как потом увидят, тогда он старался, как только мог, удалять великого князя от меня, так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елисаветой Воронцовой.

К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам, из которых первой была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснения для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен; вторая причина заключалась в том, что Саксонский дом был на стороне, противной королю прусскому. Третьей причиной могло быть еще то, что он боялся потерять в сравнении: это значило, по меньшей мере, быть очень скромным, потому что этот бедный Саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования; кроме охоты и танцев, он ничего не знал, и он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государыня, отличавшаяся большим ханжеством.

Принц Карл Саксонский приехал действительно 5 апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна: его сопровождало множество поляков и саксонцев, между которыми был один из Любомирских, один из Потоцких, коронный писарь, граф Ржевуский, которого звали «красивым», двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Броницкий, впоследствии великий гетман, граф Эйнзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память. С ними был своего рода помощник воспитателя по имени Лашиналь, который руководил его поведением и перепиской. Принца Саксонского поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделан и в который домохозяин вложил весь свой вкус, несмотря на то что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато. В

нем было много картин, но большею частию – копии; одну комнату отделали чинаровым деревом, но так как чинара не блестит, то ее покрыли лаком, и через это комната стала желтой, но очень неприятного желтого цвета; отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой, и, чтобы этому пособить, ее покрыли очень тяжелой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева, так много было на нем резьбы.

Граф Иван Чернышев назначен был состоять при Саксонском принце Карле, и содержание его, и услуги шли насчет двора, и ему прислуживали придворные люди. В ночь накануне дня приезда принца Карла я почувствовала такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше 30 раз ходить на судно; несмотря на это и на охватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять саксонского принца. Его привели к императрице около двух часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен был войти великий князь. Для этого поставили у одной и той же стены три кресла: среднее было для меня, правое от меня – для великого князя и левое – для саксонского принца. Я вела разговор, так как великий князь не хотел почти говорить, да и принц Карл не был разговорчив.

Наконец, через семь-восемь минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту; с ним было, кажется, больше двадцати человек, к которым присоединились в этот день посланники: польский и саксонский, которые состояли при Русском дворе, со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделась, чтобы лечь в кровать, где оставалась три-четыре дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности.

В конце апреля мы поехали в Ораниенбаум. До нашего отъезда мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф, и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал 4 июля. Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня и я не знала этому другой причины, кроме той, что я неласково принимала ни Брокдорфа, ни графиню Елисавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь Его Императорского Высочества праздник в моем ораниенбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение, если сделать это было возможно.

Всякое празднество всегда было приятно Его Императорскому Высочеству. Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору, который тогда у меня был, Антонио Ринальди[clxii], большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку – капельмейстеру Арайе. В саду, на главной аллее, поставили иллюминованную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. 17 июня под вечер Его Императорское Высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и со множеством зрителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминованным; сели за стол, и после первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную аллею, и увидели приближающийся издалека подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминована, и так ярко, что различали предметы.

Когда колесница остановилась, то, игрою случая, луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество; погода была, кроме того, превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда она окончилась, занавес опустили и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо. Когда его заканчивали, послышались трубы и литавры и вышел скоморох, выкрикивая: «Милостивые государи и милостивые государыни, заходите, заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею». С двух сторон декорации с занавесом поднялись два маленькие занавеса, и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные номера для фарфора, находившегося в ней, а в другой – для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде.

Когда лавки были опустошены, мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до шести часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником, и Его Императорское Высочество и все были в восхищении от него и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник; правда, что я ничего не пожалела: вино мое нашли чудным, ужин – отличнейшим; все было на мой собственный счет, и праздник стоил мне от десяти до пятнадцати тысяч; заметьте, что я имела всего тридцать тысяч в год.

Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже: утром 17

июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовления; когда я пожелала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени; а я была уже на четвертом или на пятом месяце беременности; но я и виду не показала и оставалась последней на празднике, занимаясь с гостями.

Между тем я очень боялась выкидыша; однако со мною ничего не случилось, и я отделалась страхом.

Великий князь, все его окружающие, все его голштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник, так как не было ни друга, ни недруга, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне; и так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное, и, между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их, хотя, в сущности, они были неважными, потому что, я думаю, не было ни одного дороже ста рублей, но их получили от меня, и всем было приятно сказать: «Это у меня от Ее Императорского Высочества, великой княгини; она сама доброта, она всем сделала подарки; она прелестна; она смотрела на меня с веселым любезным видом; она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять; она рассаживала тех, у кого не было места; она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть; она была весела», – словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моею целью; но это было не надолго, как увидят впоследствии.

После этого праздника Лев Нарышкин стал снова у меня бывать. Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канапе, которое там находилось, и распевающим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой; я ей сказала, что надо взять хороший пучок розог и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розог, обвязанных крапивой; мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяна Юрьевна, и мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте распевающим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки

и лицо настолько распухли в течение двух-трех дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртаг, а был принужден оставаться у себя. Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь, в той степени, по крайней мере, в какой он делал это до сих пор.

В августе-месяце мы узнали в Ораниенбауме, что 14 августа было дано сражение при Цорндорфе – одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наши потери в офицерах были значительны и превосходили 1200. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыша сражения, что, наконец, на третий день прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор – на поле сражения. Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких друзей и знакомых; долго слышны были одни сожаления об этом дне; много генералов было убито, ранено или взято в плен. Наконец, было признано, что генерал Фермор вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермера. Для этого выписали графа Салтыкова из Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову-Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева и князя Александра Голицына, шурина Румянцева.

Последнего обвинили в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в десять тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду, то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей. Граф Румянцев этого не сделал, и, когда его шурин, князь Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о бойне, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел

его видеть после этого, обходясь с ним как с трусом, каковым князь Голицын не был, и вся армия была более убеждена в неустрашимости последнего, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы.

«Портрет Екатерины II перед зеркалом». Художник Виргилиус Эриксен. 1762–1764 гг.

Императрица находилась в начале сентября в Царском Селе, где 8-го числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в двух шагах от

Северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва обедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо, вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и, дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств, среди толпы, или, вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню. Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви, но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти.

Императрица была очень рослая и полная и не могла упасть разом, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом; этот последний пришел первым и нашел, что самое неотложное – это пустить ей кровь тут же, на земле, среди и в присутствии всего этого народа, но она не пришла в себя.

Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле; это был покойный Кондоиди, грек родом, а хирург – Фузадье, француз-эмигрант. Наконец, принесли из дворца ширмы и канапе, на которое ее поместили; лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство; но, открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она. Все это длилось более двух часов, после чего решили снести Ее Императорское Величество на канапе во дворец.

Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность события еще увеличивала его печаль: до сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным.

На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще и в частности еще то, что лично касалось императрицы; но было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с Ее Императорским Величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы. Мы не преминули сделать это на следующее воскресенье и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком и что она еще не могла говорить без затруднения; говорили, что во время обморока она прикусила себе язык.

Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсий, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город. Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для великого князя, потому что, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к Его Императорскому Высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность; я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу.

Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову как великому инквизитору Империи». Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом».

Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидала, что на мой выбор предоставлялись три дороги, одинаково трудные: во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался; открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства.

В октябре-месяце я получила от великого канцлера графа Бестужева извещение, что польский король только что прислал графу Понятовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и Саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте.

Он узнал наконец, что это вице-канцлер граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через Прассе, саксонского резидента. Этот Прассе казался часто осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся: он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова, графини Анны Карловны, урожденной Скавронской, которая была очень дружна с женою церемониймейстера Самарина, и у этой-то женщины графиня видала Прассе. Канцлер Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понятовскому, и вернул их в Саксонию, под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с 8 на 9 декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславову, также и графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу.

Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой голштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку; он был в полном параде; было около двух с половиной часов ночи. Очень удивленная этим одеянием, я спросила его о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг голштинского офицера – защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов, и так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь. Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет: то, что он говорил, было очень серьезно; я легко догадалась, что он пьян, и посоветовала ему идти спать, чтобы, когда императрица придет, она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног, в голштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела.

Мне стоило большого труда заставить его уйти, однако и Владиславова, и я, мы его убедили с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец, он ушел, и императрица пожаловала.

Она спросила, где великий князь; ей ответили, что он только что вышел и не преминет возвратиться. Так как она увидала, что боли замедлялись, и так как акушерка сказала, что это может

длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего дня; когда встала, по обыкновению, чувствуя время от времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала.

К ужину я проголодалась и велела принести себе ужин; акушерка сидела близ меня, и, видя, что я ем с алчным аппетитом, она мне сказала: «Кушайте, кушайте, этот ужин принесет нам счастье». Действительно, поужинав, я встала из-за стола, и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула.

Акушерка и Владиславова подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель; послали за великим князем и за императрицей. Едва они вошли в мою комнату, как я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила императрицу разрешить дать ее имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Ее Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери великого князя.

Этот последний, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка; он по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить то же и в Голштинии, и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия.

На шестой день императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ Кабинета выдать мне шестьдесят тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что немало увеличило его удовольствие.

После крестин начались празднества. Давались, как говорят, прекраснейшие, я не видала ни одного; я была в моей постели одинешенька, и не было ни единой души со мной, кроме Владиславовой, потому что, как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои, но также под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную, и никто ни ногой не вступал в мою комнату и не осведомлялся и не велел осведомляться, как я себя чувствую.

Как и в первый раз, я очень страдала от этой заброшенности. На этот раз я приняла всевозможные предосторожности против сквозняков и неудобств помещения, и, как только я разрешилась, я встала и легла на свою постель, и так как никто не смел приходить ко мне, разве только украдкой, то и в этом отношении у меня не было недостатка предусмотрительности.

Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты, налево от кровати был черный ход,

выходящий как бы в гардеробную, служившую также передней и очень заставленную ширмами и сундуками; от моей кровати до этой двери я велела поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать ввиду этого помещения и обстоятельств. В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики и несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно; когда же он был отдернут – видно было и кабинет, и тех, кто в нем находились; те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы; когда спрашивали, что за ширмами, говорили – судно; но судно было в самой ширме, и никому не было любопытно на него взглянуть, да и можно было бы его показать, не проникая еще в кабинет, который прикрывали эти ширмы.

1 января 1759 года придворные празднества окончились очень большим фейерверком между балом и ужином; так как я все еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка. Незадолго перед тем, как его стали пускать, Владиславова сказала ему, что я сплю, но что она, однако, пойдет посмотреть; я не спала, это была неправда, но только я была в постели, и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли, как и прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский. Последний со времени своего отозвания сказывался больным, но приходил ко мне, а дамы эти любили меня достаточно, чтобы предпочесть мое общество балам и праздникам.

Владиславова не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть; я сказала ей, что рано ложусь спать от скуки, и она уже больше не входила.

После прихода графа Петра Шувалова она постучалась в дверь, я задернула занавес со стороны ширм и сказала ей, чтобы она вошла; она вошла и передала мне поручение графа Петра Шувалова; я велела ей впустить его. Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычайности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну, в моей постели, между тем как всего один занавес отделял мою маленькую и очень веселую компанию от этого лица, столь важного тогда, оракула двора и пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы. Наконец, он вошел, принес мне свой план фейерверка; он был тогда генерал-фельдцейхмейстером. Я начала с того, что стала извиняться, что

заставила его ждать, говоря, что я только что проснулась; я немного протирала себе глаза, говоря, что я еще совсем заспанная. Я лгала, чтобы не выдать Владиславову, после чего я завела с ним довольно длинный разговор и даже до того, что мне показалось, что он очень спешит уйти, чтоб не заставлять ждать императрицу начала фейерверка. Тогда я его отпустила, он вышел, и я снова отдернула занавес; моей компании от смеху захотелось есть и пить. Я им сказала: «Отлично, у вас будет, что есть и пить; между тем как вы составляете мою компанию, справедливо, чтобы в угоду мне вы не померли бы у меня от голоду и жажды». Я снова закрыла занавес и позвонила. Владиславова пришла, я ей сказала, чтоб она велела принести мне ужинать, что я умираю от голоду и чтоб было, по крайней мере, шесть вкусных блюд.

Когда ужин был готов, мне его принесли; я велела поставить все у моей кровати и сказала служителям, чтоб они ушли. Тогда находившиеся за ширмой гости набросились как голодные на еду, какая нашлась; веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю только, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом. К концу придворного ужина моя компания удалилась, также очень довольная своим вечером.

Граф Понятовский для выхода брал обыкновенно с собою белокурый парик и плащ, и, когда часовые спрашивали его: «Кто идет»?» – он называл себя: «Музыкант великого князя». Этот парик очень нас смешил в тот вечер. На этот раз после шести недель мне давали молитву в малой церкви императрицы, но, кроме графа Александра Шувалова, никто при этом не присутствовал. К концу Масленой, когда все городские праздники закончились, при дворе было три свадьбы: свадьба графа Александра Строганова с графиней Анной Воронцовой, дочерью вице-канцлера, была первой, а два дня спустя – свадьба Льва Нарышкина с девицей Закревской, в тот же день, как и свадьба графа Бутурлина с графиней Марией Воронцовой.

Эти три девицы были фрейлинами императрицы. По поводу этих трех свадеб держали при дворе пари гетман Кирилл Разумовский и датский посланник граф Остен, кто из троих новобрачных будет раньше всех рогоносцем, и оказалось, что выиграли пари те, кто держал за Строганова, молодая супруга которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком. Канун дня свадьбы Льва Нарышкина и графа Бутурлина был днем несчастного события. Давно уже передавали

друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Бестужева пошатывался, что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина.

Граф Разумовский-старший долго его поддерживал, но с преобладанием фавора Шуваловых он больше ни во что почти не вмешивался, разве только испрашивал, когда представлялся к тому случай, какую-нибудь маленькую милость для своих друзей или родственников. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали еще в их ненависти к великому канцлеру послы австрийский, граф Эстергази, и французский, маркиз де Лопиталь. Этот последний считал графа Бестужева более склонным к союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев хотел, чтобы Россия держалась своего союзного договора с Венским двором и оказывала бы помощь Марии-Терезии, но не хотел, чтоб она действовала в качестве первой воюющей стороны против прусского короля.

Граф Бестужев думал, как патриот, и им нелегко было вертеть, тогда как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были до такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер граф Бестужев, французский посол маркиз де Лопиталь отправился к вице-канцлеру графу Воронцову с депешей в руках и сказал: «Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет отставлен вами от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним». Тогда вице-канцлер разгорелся и отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления.

Иван Иванович Шувалов (1727–1797) – русский государственный деятель, генерал-адъютант (1760), фаворит императрицы Елизаветы I Петровны, меценат, основатель Московского университета и Академии художеств. Почетный член Императорской Академии наук (с 1778), действительный член Императорской Российской академии (с 1783), один из создателей Академического словаря. Обер-камергер (с 1778), действительный тайный советник (с 1773). Графского титула он (в отличие от своих двоюродных братьев) не имел

Он пришел, и его арестовали в полном собрании

конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишали первое лицо в империи, и его отправили к себе под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров; эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: «Слава Богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии»; но, увидев, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты выказали неудовольствие по этому поводу, говоря: «Это не он, это другие давят народ». Хотя Бестужева арестовали в самом дворце, где мы занимали флигель, и не очень далеко от наших покоев, в этот вечер мы ничего не узнали: так заботились скрывать от нас все, что делалось.

На следующий день, в воскресенье, одеваясь, я получила от Льва Нарышкина записку, которую посылал мне граф Понятовский этим путем, очень давно уже не внушавшим ничего, кроме подозрения. Эта записка начиналась словами: «Человек никогда не остается без помощи; пользуюсь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишен чинов и должностей, и с ним вместе арестованы ваш ювелир Бернарди, Елагин и Ададуров».

Я так и остолбенела, читая эти строки, и, прочтя их, сказала себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется. А чтобы понять это, нужен комментарий. Бернарди был итальянский торговец золотыми вещами, который был неглуп и которому его ремесло давало доступ во все дома. Думаю, что не было ни одного дома, который не был бы ему чем-нибудь обязан и которому он не оказал бы той или другой мелкой услуги. Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения; словечко в записке, посланной через Бернарди, достигало скорее и вернее, нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручения, от меня так же, как и от других. Елагин был тот прежний адъютант обер-егермейстера графа Разумовского, на которого была возложена опека над Бекетовым; он остался преданным дому Разумовских, а через них и графу Бестужеву; он стал другом графа Понятовского.

Это был человек надежный и честный; кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял; он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение. Ададуров был прежде моим учителем русского языка и остался очень ко мне привязанным;

это я рекомендовала его графу Бестужеву, который начал выказывать ему доверие всего два или три года и который не любил его прежде, потому что он был раньше привержен к генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, врагу Бестужева.

После прочтения этой записки и сделанных мною размышлений множество мыслей, одни неприятнее и грустнее других, пришли мне на ум. С ножом в сердце, так сказать, я оделась и пошла к обедне, где мне показалось, что большая часть из тех, кого я видела, имели такую же вытянутую физиономию, как и я. Никто ни о чем не говорил со мною во весь день, и как будто никто не знал о событии; я тоже ни слова не говорила. Великий князь никогда не любил графа Бестужева; он мне показался довольно веселым в этот день, но держался, хотя без принужденности, однако, довольно далеко от меня. Вечером надо было идти на свадьбу. Я снова оделась и присутствовала при венчании графа Бутурлина и Льва Нарышкина, на ужине и на балу.

Во время бала я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому, и, под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла, я сказала ему вполголоса: «Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений». На это он мне сказал: «Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор открытия неудачны».

По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: «Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано». Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных. Я увидала на этом балу издали Штамбке и нашла, что у него страдальческий и унылый вид. Императрица не появилась ни на одной из этих свадеб: ни в церкви, ни на банкете. На следующий день Штамбке пришел ко мне и сказал мне, что ему только что передали записку от графа Бестужева, который наказывал ему сказать мне, чтобы я не имела никаких опасений относительно того, что я знала, что он успел все бросить в огонь и что он сообщит ему тем же путем о допросах, которые ему будут делать. Я спросила у Штамбке, какой этот путь? Он мне сказал, что трубач-охотник передал ему эту записку, и было условлено, что впредь будут класть между кирпичами недалеко от дома графа Бестужева в указанном месте все, что захотят друг другу сообщить. Я велела Штамбке очень остерегаться, чтобы эта опасная переписка не открылась, но, хотя

он мне казался сам в большой тревоге, тем не менее он и граф Понятовский продолжали переписку. Как только Штамбке вышел, я позвала Владиславову и велела ей пойти к ее зятю Пуговишникову и передать ему записку, которую я ему написала.

В этой записке были только слова: «Вам нечего бояться, успели все сжечь». Это его успокоило, потому что, по-видимому, со времени ареста великого канцлера он должен был быть ни жив ни мертв, и вот по какому поводу, и что такое было то, что граф Бестужев успел сжечь. Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры на будущее; граф Бестужев и по своему месту, и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте; уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушили; к тому же он смотрел на меня лично как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в трех государственных коллегиях: в коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны.

Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность; но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом. Но так как я не видела еще наличности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и

цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали.

Между тем мой камердинер Шкурин пришел мне сказать, что капитан, который находится на карауле при графе Бестужеве, был всегда ему другом и каждое воскресенье, уходя с караула при дворе, обедал у него; тогда я ему сказала, что если дела были таковы и он мог на него рассчитывать, то пусть он постарается у него выведать, пойдет ли он на какие-нибудь сношения со своим арестантом. Это становилось тем более необходимым, что граф Бестужев сообщил Штамбке своим путем, что надо предупредить Бернарди, чтобы он говорил чистую правду на своем допросе и сообщил ему то, что у него будут спрашивать. Когда я увидела, что Шкурин берется охотно найти какое-нибудь средство, чтобы добраться до графа Бестужева, я ему сказала, чтобы он постарался также найти сообщение с Бернарди, посмотреть, нельзя ли подкупить сержанта или какого-нибудь солдата, который караулил Бернарди в его квартире. В тот же день, к вечеру Шкурин сказал мне, что Бернарди находится под стражей у некоего сержанта гвардии по имени Колышкин], с которым он на следующий же день повидается; но что он посылал к своему другу капитану, который был у графа Бестужева, чтобы спросить его, может ли он его видеть, и тот велел ему сказать, что, если он хочет с ним говорить, пусть приходит к нему, но что один из его подчиненных, которого он также знал и который был ему родственником, велел ему сказать не ходить туда, потому что, если он туда придет, капитан велит его арестовать и тем выслужится на его счет, чем он хвастался с глазу на глаз. Поэтому Шкурин перестал посылать капитану, своему мнимому другу. Зато Колышкин, за которого я приказала приняться от моего имени, сказал Бернарди все, что желали; да он и должен был говорить только одну правду, на что и тот, и другой охотно пошли.

Через несколько дней, однажды утром очень рано Штамбке пришел в мою комнату, очень бледный, расстроенный и сказал мне, что его переписка и переписка графа Понятовского с графом Бестужевым была открыта; что маленький трубач-охотник арестован и что по всему видно, что их последние письма имели несчастие попасть в руки карауливших графа Бестужева, что он сам ожидает ежеминутно быть, по крайней мере, высланным, если не арестованным, и что он пришел ко мне, чтобы мне это сказать и проститься со мною. То, что он мне сказал, не ободрило меня; я утешала его, как могла, и отправила, не подозревая, что его визит ко мне только увеличит, если это было возможно,

всяческие неудовольствия против меня, и что меня будут избегать как лицо, может быть, подозрительное для правительства.

Однако я была глубоко убеждена в душе, что против правительства я ни в чем не могла себя упрекать. Общество вообще, за исключением Михаила Воронцова и Ивана Шувалова и двух послов, венского и версальского, и тех, которых они могли в чем угодно уверить, все во всем Петербурге – от мала до велика – были убеждены, что граф Бестужев невинен, что над ним не тяготело ни злодеяние, ни преступление; знали, что на следующий день после вечера, когда он был арестован, в комнате Ивана Шувалова работали над манифестом; что Волков, который был прежде старшим чиновником графа Бестужева и который убежал от него в 1755 году, а потом, побродив по лесам, снова дал себя схватить и который в настоящую минуту был старшим секретарем конференции, должен был написать этот акт; его хотели напечатать, чтобы ознакомить общество с причинами, которые принудили императрицу поступить с великим канцлером графом Бестужевым так, как она сделала.

И вот это тайное совещание, ломая себе голову в поисках за преступлениями, согласилось сказать, что Бестужев был так наказан за преступление в оскорблении Ее Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ее Императорским Величеством и Их Императорскими Высочествами.

Без расследования и суда хотели на следующий же день после ареста отправить его в одно из его имений, отняв у него все остальные земли. Но нашлись такие, которые сказали, что было уже слишком ссылать кого-либо без вины и суда и что, по крайней мере, надо поискать преступлений в надежде их найти; и что, найдут ли их, или нет, но надо было подвергнуть арестанта, лишенного неизвестно за что его должностей, чинов и орденов, суду следователей. А этими следователями были, как я уже говорила, фельдмаршал Бутурлин, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал, граф Александр Шувалов и Волков в качестве секретаря. Первое, что господа следователи сделали, – это то, что предписали через Коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных дворах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступления в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как Ее Императорское Величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то Ее Императорское Величество совсем не была в состоянии давать их

великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть; а устные повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их так же плохо передадут, как плохо примут и поймут. Но из всего этого ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что я думаю, что никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том, что могли бы найти в них предосудительного.

Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, и по прибытии их в Петербург было бы чем истощить терпение, в течение нескольких лет, многих лиц, чтобы найти и откопать в них то, чего в них, может быть, вовсе и не было. Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело, и его закончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован. После обеда в тот день, когда Штамбке приходил ко мне, императрица велела сказать великому князю, чтобы он отослал Штамбке в Голштинию, потому что открыты его сношения с графом Бестужевым, и что он заслуживал бы быть арестованным, но что из уважения к Его Императорскому Высочеству его, как министра, оставляли на свободе, с условием, чтобы он тотчас же был выслан. Штамбке был немедленно отправлен, и с его отъездом закончилось мое руководство голштинскими делами. Дали понять великому князю, что императрице было неугодно, чтобы я в них вмешивалась, а Его Императорское Высочество был и сам к тому довольно склонен. Я не помню хорошо, кого он взял тогда на место Штамбке, но думаю, что это был некий Вольф. Министерство императрицы потребовало в это время формально у польского короля отозвания графа Понятовского, записка которого к графу Бестужеву была найдена; записка, правда, очень невинная, но все-таки адресованная к мнимому государственному преступнику. Как только я узнала о высылке Штамбке и об отозвании графа Понятовского, я уже не ждала ничего хорошего, и вот что я сделала.

Я позвала моего камердинера Шкурина и велела ему собрать все мои счетоводные книги и все, что могло вообще иметь вид какой-нибудь бумаги между моими вещами, и принести их мне. Он исполнил мое приказание с усердием и в точности. Когда все было в моей комнате, я его отослала. Когда он вышел, я бросила все книги и бумаги в огонь, и, увидав их наполовину сгоревшими,

я позвала снова Шкурина и сказала ему: «Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены, для того чтобы, если вас когда-нибудь спросят, где они, вы могли бы поклясться, что вы видели, как я тут сама их жгла».

Он поблагодарил меня за заботу о нем и сказал мне, что произошла очень странная перемена в карауле при арестантах. Со времени открытия переписки Штамбке с графом Бестужевым заставляли строже караулить этого последнего и для этого взяли от Бернарди сержанта Колышкина и поместили его в комнате и при особе бывшего великого канцлера. Когда Колышкин увидал это, он попросил, чтобы дали ему часть верных ему солдат, которых он имел, когда был на карауле при Бернарди. Итак, человек самый надежный и умный, какого мы со Шкуриным имели, оказался введенным в комнату графа Бестужева и не потерявшим тоже всякого сообщения с Бернарди. Тем временем допросы графа Бестужева шли своим путем; Колышкин открылся Бестужеву как человек, вполне мне преданный, и действительно он оказал ему тысячу услуг. Он был так же, как и я, глубоко убежден, что великий канцлер не виновен и был жертвой сильной интриги; общество было убеждено в том же. Великого князя, как я видела, напугали и внушили ему подозрения, что мне будто бы была небезызвестна переписка Штамбке с государственным узником. Я видела, что Его Императорское Высочество не смеет почти со мною разговаривать и избегает заходить в мою комнату, где я на этот раз была одна-одинешенька, не видя ни души; я сама избегала звать к себе кого-нибудь из страха подвергнуть их какому-нибудь несчастью или неприятности; при дворе, из боязни, чтобы не стали меня избегать, я воздерживалась подходить ко всем тем, от кого, по моему предположению, я могла бы ожидать, что это станется.

В последние дни Масленой должна была быть русская комедия в придворном театре; граф Понятовский велел меня просить прийти, потому что начинали распускать слух о том, что собираются меня отослать, мешать мне появляться, и, почем я знаю, что еще и что каждый раз, как я не появлялась на спектакле или при дворе, все были заняты тем, чтобы узнать тому причину, может быть, столько же из любопытства, сколько и из участия, которое во мне принимали. Я знала, что русская комедия – одна из вещей, которые Его Императорское Высочество всего меньше любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился; но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес, а именно: он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя, но так как она

находилась в передней с другими фрейлинами, то там Его Императорское Высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало Его Императорское Высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покои. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества Его Императорского Высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован.

Станислав II Август Понятовский (1732–1798) – последний король польский и великий князь литовский в 1764–1795 годах. Фаворит Екатерины II

Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату; он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей; я возразила ему, что он напрасно их не любит; он мне сказал, что запретит подать мою карету; я ему ответила, что пойду пешком, и что я не могу взять в толк, какое он находит

удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общества, что моя собака да мой попугай.

После того как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты; он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету; тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна, и что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него.

Он мне сказал: «А что вы ей скажете?» – «Я ей передам, – возразила я, – как со мною обходятся, а что вы, для того чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть Ее Императорское Величество; кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю; одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и не любимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро; знайте же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице».

Мой Шувалов испугался взятого мною решительного тона; он вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его, насколько могла, более трогательным. Я начала с того, что благодарила ее за все милости и благодеяния, какими она меня осыпала с моего приезда в Россию, говоря, что, к несчастию, события доказали, что я их не заслужила, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость Ее Императорского Величества; что, видя свое несчастие и то, что я сохну со скуки в моей комнате, где меня лишают даже самого невинного времяпрепровождения, я ее убедительно прошу положить конец моим несчастиям, отослав меня к моим родным таким способом, какой она найдет подходящим, что так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где и они, или в нескольких стах верст от них; что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им

оказывать, что я осмеливаюсь просить ее продолжать их и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло, но что мое здоровье доведено горем до такого состояния, что я должна сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, спасти свою жизнь, и что для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда – к моим родным.

Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который, входя, сказал мне, что требуемые мною кареты готовы; я ему сказала, вручая мое письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам, которые не желали бы ехать со мною в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов, помаргивая глазом, принял мое письмо; но, так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять. Он также передал мои слова фрейлинам и кавалерам, и Его Императорское Высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним. Я прошла через переднюю, где нашла Его Императорское Высочество, усевшегося в уголке с графиней Елисаветой Воронцовой и занятого игрою в карты с ней. Он встал, и она так же, когда меня увидел, чего он обыкновенно не делал; на эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своею дорогой.

Я отправилась в комедию, куда императрица не приехала в этот день; думаю, что ей помешало мое письмо. По возвращении с комедии граф Шувалов сказал мне, что Ее Императорское Величество велела передать мне, что сама поговорит со мною. По-видимому, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что хотя он с того дня больше ни ногой не ступил в мою комнату, однако он сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была иметь со мною, и не сочли возможным отказать ему в этом.

Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах. Я была глубоко убеждена, что если и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мною шаг совершенно расстраивал этот проект Шуваловых, который, впрочем, должен был встретить всего больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам; кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторение их в ее время; против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин, точно так же, как и я не

казалась ему достойнейшей любви среди женщин. Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я; она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения, и, когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастием иметь такого наследника или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая – графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту.

В одной из них было такое выражение: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более»; а в другой она говорила: «Племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты; если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, – вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв.

Когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни сердце мое было бы открыто великому князю: стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что, когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому Его Императорское Высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть,

огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла в себе гораздо сильнее, чем все остальные; природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна.

Я говорила себе: «Счастие и несчастие – в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастие, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события». С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью, по меньшей мере, очень интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда; ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком.

По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским; но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь, и я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться.

Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказалась больной и не вышла, спокойно ожидая решения Ее Императорского Величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе поста я нашла нужным говеть, для того чтобы видели мою приверженность к православной вере.

На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее горе. Встав однажды утром, я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным; я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно. Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня; я залилась слезами и ответила ему, что, конечно, Ее Императорское Величество вольна брать от меня и назначать ко мне кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости Ее Императорского Величества, и, чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить Ее Императорское Величество отослать меня к моим родным, покончить поскорее с положением, до которого я доведена и в котором делаю только несчастных.

Я, кроме того, уверяла его, что Владиславова ни в коем случае не пригодна к тому, чтобы дать какое-либо разъяснение в чем бы то ни было, потому что ни она, ни кто-либо другой не пользуется моим полным доверием. Граф Шувалов хотел говорить, но, видя мои рыдания, он сам принялся плакать вместе со мною и сказал мне, что императрица сама поговорит со мною об этом; я просила его ускорить эту минуту, что он мне и обещал. Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне приставят на место Владиславовен какую-нибудь дуэнью, которая мне не понравится, то пусть она приготовится к самому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои, и просила их передать это кому вздумается, чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне, охоту и готовность принять это место, так как я устала страдать и вижу, что мои кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается; вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение. Мои люди не преминули пересказать то, что я хотела; вечером того дня, в который я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная и телом, и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер-юнгфер, Екатерина Ивановна Шаргородская. Она плача и с большим чувством сказала мне: «Мы все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим; позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему; я с ним поговорю, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так

поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны».

Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице, и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около 11 часов сказать мне, что ее дядя, духовник, советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедали, а для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст. Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение и отослала ее, благодаря ее и ее дядю за привязанность, которую они мне выказали. Буквально, я между двумя и тремя часами утра позвонила; одна из моих женщин вошла; я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедоваться. Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов, которому я слабым и прерывающимся голосом повторила свою просьбу позвать моего духовника. Он послал за докторами; им я сказала, что мне нужна духовная помощь, что я задыхаюсь; один пощупал мне пульс и сказал, что он слаб; я говорила, что душа моя в опасности, а что моему телу врачи больше не нужны.

Наконец, духовник пришел, и нас оставили одних. Я усадила его рядом со своей постелью, и мы, по крайней мере, полтора часа проговорили с ним. Я ему подробно рассказала о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем – по отношению к Его Императорскому Высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость Ее Императорского Величества, наконец, о постоянных ссылках или увольнениях нескольких моих людей, и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время вследствие всего происшедшего, положении, заставившем меня написать императрице письмо с просьбою отослать меня. Я его просила доставить мне скорей ответ на мою просьбу.

Я нашла его исполненным доброжелательства по отношению ко мне и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтоб меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту ссылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня. Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, и что она гораздо лучше сделала бы, если бы прогнала моих соперниц, а особенно Елисавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при

помощи всех монополий, которые гг. Шуваловы изобретают каждый день и которые, кроме того, заставляют всех громко роптать на несправедливость; доказательство тому – дело графа Бестужева, в невинности которого все общество убеждено. Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с нею поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение, и что я хорошо сделаю, если останусь в постели; он обещал сказать [императрице], что горе и страдание могут меня убить, если не прибегнуть к немедленным средствам помощи и не вывести меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь. Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что Ее Императорское Величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Граф Шувалов пришел мне это передать; я сказала ему, что ввиду этого соберу весь остаток моих сил.

Когда я к вечеру вставала с постели, Александр Шувалов пришел мне сказать, что после полуночи он придет за мною, чтобы сопровождать меня в покои императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мною в тот же вечер. Итак, я оделась к десяти часам вечера, легла совсем одетая на канапе и заснула. Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним: мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к Ее Императорскому Величеству.

«Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Художник Владимир Боровиковский. 1794 г.

«Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора; отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света: по

большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе».

(Екатерина II)

Со дня комедии я его не видела; даже когда я сказалась больной с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. Я после того узнала, что в этот самый день он обещал Елисавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию.

Наконец, дойдя до покоев Ее Императорского Величества, где застала великого князя, как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах: «Как, вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети». Я ей ответила: «Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете». Тогда она мне возразила: «Но как объяснить обществу причину этой отсылки?» Я ответила: «Ваше Императорское Величество скажете, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя».

Императрица мне сказала: «Чем же вы будете жить у ваших родных?» Я ответила: «Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня». Она мне на это возразила: «Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж». На это я сказала: «Я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России, и король прусский стал ее преследовать».

Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы; в комнате были только она, великий князь, Александр Шувалов и я; против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат; я узнала впоследствии, что я отчасти отгадала верно и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на

туалете лежали сложенные письма.

Императрица снова подошла ко мне и сказала: «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны, и, если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь». Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала, что подверглась ее немилости. Я на это ответила, благодаря Ее Императорское Величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда, и теперь, говоря, что воспоминание о них никогда не изгладится из моей памяти и что я всегда буду смотреть, как на величайшее несчастье, на то, что подверглась ее немилости.

Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала мне: «Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы». Я ей сказала: «Боже мой, Ваше Императорское Величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами четыре года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному». На это она сказала: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Я ей ответила: «Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад».

Великий князь, между тем как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним; они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними; они не очень громко говорили, а комната была большая; под конец я услышала, как великий князь сказал, повышая голос: «Она ужасно злая и очень упрямая».

Тогда я увидала, что дело шло обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: «Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии Ее Императорского Величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти». Он стал говорить императрице: «Ваше Императорское Величество видите сами, какая она злая, по тому, что она говорит». Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление.

Я ясно видела, что, по мере того как разговор подвигается,

хотя ей и присоветовали или она сама приняла решение выказывать мне строгость, ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее решений. Она обратилась, однако, к нему и сказала: «О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа по поводу человека, которого вы велели арестовать». Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны; он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною; это значило больше, чем когда-либо, нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это в смертоносное оружие против меня.

Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: «А, вот так анекдот, которого я не знал; он хорош и доказывает ее злость». Я думала про себя: «Бог знает, чью злость он доказывает». От Брокдорфа императрица неожиданно перескочила к сношениям между Штамбке и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: «Сами посудите, как можно его извинить за то, что он имеет сношения с государственным узником». Так как в этом деле мое имя не появлялось и о нем не упоминалось, я промолчала, принимая это за слова, ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: «Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются; я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?» Я ей ответила: «Я! Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказания». – «Как, – сказала она, – вы можете отрицать, что ему писали? Ваши письма тут, в этом тазу». Она показала мне на них пальцем: «Вам запрещено писать». Тогда я ей сказала: «Правда, что я нарушила запрет, и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать Вашему Императорскому Величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из них я писала, что говорят об его поведении». Здесь она меня прервала и спросила: «А почему вы это ему писали?»

Я ей ответила: «Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила; я просила его следовать вашим приказаниям; остальные два письма содержат только одно поздравление с рождением сына, а другое – пожелания на Новый год». На это она мне сказала: «Бестужев говорит, что было много

других».

Я ответила: «Если Бестужев это говорит, то он лжет». «Ну так, – сказала она, – если он лжет на вас, я велю его пытать». Она думала этим напугать меня; я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Я привожу самые резкие черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался.

Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще – к графу Александру Шувалову, с которым великий князь большею частью говорил, между тем как императрица говорила со мною. Я уже сказала, что заметила в Ее Императорском Величестве меньше гнева, чем озабоченности.

Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону.

Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и уверенные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было ясно, как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрице и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых, но это соображение превышало мыслительные способности Его Императорского Высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: «Мне надо будет многое вам еще сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше», – а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей так же очень тихо: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу». Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление.

У нее показались на глазах слезы, и, чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и действительно, было около трех часов утра. Великий князь вышел первым, я последовала за ним; в ту минуту граф Александр Шувалов хотел пройти в дверь за мною, императрица позвала его, и он остался у нее. Великий князь ходил всегда очень большими шагами, я не спешила на этот раз идти за ним; он вернулся в свои покои, я – в свои. Я начала раздеваться, чтобы ложиться, когда услышала стук в дверь, через которую я вернулась. Я спросила, кто там. Граф Александр Шувалов сказал мне, что это он и просит ему открыть, что я сделала. Он сказал, чтобы я удалила моих женщин; они вышли, тогда он мне сообщил, что императрица позвала его и, поговорив с ним некоторое время, поручила ему передать мне свой поклон и просить меня не огорчаться, и что у нее будет второй разговор со мною одной. Я низко поклонилась графу Шувалову и сказала, чтобы он передал Ее Императорскому Величеству мое глубочайшее почтение и поблагодарил ее за ее доброту ко мне, которая возвращает меня к жизни, что я буду ждать этого второго разговора с живейшим нетерпением и что я прошу его ускорить эту минуту. Он мне сказал, чтобы я не говорила об этом ни единой душе, и именно великому князю, и что императрица с сожалением видит, что он так раздражен против меня. Я обещала. Я думала: если недовольны тем, что он раздражен против меня, то к чему сердить его еще больше, рассказывая ему разговор в Летнем дворце по поводу людей, которые его развращали. Однако этот неожиданный возврат задушевности и доверия императрицы доставил мне большое удовольствие.

На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна. Эти слова дошли до меня с нескольких сторон, и говорили, что Ее Императорское Величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: «Она любит правду и справедливость; это очень умная женщина, но мой племянник – дурак».

Я заперлась в моих покоях, как и прежде, под предлогом нездоровья. Я помню, что тогда читала пять первых томов «Истории путешествий» с картой на столе, что меня развлекало и обогащало знаниями. Когда я уставала от этого чтения, перелистывала первые тома Энциклопедии; и я ждала дня, когда Ее Императорскому Величеству угодно будет допустить меня до

вторичного разговора. Время от времени я возобновляла просьбу об этом графу Шувалову, говоря ему, что мне очень бы хотелось, чтобы судьба моя была наконец решена.

Что касается великого князя, то я не слышала больше о нем никакого разговора; я знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он, наверное, рассчитывает жениться вторым браком на Елисавете Воронцовой: она приходила уже в его покои и разыгрывала хозяйку. По-видимому, ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов, который был лицемером, каких свет не производил, узнал планы своего брата, может быть, вернее – своих племянников, которые были тогда еще детьми, так как самому старшему было всего двадцать лет или около того, и боялся, чтобы его только что усилившееся влияние не пострадало у императрицы, а потому добился поручения отговорить меня от моей просьбы об отсылке, ибо вот что случилось.

В одно прекрасное утро пришли мне доложить, что вице-канцлер граф Михаил Воронцов просит разрешения поговорить со мною от имени императрицы. Очень удивленная этим необычайным посольством и хотя еще не одетая, я приняла господина вице-канцлера. Он начал с того, что поцеловал мне руку и пожал ее с большим чувством, затем вытер себе глаза, с которых скатилось несколько слез.

Так как я тогда была немного предубеждена против него, то я без большого доверия отнеслась к этому предисловию, которое должно было выказать его усердие, но не мешала ему делать то, на что смотрела как на кривлянье. Я просила его сесть; он был немного запыхавшись, что происходило оттого, что у него было нечто вроде зоба, которым он страдал. Он сел со мною и сказал мне, что императрица поручила ему поговорить со мною и убедить меня не настаивать на моей отсылке, что Ее Императорское Величество приказала ему даже просить меня со своей стороны отказаться от этой мысли, на которую она никогда не согласится, и что он лично просит меня и заклинает дать ему слово больше никогда об этом не говорить; что этот план поистине огорчает императрицу и всех порядочных людей, к числу которых, как он заверял меня, он принадлежит. Я ему ответила, что нет ничего, чего бы я охотно не сделала, чтобы угодить Ее Императорскому Величеству и порядочным людям, но что я думаю, что моя жизнь и здоровье в опасности от того образа жизни, которому я подвергаюсь; что я делаю только несчастных, что постоянно ссылают и отсылают всех, кто ко мне приближается; что великого князя ожесточают против меня до ненависти; что он, впрочем, никогда меня не любил; что Ее Императорское Величество тоже оказывает почти постоянно

знаки своей немилости, и что, видя, что я в тягость всем, и умирая сама со скуки и горя, я просила отослать меня, для того чтобы освободить всех от особы, которая всем в тягость и сама погибает от горя и скуки.

Он стал говорить мне о моих детях; я ему сказала, что их не вижу и что с тех пор, как брала молитву, я еще не видела моей младшей [т. е. дочери] и не могла их видеть без особого разрешения императрицы, в двух комнатах от которой они были помещены, так как их комнаты составляют часть ее покоев; что я отнюдь не сомневаюсь, что она очень о них заботится, но что, будучи лишенной удовольствия их видеть, мне безразлично: быть в ста шагах или в ста верстах от них. Он мне сказал, что у императрицы будет второй разговор со мною, и прибавил, что было бы очень желательно, чтобы императрица сблизилась со мной. Я ему ответила, прося ускорить этот второй разговор, а что я, со своей стороны, не упущу ничего, что могло бы облегчить исполнение ее желания. Он оставался у меня больше часу и говорил долго и о множестве вещей. Я заметила, что повышение его влияния придало его разговору и манере держаться какую-то заносчивость, которой не было у него прежде, когда я его видела наряду со множеством других людей и, когда он, недовольный императрицей, делами и теми, которые пользуются милостью и доверием Ее Императорского Величества, он мне сказал однажды при дворе, видя, что императрица очень долго разговаривает с послом императрицы-королевы Венгрии и Богемии, между тем как он и я и все до смерти устали стоять: «Хотите побиться об заклад, что она только мелет вздор». Я ответила ему, смеясь: «Боже мой, что вы такое говорите!» Он мне возразил по-русски следующими очень характерными словами: «Она от природы фадайзница».

Наконец, он ушел, уверяя меня в своем усердии, и простился со мною, поцеловав мне снова руку. На этот раз я должна была быть уверенной, что меня не отошлют, так как меня просили даже не говорить об этом. Но я находила нужным не выходить и продолжать оставаться у себя в комнате, как будто я ждала решения моей судьбы только от второго разговора, который я должна была иметь с императрицей.

Этого разговора я ждала долго. Помню, что 21 апреля, в день моего рождения, я не вышла. Императрица велела мне сказать в час своего обеда через Александра Шувалова, что она пьет за мое здоровье; я велела ее благодарить за то, что ей угодно было вспомнить обо мне в этот день, как я говорила, моего несчастного рождения, который я проклинала бы, если бы не получила в тот же день святого крещения.

Князь Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) – русский государственный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал (1856), генерал-адъютант (1815), герой войны 1812 года. В 1815–1818 годах – командир русского оккупационного корпуса во Франции. В 1823–1854 годах – новороссийский и бессарабский генерал-губернатор; в этой должности много способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы и других городов. Заказчик и первый хозяин Алупкинского дворца. В 1844–1854 годах – наместник на Кавказе

Когда великий князь узнал, что императрица посылала ко мне в этот день с таким поручением, он вздумал прислать сказать мне то же самое; когда пришли передать мне его приветствие, я

встала и с очень глубоким реверансом выговорила мою благодарность. После праздников по случаю дня моего рождения и коронования императрицы, между которыми был промежуток в четыре дня, я все еще не выходила из своей комнаты, пока граф Понятовский не довел до моего сведения, что французский посол маркиз де Лопиталь очень хвалит меня за мое твердое поведение и говорит, что это решение не выходить из моих покоев может обратиться только в мою пользу. Тогда, принимая эти слова за коварную похвалу врага, я решила делать обратное тому, что он хвалит, и в одно воскресенье, когда этого менее всего ожидали, я оделась и вышла из моих внутренних покоев. В ту минуту, когда я выходила в комнату, где находились дамы и кавалеры, я заметила их удивление и изумление при виде меня; через несколько минут после моего появления пришёл великий князь; я видела и его удивление, написанное на его лице, и так как я разговаривала со всей компанией, то он вмешался в разговор и обратился ко мне с несколькими словами, на которые я вежливо ответила.

В это время (17 апреля) принц Карл Саксонский вторично приехал в Петербург. Великий князь довольно пренебрежительно принял его, когда он был впервые в России; но на этот раз великий князь считал себя вправе не соблюдать с ним никаких границ, и вот почему. В русской армии не было секретом, что при Цорндорфском сражении принц Карл Саксонский бежал одним из первых. Говорили даже, что он продолжал это бегство безостановочно до Ландсберга; а Его Императорское Высочество, услышав это, решил, что так как принц Саксонский – отъявленный трус, то он не будет с ним говорить, и не хотел иметь с ним дела.

Этому, по-видимому, немало содействовала принцесса Курляндская, дочь Бирона, о которой я часто имела случай говорить; тогда начинали потихоньку говорить, что был план сделать герцогом Курляндии принца Карла Саксонского, и это очень раздражало принцессу Курляндскую, отца которой все еще держали в Ярославле. Она сообщила свою злобу великому князю, на которого она сохранила некоторого рода влияние. Эта принцесса была тогда в третий раз невестой барона Александра Черкасова, за которого действительно вышла замуж в следующую зиму.

Наконец, за несколько дней перед тем, как ехать в деревню, граф Александр Шувалов пришел мне сказать от имени императрицы, что я должна просить через него императрицу [о разрешении] навестить сегодня днем моих детей и что тогда, по выходе от них, у меня будет второе свидание с императрицей, столь давно обещанное. Я сделала, что мне велели, и в

присутствии многих лиц я сказала графу Шувалову, чтоб он испросил мне у Ее Императорского Величества разрешения видеть моих детей.

Он ушел и когда вернулся, то сказал мне, что я могу пойти к детям в три часа. Я очень аккуратно туда отправилась; я оставалась у своих детей до тех пор, пока граф Александр Шувалов не пришел сказать мне, что императрицу можно видеть. Я пошла к ней; я застала ее совсем одну, и на этот раз в комнате не было ширм; следовательно, и она, и я, мы могли говорить на свободе. Я начала с того, что поблагодарила ее за это свидание, на которое она соизволила, сказав, что уже одно очень милостивое обещание, которое ей было угодно сделать, возвратило меня к жизни. На это она мне сказала: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду на все, что я у вас спрошу». Я ответила ей, чтобы ее уверить, что она услышит из моих уст только сущую правду и что я ничего не желаю лучшего, как открыть ей свое сердце безо всякой утайки. Тогда она меня снова спросила, действительно ли было только три письма, написанных Апраксину; я ей поклялась в этом с величайшей искренностью, как это и было на самом деле. Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя…

[Декабрь 1761 – январь 1762 гг.]

Граф Александр Андреевич Безбородко написал Краткое начертание дел политических, военных и внутренних Государыни Императрицы Екатерины II, Самодержицы Всероссийской, так, как и знаменитейших событий во дни Ее царствования. Он починает так. В 1762 году: Вступление Ее Императорского Величества на всероссийский престол.

Объяснение.

Во время болезни блаж[енной] пам[яти] Госуд[арыни] Императ[рицы] Елисаветы Петровны, в декабре-месяце 1761 года, слышала я из уст Никиты Ивановича Панина, что трое Шуваловы – Петр Иванович, Александр Иванович и Иван Иванович – чрезвычайно робеют о приближающей[ся] кончине Государыни Императрицы, о будущем жребии их; что от сей робости их родятся у многих окружающих их разнообразные проекты; что наследника ее все боятся; что он не любим и не почитаем никем; что сама Государыня сетует, кому поручить престол; что склонность в ней находят отрешить наследника неспособного, от которого много имела сама досады, и взять сына его семилетнего и мне поручить управление, но что сие последнее, касательно моего управления, не по вкусу Шуваловым. Из сих проектов родилось, что посредством Мельгунова Шуваловы помирились с Петром III, и Государыня скончалась без иных распоряжений. Но тем не кончилась ферментация публики, а начало ее приписать можно дурному Шуваловскому управлению и беззаконному Бестужевскому делу, то есть с 1759 года.

При самой кончине Госуд[арыни] Имп[ератрицы] Елисаветы Петровны прислал ко мне князь Михаила Иван[ович] Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать:

«Повели, мы тебя взведем на престол». Я приказала ему сказать: «Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и несозрелая вещь». К князю Дашкову же езжали и в дружбе, и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии, яко-то: трое Орловы, пятеро капитаны полку Измайловского и прочие; женат же он был на родной сестре Елисав[еты] Воронцовой, любимицы Петра III. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность, но тут находилась еще персона опасная, брат княгинин, Семен

Романович Воронцов, которого Елисавета Романовна, да по ней и Петр III, чрезвычайно любили. Отец же Воронцовых, Роман Ларионович, опаснее всех был по своему сварливому и переменчивому нраву; он же не любил княгиню Дашкову.

Императрица Елисавета Петровна скончалась в самое Рождество 25 декабря 1761 года, в три часа за полудни; я осталась при теле ее. Петр III, вышед из покоя, пошел в Конференцию и прислал мне сказать чрез Мельгунова, чтоб я осталась при теле, дондеже пришлет мне сказать. Я Мельгунову сказала: «Вы видите, что я здесь, и приказание исполню». Я из сего приказания заключила, что владычествующая фракция опасается моей инфлу[е]нции. Тело Императрицы еще обмывали, когда мне пришли сказать, что генерал-прокурор князь Шаховской отставлен по его прошению, а обер-прокурор сенатский Александр Иван[ович] Глебов пожалован генерал-прокурором. То есть слывущий честнейшим тогда человеком – отставлен, а бездельником слывущий и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым – сделан на его место генерал-прокурором.

Тело Императрицы Елисаветы Петровны едва успели убрать и положить на кровать с балдахином, как гофмаршал ко мне пришел с повесткою, что будет в галерее (то есть комнаты чрез три от усопшего тела) ужин, для которого повещено быть в светлом богатом платье. Я послала по богатое платье в комнаты сына моего, живущего возле покойной Государыни. Я оделась и паки в таком наряде пришла к усопшему телу, где мне велено было оставаться и ждать приказаний. Тут уже окошки были открыты и Евангелие читали.

Погодя несколько, пришли от Государя мне сказать, чтоб я шла в церковь. Прийдя туда, я нашла, что тут все собраны для присяги, после которой отпели вместо панихиды благодарственный молебен; потом митрополит Новгородский [Димитрий] Сеченов говорил речь Государю. Сей был вне себя от радости и оной нимало не скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося, кроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более смешного Арлекина, нежели иного чего, требуя, однако, всякого почтения. Из церкви вышедши, я пошла в свой покой, где до самого ужина я горько плакала только о покойной Государыне, которая всякие милости ко мне оказывала и последние два года меня полюбила отменно, как и о настоящем положении вещей. Когда кушанье поставлено было, мне пришли сказать, и я пошла к ужину; стол поставлен был в куртажной галерее – персон на полтораста и более, и галерея набита была

зрителями. Многие, не нашед места за ужином, ходили так же около стола, в том числе Иван Иванович Шувалов и Мельгунов. Сей из прислужников Шуваловых сделался их протектором. У Ивана же Ивановича Шувалова хотя знаки отчаянности были на щеке, ибо видно было, как пяти пальцами кожа содрана была, но тут, за стулом Петра III стоя, шутил и смеялся с ним. Я сидела возле нового Императора, а возле меня – князь Никита Юрьевич Трубецкой, которой во весь стол ни о чем не говорил, как о великой своей радости, что государь царствует. Множество дам также ужинали: многие из них как и я, были с заплаканными глазами, а многие из них в тот же день, не быв в дружбе, между собою помирились. Ужин сей продолжался часа с полтора. Пришед в свои комнаты, я начала раздеваться, чтоб лечь в постель, когда принесли повестку, чтоб дамам назавтра быть в робах богатых, и будет большой обеденный стол в той же галерее; сидеть же по билетам. Потом я легла в постель; но я, хотя пред тем две ночи не спала, проводя оных в покое покойной Императрицы, но сон далеко от меня был и никак заснуть не могла, и начала размышлять о прошедшем, настоящем и будущем. И сделала я следующее заключение: ежели в первом часу царствования отставили честного человека, а не постыдились на его место возвести бездельника – чего ждать? Говорила я себе: твою инфлуенцию опасаются; удались от всего; ты знаешь, с кем дело имеешь, по твоим мыслям и правилам дела не поведут, следовательно, ни чести, ни славы – тут не будет; пусть их делают что хотят. Взяв сие за правило своего поведения, во все шесть месяцев царствования Петра III я ни во что не вступалась, кроме похорон покойной Государыни, по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким радением, в чем я и заслужила похвалу от всех. Я же тут брала советы от старых дам, графини Марьи Андр[еевны] Румянцевой, графини Анны Карловны Воронцовой[clxxxix], от фельдмаршалши Аграфены Леонтьевны Апраксиной[cxc] и иных, подручно случающихся, в чем и на них угодила чрезвычайно.

На другой день поутру нарядилась в богатой робе и пошла к обедне, потом на поклон к телу, а оттудова – к столу по билетам. Сей стол был с заплаканными глазами почти у всех, и мало было лиц равнодушных, и усталь на всех видно было. После обеда я пошла к себе. Во время сего стола тело покойной Государыни анатомили. К вечеру пришли мне сказать, что посланы курьеры для освобождения и возвращения в Петербург Бирона, Миниха, Лестока и Лопухиных, и что Гудович едет в Берлин с объявлением о вступлении на престол Императора. Я на сие сказала: «Дела

поспешно идут».

На третий день я, надев черное платье, пошла к телу, где отправлялась панихида; тут ни Императора и никого не было, кроме у тела дневальных, да тех, кои со мною пришли. Оттуда я пошла к сыну моему, а потом посетила я графа Алексея Григорьевича Разумовского в его покое во дворце, где он от чистосердечной горести по покойной Государыне находился болен. Он хотел пасть к ногам моим, но я, не допустя его до того, обняла его, и, обнявшись, оба мы завыли голосом и не могши почти говорить слова оба; я, вышед от него, пошла к себе.

Пришед в свой покой, услышала, что Император приказал приготовить для себя покой от меня чрез сени, где жил Александр Иванович Шувалов, и что в его покое, возле моих, будет жить Елисавета Романовна Воронцова.

В сей день ввечеру Император поехал куда-то на вечеринку править Святки.

Как покои Александра Ивановича Шувалова убраны были дни чрез два, Император перешел в них, а Елисавета Воронцова в его покои переехала; мои же покои парадные обили черным сукном, и людей Император принимал в оных, по утрам и по вечерам езжал в гости ко всем знатным особам, кои устроили для него великие пиры; от сих пиров я уклонилась по причине великого кашля.

Накануне того дня, как переносить положено было тело покойной Государыни из той комнаты, где скончалася, на парадную постель, Император ужинал у графа Шереметева[cxci]; тут Елисавета Воронцова приревновала, не знаю к кому, и приехали домой в великой ссоре. На другой день, после обеда, часу в пятом, она прислала ко мне письмо, прося меня, дабы я для Бога самого пришла к ней, что она имеет величайшую нужду говорить со мною, сама же не может прийти ко мне, понеже лежит больна в постели. Я пошла к ней и нашла ее в великих слезах; увидя меня, долго говорить не могла; я села возле ее постели, стала спрашивать, чем больна; она, взяв руки мои, целовала, жала и обмывала слезами. Я спрашивала, об чем она столь горюет? Она мне на то сказала: «Пожалуй, потише говорите». Я спросила: «Какой причины ради?» Она мне сказала: «В другой комнате сестра моя, Анна Михайловна Строганова, сидит с Иваном Ивановичем Шуваловым» («C'est a dire, qu'elle leurs avoit menage un randez vous, tandis qu'elle s'entretenoit avec moi»). Я рассмеялась, и она посвободнее стала от слез и начала меня просить, чтоб я пошла бы к Императору и просила бы его именем ее, чтоб он бы ее отпустил к отцу жить, что она более не хочет во дворце остаться. При сем она бранила его окружающих всячески и его самого. Чего она уже и накануне у Шереметева

делала, к удивлению всех слышателей, и за что Император приказывал отца ее арестовать, но, однако, упросили его. Я сказала, чтоб она кого иного выбрала для сей комиссии, которая ему будет, можно быть, досадительна; но она уверяла меня, что ему то и надобно и не чрез кого, кроме меня, ей о том просить, понеже все бездушные бездельники, а одна я, на ком она полагает свое упование. Дабы укоротить мое у нее пребывание, я обещала ей пойти к нему и донести ему о ее просьбе, и, пришед к себе, я послала наведываться, дома ли он и можно ли к нему придти. Сказали, что опочивает, а как проснулся часу в седьмом, пришли мне сказать, и я пошла к Императору. Я нашла его в шлафроку; ходил взад и вперед по комнате и был еще весьма сонен. Я начала говорить ему: «Ежели вы дивитеся моему приходу, то еще более удивитеся, когда сведаете, с чем я пришла», – и рассказала ему все от слова до слова, как Елис[авета] Романовна] Воронцова ко мне писала, и что говорила со мною, и как я отклоняла сию комиссию и причины, кои она имеет не вверять, кроме меня, оной. Он, услыша сие с удивлением и задумчивостию, заставил меня повторить сказанное. В сие время вошли в комнату Мельгунов и Лев Александрович Нарышкин. Он им рассказывал, с чем я пришла, с досадою на Елисав[ету] Воронцову. Сие продолжилось с час; наконец, я сказала: «Какой ответ прикажете ей сказать или кого иного пошлете?» На сие Мельгунов и Нарышкин ему советовали сказать, что он к ней пришлет ответ. Я пошла к себе и велела Елисавете Воронцовой сказать, что к ней ответ прислан будет. Погодя, она паки прислала ко мне сказать, что она отпущена, одевается и ждет карету, дабы ехать изо дворца к отцу, и просит дозволения прийти ко мне прощаться. Я сказала: «Пусть прийдет». Между тем чрез мою переднюю, пред уборной, сделалось великое бегание; то Мельгунов, то Нарышкин к ней и от нее взад-вперед ходили, что продолжалось часу до одиннадцатого; тогда сам Император к ней пошел и, побыв у нее, возвратился в свои покои; а она ко мне написала цидулку, что она ко мне не будет, понеже ей приказано остаться во дворце. Я легла спать, а на другой день ввечеру Петр III с Мельгуновым и Львом Нарышкиным, пришед ко мне, бранили и ругали всячески Елисавету Воронцову, и видно было, что им хотелось, дабы я пристала к их речам; но я молча слушала; Император же тут рассказывал, как она не хотела надеть мой портрет, когда он ее пожаловал камер-фрейлиною, и хотела иметь его портрет. Он думал, что за то осержусь, но, когда он увидел, что я тому смеюсь и нимало не сержусь, тогда вышел вон из комнаты. Тогда Мельгунов и Лев Нарышкин мне пеняли, что, имев такую хорошую оказию выгнать ее из дома, не воспользовалась тем. Я

им отвечала: «А я вам дивлюсь, что вы сами не успели в своем желании вчерась».

«Апофеоз царствования Екатерины II». Художник Григорио Гульельми. 1767 г.

От дня кончины покойной Государыни был во дворце двойной караул, то есть один – полный караул у тела, а другой, таковой же, – у Императора. В сие же время случились великие морозы; караульня же была мала и тесна, так что не помещались люди, и многие из солдат оставались на дворе. Сие обстоятельство в них произвело, да и в публике, или прибавило, роптание. Всякий день же из дворца выходили новые истории: то того арестуют, то другого; с женщинами, коих ежедневно множество звал ужинать, у себя либо где в гостях, поссорится и мужа велит посадить без шпаги, либо к кому по службе за безделицу придерется и велит посадить на гауптвахту. Изо стола же почти никогда не вставал, не быв без языка почти пьян, и проявилось у него множество новых фаворитов, между прочими капитан-поручик полку Преображенского, князь Иван Федор[ович] Голицын, на которого вдруг налепил орден святой Анны, а до того дня мало кто его и знал. В сие время Император взял в кабинет секретаря, бывшего конференц-секретаря Дмитрия Васильевича] Волкова. Про сего Ник[ита] Иван[ович] Панин думал и мне говорил, что сей Мельгунову и Шуваловым голову сломит; про него тогда думали, что главу имеет необыкновенную, но оказалось после, что хотя был быстр и красноречив, но ветрен

до крайности, и понеже писал хорошо, то более писывал, а мало действовал, а любил пить и веселиться.

Две недели по кончине покойной Государыни умер граф Петр Иван[ович] Шувалов. За несколько дней до кончины его он и брат его большой, Александр Иван[ович] Шувалов, были от Императора пожалованы в фельдмаршалы. И проявилось новое определение. Вдруг Император пожаловал в четырех полков гвардии четыре полковники, а именно: в Преображенский – фельдмаршала князя Никиту Юрьевича Трубецкого; в Семеновский – фельдмаршала графа Александра Ивановича Шувалова; в Измайловский – фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского; в конной гвардии хотел пожаловать графа Алексея Григорьевича Разумовского, но сей оттого пошел в отставку, и на его место сделан полковником принц Жорж Голштинский. Сии новые полковники сами всячески спорили и старались отвратить сие пожалование, но не предуспели. Полкам же гвардии сие было громовой несносной удар.

Хотя огромные похороны и при оных великолепные выносы указом покойной Государыни запрещены были, но, однако, господа Шуваловы выпросили у бывшего Императора, дабы граф Петр Иван[ович] со великолепной церемонией погребен был: сам Император обещался быть на выносе. В назначенный день ждали очень долго Императора, и он, не прежде как к полудню, в печальной день приехал; народ же ждал для смотрения церемонии с самого утра, день же был весьма холодной. От той нетерпеливости произошли разные в народе рассуждения: иные, вспомня табачный того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что ту зиму треску ни за какие деньги получить нельзя, и начали Шувалова бранить и ругать всячески. Наконец, тело его повезли из его дома на Мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицеймейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией, и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, коих бы он сам не слышал против покойника, так что он, вышед из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полиции, но народ, вступясь за них, отбил было, что, видя, он оных отпустить велел, чем предупредил драку и удержал, по его словам, тишину.

По прошествии трех недель по кончине Государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез переднюю, нашла тут князя Михаила Ивановича Дашкова плачущего и вне себя от радости, и,

прибежав ко мне, говорил: «Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «Разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в службе Империи записаны были; вместо людей дворянских Петр I начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. Отчего вздумали, что в неволе. Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа Государю, дабы дать волю дворянству, а в самом деле выпросили не что иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить. Пришед с панихиды к себе, я увидела, [что] у заднего крыльца стоит карета парадная с короною, и Император в ней поехал в Сенат. Но сей кортеж в народе произвел негодование, говорили: как ему ехать под короною? он не коронован и не помазан. Рановременно вздумал употребить корону. У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым пользуются.

За десять дней до погребения Государыни положили тело ее во гроб и понесли оной в траурной зал посреди всех регалий, и народ дважды на день допущен был, как и прежде, от дня кончины ее. В гробу Государыня лежала одета в серебреной глазетовой робе, с кружевными рукавами, имея на голове Императорскую золотую большую корону, на нижнем обруче с надписью: «Благочестивейшая Самодержавнейшая Великая Государыня Императрица Елисавета Петровна, родилась 18 декабря 1709, воцарилась 25 ноября 1741, скончалась 25 декабря 1761 года». Гроб поставлен на возвышении под балдахином, глазета золотого с горностаевым спуском от балдахина до земли; позади гроба посреди спуска – герб золотой Государственной.

В 25 день января 1762 года повезли тело Государыни, во гробе лежащей, со всевозможным великолепием и подобающими почестями изо дворца чрез реку в Петропавловский собор в крепость. Сам Император, за ним – я, за мною – Скавронские, за ними – Нарышкины, потом все по рангам шли пеши за гробом от самого дворца до церкви.

Император в сей день был чрезмерно весел и посреди церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тела одра, пустив оного вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлейф

епанчи его черной, паче же обер-камергер, граф Шереметев, носящий конец епанчи, не могши бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало, и он повторял несколько раз сию штуку, отчего сделалось, что я и все, за мною идущие, отстали от гроба и, наконец, принуждены были послать остановить всю церемонию, дондеже отставшие дошли. О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе Императора, и толки пошли о безрассудных его во многих случаях поступках.

По погребении тела покойной Государыни начали во дворце убирать ее покой для Императора.

Императрица Александра Федоровна
Воспоминания 1817–1820

1817 год

По приезде моем в Россию я была встречена на границе свитою, состоявшею из престарелой княгини Волконской и двух фрейлин – графини Екатерины Шуваловой и Варвары Ушаковой, обер-мундшенка графа Захара Чернышева, гофмейстера графа Альбедиля, камергера князя Василия Долгорукова и камер-юнкера графа Соллогуба. Я не говорю о моих впечатлениях, о грусти, испытанной мною, когда я покинула пределы моего первого отечества, это входит в область моего частного дневника, а настоящее должно представить собою нечто вроде мемуаров. (Заметка: я выехала из Берлина 1 (13) июня, а прибыла в Павловск 19 июня.)

Мой жених, великий князь Николай Павлович, встретил меня у пограничного шлагбаума с обнаженной шпагой, во главе отряда солдат почетного эскорта. Мое путешествие совершалось медленно по невозможным дорогам и при невыносимой жаре. В Чудлейге (на Чудовской станции) 17 июня я много плакала при мысли, что мне придется встретиться с вдовствующей Государыней, рассказы о которой меня напугали. 18 июня вечером в Каскове я очутилась в объятиях моей будущей свекрови, которая отнеслась ко мне так нежно и ласково, что сразу завоевала мое сердце. Император Александр и Михаил [Павлович] также выехали мне навстречу. Император приветствовал меня с тем изяществом и в тех сердечных и изысканных выражениях, которые ему одному были свойственны. Я нашла вдовствующую Государыню гораздо моложе, стройнее и лучше сохранившеюся, нежели привыкла видеть женщин лет под 60. (Ей было в то время 58 лет.) На следующий день я продолжала, с невыразимым чувством, путешествие и проехала через Гатчину и вдоль ограды Царскосельского парка; меня сопровождал отряд лейб-казаков, что, прибавляю в скобках, доставляло мне истинно детское удовольствие. Мы подъехали к Павловску, который на первых же порах произвел на меня самое благоприятное впечатление благодаря прекраснейшей погоде. Мой экипаж остановился у собственного садика Ее Величества вдовствующей Государыни, которая прижала меня к своему сердцу. Император Александр поцеловал меня; я узнала тетушку Антуанетту Вюртембергскую и ее дочь Марию; тут вдруг ласковый голос произнес, обращаясь ко мне: «А для меня вы не имеете и взгляда!» – и вот я бросилась в объятия к Императрице Елизавете, которая тронула меня своим радушным приветствием, без всяких преувеличений, без всяких показных излишних чувств.

Весь Двор был, кажется, собран в садике, но я ничего не различала; помню только прекрасные розаны в полном цвету, особенно белые, которые тешили мой взор и как бы приветствовали меня. Мне представили некоторых, но я оказалась в состоянии обдумывать и отдать себе отчет в своих чувствах, только когда наконец очутилась одна в прелестном помещении, мне отведенном. Только что я уселась пред зеркалом, чтобы заняться туалетом, как вошла ко мне без церемоний какая-то пожилая женщина и промолвила по-немецки:

«Вы очень загорели, я пришлю вам огуречной воды умыться вечером».

Эта дама была пожилая, почтенная княгиня Ливен, которую я впоследствии искренно полюбила, но признаюсь, эта первая фамильярная сцена показалась мне весьма странной. Так как фургоны с моей кладью еще не прибыли, то мне пришлось явиться на большой обед в закрытом платье, весьма, впрочем, изящном, из белого гроденапля, отделанном блондами, и в хорошенькой маленькой шляпке из белого крепа с султаном из перьев марабу. То была самая новейшая парижская мода. В длинной галерее, ведущей в церковь и наполненной нарядною публикою, я увидела в амбразуре окна Цецилию и, ни у кого не спрашиваясь, бросилась к ней; мы обе расплакались, не видавшись целых три года! Говорят, что это проявление нежности не только не возбудило неудовольствия, но даже тронуло большинство присутствовавших. Сколько раз впоследствии мне говорили о моем первом появлении в этой галерее; юную принцессу осматривали с головы до ног и нашли, по-видимому, не столь красивой, как предполагали; но все любовались моей ножкой, моей легкостью походки, благодаря чему меня даже прозвали «птичкой».

Император Александр представил мне кавалеров, в числе которых я нашла немало знакомых мне еще со времени войны 1813 и 1814 годов. Дамы, представленные мне вслед за тем вдовствующею Государынею, были для меня все новые лица: m-lle Нелидова Екатерина Ивановна, как образец воспитанниц Смольного, поразила меня своею некрасивою наружностью, отсутствием изящества. Графиня Орлова Анна Алексеевна произвела на меня приятное впечатление предупредительностью своего обращения, и мне показалось, что ей было жаль меня – юной принцессы, бывшей здесь внове и столь чуждой этой величественной обстановке! Мы обедали в большой четырехугольной зале. Я помню, что Император указал мне на княгиню Варвару Долгорукую и на княгиню Софию Трубецкую как на двух молодых женщин, самых красивых при Дворе и

наиболее пользующихся успехом. Вечер проведен был в семейном кругу; моему брату Вильгельму, сопровождавшему меня на правах старшего брата, едва минуло 20 лет, и он только перестал расти. Меня сопровождали из Пруссии графиня Трухзес в качестве обер-гофмейстерины, графиня Гаак, рожденная Тауенцен, и моя добрая Вильдермет, бывшая моей гувернанткой с 1805 года.

19 июня 1817 года совершился мой торжественный въезд в Петербург. Мы позавтракали в деревне Татариновой, близ заставы, и там обе Императрицы сели вместе со мною и обеими принцессами Вюртембергскими в золоченое, но открытое ландо; меня посадили по ту сторону, на которой были расставлены войска, то есть по левую сторону от обеих Императриц. Я чрезвычайно обрадовалась, когда увидела опять полки Семеновский, Измайловский и Преображенский, знакомые мне еще по смотру, произведенному в Силезии, близ Петерсвальдена, во время перемирия в 1813 году.

Увидев кавалергардов, стоявших возле Адмиралтейства, я вскрикнула от радости, так они мне напомнили дорогих моих берлинских телохранителей. Я не думала тогда, что буду со временем шефом этого полка. Поднявшись по большой парадной лестнице Зимнего дворца, мы направились в церковь, где я впервые приложилась ко кресту. Затем с балкона мы смотрели на прохождение войск, что совершилось не особенно удачно, как я узнала впоследствии. С этого же балкона показывали меня народу; балкон этот более не существует – он был деревянный.

Я познакомилась с несколькими статс-дамами. Графиня Литта показалась мне еще красавицей, – она была белолицая, пухленькая, с детскою улыбкою. Престарелая графиня Пушкина была набелена и нарумянена, что делало ее старое лицо еще более некрасивым.

Я полюбовалась новым моим помещением, меблированным и драпированным совершенно заново великолепными тканями. С этого дня вплоть до 24 июня я, когда оставалась одна, не переставала плакать – уж очень для меня была тягостна перемена религии – она сжимала мое сердце! На следующий день был большой обед у вдовствующей Государыни, а затем мы заключились в уединение.

Священник Муссовский, знакомивший меня с догматами греческой церкви, должен был подготовить меня к принятию Святых Тайн; он был прекрасный человек, но далеко не красноречив на немецком языке. Не такой человек был нужен, чтобы пролить мир в мою душу и успокоить ее смятение в подобную минуту; в молитве, однако же, я нашла то, что одно может дать спокойствие, – читала прекрасные назидательные

книги, не думала о земном и была преисполнена счастьем приобщиться в первый раз Святых Тайн! 24 июня я отправилась в церковь; ввел меня туда Император. С грехом пополам прочла я Символ Веры по-русски; рядом со мною стояла игуменья в черном, тогда как я, одетая в белое, с маленьким крестом на шее, имела вид жертвы; такое впечатление произвела я на всю нашу прусскую свиту […]

С той минуты, как я приобщилась Святых Тайн, я почувствовала себя примиренною с самой собою и не проливала более слез. На следующий день, 25 июня, совершилось наше обручение. Я впервые надела розовый сарафан, брильянты и немного подрумянилась, что оказалось мне очень к лицу; горничная Императрицы-матери Яковлева одела меня, а ее парикмахер причесал меня; церемония обручения сопровождалась обедом и балом с полонезами. Меня возили по улицам Петербурга каждый вечер; светлые ночи показались мне необычайными, но приятными. Город не произвел на меня величественного впечатления, за исключением вида на Неву из комнат Императрицы Елизаветы. Мы обедали ежедневно в саду Эрмитажа или в прилегающих к ним галереях. Признаюсь, все было для меня ново, и я чувствовала себя настолько внове в этих новых местах, что мысль моя была этим более поглощена, нежели глаза: все было для меня смутно. Помнится мне, что, когда Великий князь Константин [Павлович] приехал из Варшавы, я нашла его весьма некрасивым, хотя я, будучи ребенком, видела его в Берлине в 1805 году.

Приближалось воскресенье 1 (13) июля – день нашей свадьбы. Мой жених становился все нежнее и с нетерпением ожидал дня, когда назовет меня своей женой и поселится в Аничковском дворце. Накануне 1 июля, который был в то же время и днем моего рождения, я получила прелестные подарки, жемчуг, брильянты; меня все это занимало, так как я не носила ни одного брильянта в Берлине, где отец воспитал нас с редкой простотой.

Александра Федоровна (1798–1860) – супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская

С каким чувством проснулась я поутру 1 июля! Мои

прислужницы-пруссачки убрали мою кровать цветами, а добрая Вильдермет поднесла мне букет из роскошнейших белых роз. Я не хочу здесь распространяться о своих личных впечатлениях, но в этот день невозможно обойти их молчанием. Меня одели наполовину в моей комнате, а остальная часть туалета совершилась в Брильянтовой зале, прилегавшей в то время к спальне вдовствующей Императрицы. Мне надели на голову корону и, кроме того, бесчисленное множество крупных коронных украшений, под тяжестью которых я была едва жива. Посреди всех этих уборов я приколола к поясу одну белую розу. Я почувствовала себя очень, очень счастливой, когда руки наши наконец соединились; с полным доверием отдавала я свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул этой надежды!

Остальную часть дня поглотил обычный церемониал, этикет и обед. Во время бала, происходившего в Георгиевском зале, я получила письма из Берлина, от отца и от родных.

Мы спустились по парадной лестнице, сели в золотую карету со вдовствующей Государыней; конвой кавалергардов сопровождал нас до Аничкового дворца. Я в первый раз увидела этот прекрасный дворец!

У лестницы Император Александр и Императрица Елизавета встретили нас с хлебом-солью. Статс-дамы присутствовали при моем раздевании; мне надели утреннее платье из брюссельских кружев на розовом чехле; ужинали мы в семейном кругу с некоторыми из старейших приближенных: графом Ламздорфом, княгиней Ливен и нашими прусскими дамами.

На следующий день вдовствующая Государыня приехала к нам первая, Император Александр привез великолепные подарки. Мы радовались, словно дети, удовольствию выехать впервые после свадьбы в коляске вместе и сделали визиты Императрицам, великому князю Константину [Павловичу] и тетушке принцессе Вюртембергской. Свадебные празднества, различные балы, baise mains (целование ручек (фр.)) – все это прошло для меня словно сон, от которого я пробудилась лишь в Павловске, бесконечно счастливая тем, что очутилась наконец в деревне!

Образ жизни в Павловске показался мне особенно приятным; так как я привыкла с детства сообразоваться с привычками других, то мне и в голову не приходило жаловаться на то, что я должна обедать, гулять и ужинать при Дворе, более или менее заботясь о своем туалете. Впоследствии я часто слышала, что другие жаловались по этому поводу, впрочем, иногда и мы сами чувствовали некоторое желание быть независимыми, то есть иметь свой собственный угол. Но в то время, как я уже заметила, подобная мысль меня не беспокоила. Напротив, я чувствовала

даже признательность к свекрови за ее нежные ласки. Мне ее описывали за особу весьма требовательную по отношению к дочерям, которые почти и пошевелиться в ее присутствии будто бы не смели, но ко мне Императрица Мария Федоровна относилась иначе, по-видимому, мой характер понравился ей. Я держала себя вполне естественно, была весела, откровенна, жива и резва, как подобает молодой девушке, тогда как Великие княжны держали себя чопорно в ее присутствии и даже в обществе; все в них было строго соразмерено: их манера держать себя в обществе, разговаривать, кланяться, и это, я полагаю, было гораздо совершеннее моих тогдашних манер. Я думаю и даже знаю наверное, что задевала при Дворе некоторых лиц недостатком внимания к ним, а оно ведь, по их мнению, обязательно должно было сводиться к известному количеству фраз, повторяемых ежедневно. Что касается меня, то я проходила иногда слишком скоро мимо этих лиц, ибо они нагоняли на меня скуку, и останавливалась слишком долго перед молодежью, перед юными фрейлинами, для меня более привлекательными. Но мало-помалу все привыкли к моим манерам, видя мое неизменное ко всем благоволение, проистекавшее от доброго сердца, и мне простили маленькие отступления от этикета за врожденную грацию, изящество и живость. Maman очень забавлялась, глядя, как я похищаю вишни, чего не простила бы прежде своим дочерям, но меня она баловала снисходительностью. Старушка Ливен даже заметила мне как-то: ««Вы – любимица вдовствующей Государыни»!»

Вообще замечали, что Императрица никогда прежде не была столь ласкова и снисходительна к своим дочерям, как теперь ко мне. Однако не следует думать, чтобы она мне от времени до времени не делала выговоров, а иногда не давала мне советов, которые для меня оказывались чрезвычайно полезны. Единственный случай, когда она нас однажды побранила, был, помнится мне, когда она встретила нас в парке в кабриолете и спросила: где мы катались? Мы отвечали, что едем из Царского, от Императрицы Елизаветы. Тогда она сделала нам замечание, что нам следовало предварительно спросить у нее позволения сделать этот визит; признаюсь, это мне показалось даже странным. Но со временем она позабыла об этом выговоре, и мы могли ездить в Царское, не спрашивая ни у кого позволения. По воскресеньям в Павловске танцевали; в прочие дни играли в petits jeux (игры (фр.)) или ужинали в том или другом шале или павильоне, что мне очень нравилось. И лето выдалось прекрасное.

К несчастию, брата моего Вильгельма, который очень веселился, укусила собака, принадлежавшая к своре Великого

князя Михаила, последний тут же, на месте, ее застрелил, но тем не менее доктор Виллие из предосторожности прижег и вырезал брату ранку на ноге. Это было весьма неприятное происшествие. Когда брату стало лучше, его выносили в сад и даже в гостиную, а потом рана его и совсем зажила.

Maman находила Вильгельма чрезвычайно любезным в обществе; он танцевал, играл и веселился, как подобало молодому человеку; и она журила своих сыновей Николая и Михаила за то, что они усаживались в углу с вытянутыми, скучающими физиономиями, точно медведи или марабу. Правда, у моего Николая лицо было слишком серьезно для 21 года, особенно когда он посещал общество или балы. Он чувствовал себя вполне счастливым, впрочем, как и я, когда мы оставались наедине в своих комнатах: он бывал тогда со мною необычайно ласков и нежен.

Я уже называла дам, состоявших при мне, кроме них, наш Двор составляли: маршал Кирилл Нарышкин, шталмейстер генерал Ушаков, два адъютанта: Фредерике (женатый на Цецилии, моей подруге детства) и В. Адлерберг, который женился две недели после нас на девице Марии Нелидовой. Все они по милости вдовствующей Императрицы жили в Павловске.

Приблизительно в это время приехал из Берлина князь Антон Радзивилл и немало способствовал приятному препровождению вечеров своею веселостью; он умел придумывать разные забавы, шарады в лицах, музыкальные вечера, домашние спектакли. Двор переехал в Петергоф; короткое пребывание перед тем в Царском Селе сблизило меня с Императором Александром; это было для меня истинным счастьем! Я привыкла с самого раннего детства любить его, преклоняться перед ним, и эти чувства, походившие до некоторой степени на обожание, с годами превратились в глубокую и искреннюю дружбу. Мимолетные тучки только укрепляли еще более эту дружбу; но я расскажу об этом после, теперь это было бы преждевременно.

Итак, Двор отбыл в Петергоф. Николай повез меня от Стрельны по нижней дороге; я поминутно вскрикивала от радости при виде моря, старых деревьев, растущих по берегу, и фонтанов в парке. Одним словом, я была в восторге, и это место произвело на меня с первого взгляда гораздо большее впечатление, нежели Павловск и Царское. Празднества удались как нельзя лучше, иллюминация 22 июля мне чрезвычайно понравилась. День ангела вдовствующей Государыни был вместе с тем и днем рождения моего отца; поэтому сердце мое в этот день преисполнилось воспоминаниями о родительском доме. Несколько дней спустя Двор отправился в Ораниенбаум, где был

устроен великолепный фейерверк. Мы занимали в Петергофе правый деревянный флигель почти целиком – его отделали заново для нас, новобрачных; все было изящно и свежо и обито шелковыми обоями. Одна только спальня, задрапированная темно-зеленым бархатом, произвела на меня мрачное и тяжелое впечатление. В этой самой комнате три года спустя я захворала, и так тяжко, что никогда после того духа у меня не хватало снова поселиться в этой комнате. Мы совершали прогулки, поездки, экскурсии морем в Кронштадт, где Император производил смотр флоту. Многочисленное общество, в котором дамы отличались более нарядами, нежели красотою, а кавалеры были скорее натянуты, чем любезны, было, однако, веселое: присутствие Императора Александра, очарование, которое он умел придать всему, что ни предпринимал, наэлектризовывали весь Двор. Несколько лет спустя все это изменилось совершенно в обратную сторону, о чем я вспоминаю с грустью; тем не менее это правда, и я расскажу об этом в свое время.

Я помню, что однажды Император взял сам ружье, дал по ружью трем своим братьям и приказал командовать им ружейные приемы, что весьма позабавило присутствующих. По вечерам мы с Николаем катались неоднократно верхом. Однажды мы пили чай на «собственной даче», куда отправились верхом; по дороге мы повстречали Кавалергардский полк, шедший на маневры, и Maman сделала нам потом замечание, что нас должен бы был сопровождать генерал Ушаков, так как мы слишком юны, чтобы ездить верхом только вдвоем.

За празднествами последовали маневры; они происходили между Петергофом и Ораниенбаумом. На них присутствовали иногда Императрицы, обе принцессы Вюртембергские и я, приезжая впятером в ландо; но так как мне приходилось сидеть между двумя Величествами, то я не испытывала никакого удовольствия от зрелища, которое при иных условиях было бы для меня большим удовольствием. Я помню маленькую сцену, происшедшую как-то между обеими Императрицами, первую из тех, какие мне довелось видеть в этом роде. Князь Меншиков, исполнявший обязанности сопровождающего и императорского вагенмейстера, повез нас как-то по довольно плохой дороге; лошади запутались, и коляска неожиданно покатилась назад, довольно устрашающим образом. Maman закричала, чтобы открыли дверцы, и торопливо выскочила; Императрица Елизавета последовала за ней; то же сделали и мы. Едва ступив на землю, Maman подошла к Императрице Елизавете, взяла ее за руку и голосом, по-видимому исполненным самого горячего участия, промолвила: «Вы испугались, милое дитя мое? Как вы себя

чувствуете?», а [царствующая] Императрица ей отвечала, что она «ничуть не испугалась, а напротив того, вы испугались». Maman повторила опять свое, а Императрица принялась снова защищаться. Я не знала, как себя тут и держать! Когда мы снова уселись в экипаж, я заметила, что Императрице Елизавете было неловко, что я присутствовала при этой сцене, и, как бы себе в извинение, она сказала мне, когда мы остались одни, будто вдовствующая Императрица, к несчастию, нередко сваливает на нее то, что в действительности пугает ее самое, а она этого терпеть не может. Я ничего на это не отвечала, но, обсудив мысленно это происшествие, нашла, что если за Maman и водилась подобная слабость, то все же вина в недоразумениях ложилась на Императрицу Елизавету: своим едким и обидчивым тоном она только затягивала сцену, которая могла бы пройти незамеченной, прояви Императрица Елизавета большую ласковость. Как бы то ни было, это послужило мне уроком.

По возвращении в Павловск мы вернулись к прежнему образу жизни. Вскоре я должна была прекратить верховые поездки, так как однажды за обедней, когда я старалась выстоять всю службу, не присаживаясь, я упала тут же на месте без чувств. Николай унес меня на руках; я этого и не почувствовала вовсе и вскрикнула, только когда мне дали понюхать летучей соли и я пришла в чувство. Этот случай, в первую минуту напугавший присутствующих, был предвестником моей беременности, которой я сама едва верила; это известие обрадовало всех. Говорят, будто на том месте, где я упала, нашли осыпавшиеся лепестки роз, вероятно, из моего букета, и это нашим дамам показалось очень поэтичным.

Начались приготовления к поездке в Москву, где Двор должен быть поселиться на зиму с целью поднять дух древней столицы, истребленной в 1812 году пожаром. Перед отъездом мы возвратились в Аничков дворец, в котором почти не жили еще вовсе. Мы устроили там маскированный вечер для нашего всегдашнего павловского общества; все были замаскированы с головы до ног: Maman – волшебницею, Императрица Елизавета Алексеевна – летучею мышью, я – индийским принцем, с чалмой из шали, в длинном ниспадающем верхнем платье и широких шароварах из восточной ткани. Когда я сняла маску, мне наговорили массу комплиментов. Талья у меня тогда оставалась еще довольно тонкая, хотя я пополнела и особенно похорошела в начале беременности.

Мы покинули Петербург 18 сентября. По предписанию докторов пробыли мы в дороге из-за меня 12 дней. Порядочно таки долго! Впоследствии я слышала, будто Императрица

Екатерина, будучи Великой княгиней, на этот путь и по той же причине употребила шесть недель. Я страдала тошнотой и испытывала отвращение к некоторым блюдам и запахам, но вообще чувствовала себя как нельзя лучше, а долгое это путешествие совершила весьма приятно, так как ехала с мужем и мы немало ребячились: к тому же мой брат Вильгельм был еще с нами. В Клину мы дождались прибытия вдовствующей Государыни и Императора Александра. Их Императорские Величества не совершали торжественного въезда в Москву; всякий из нас добрался туда сам по себе ночью, а на следующий день Их Величества и прочие члены царской фамилии показались народу и с большой церемонией, в полном параде направились в соборы. Добрый народ встретил своего Государя с безмерным восторгом. Жители Москвы, много выстрадав во время войны и при занятии города французами и доказав единодушно свой патриотизм, невзирая на постигшие их бедствия, вполне заслуживали то отеческое внимание, которое оказал им Император Александр, поселяясь среди них; также и народ, и вельможи сумели вполне оценить это внимание.

Проснувшись поутру, я подошла к окну и, когда увидела великолепное зрелище, открывающееся на Москву, которая расстилалась, словно панорама, у моих ног, то сердце мое забилось: я поняла Россию и стала гордиться тем, что принадлежу ей!

К несчастью, Maman получила за день до приезда в Москву известие о смерти одного из своих братьев. По случаю этого траура Двор и город не давали никакого празднества вплоть до 12 декабря, дня рождения Императора. Мне пришлось пролежать в постели, а затем на кушетке в течение нескольких дней; настолько утомили коленопреклонения мои ноги, что я даже с трудом могла двигать ими.

В то же время я принялась серьезно за уроки русского языка; в учителя мне был дан Василий Андреевич Жуковский, в то время уже известный поэт, слишком поэтичный, чтобы быть хорошим учителем. Вместо того чтобы корпеть над изучением грамматики, какое-нибудь отдельное слово рождало идею, идея заставляла искать поэму, а поэма служила предметом для беседы; таким образом проходили уроки. Поэтому русский язык я постигала плохо, и, несмотря на мое страстное желание изучить его, он оказывался настолько трудным, что я в продолжение многих лет не имела духу произносить на нем цельных фраз.

Брат мой все еще гостил у нас; по вечерам наш маленький Двор собирался в моем кабинете; мы читали или играли.

Я познакомилась с двумя дамами, которые часто бывали на

этих вечерах: Кутузовою – женою того, который сопровождал моего жениха в Англию в качестве ментора; другою же была княгиня Трубецкая, молодая женщина моих лет, красавица собою, умница и очень осторожная, бывшая замужем за некрасивым стариком, обожавшим ее, впрочем.

Графиня Орлова (Анна Алексеевна) с первого же дня моего приезда в Петербург выказала мне столько дружеского сострадания и жалости (так как молодая принцесса, оторванная от семьи, в новой для нее стране и среди нового мира казалась ей вполне достойной сочувствия), что сразу расположило меня к ней. Я часто видалась с нею в Москве; ей был пожалован императорский портрет для ношения 12 декабря 1817 года, и хотя она была еще очень молода и притом чуть ли не самая богатая из русских аристократок, но не пожелала выйти замуж.

Я бывала часто у Императрицы Елизаветы, которая относилась ко мне в то время весьма дружественно.

Моя кузина Мария Вюртембергская также часто посещала нас. Мы обедали или проводили вечера у Maman; по воскресеньям бывал обед, на который приходилось являться в платьях со шлейфами, и такой же парадный вечер, на котором можно было умереть с тоски.

Под Рождество при нашем маленьком Дворе случилось событие, о котором я должна упомянуть в нескольких словах: наш маршал К. А. Нарышкин делал ежеминутно неприятности моему мужу: за малейшую шутку он сердился до того, что зеленел, желтел от злости. Кроме того, он пытался не раз делать великому князю неуместные замечания даже на мой счет. Человек в высшей степени желчный, он иногда впадал в змеиную злость; все ненавидели его и удалялись при его приближении… Одним словом, я чувствовала, что не могу быть покойной, пока этот человек будет при нашем Дворе. Иметь в таком маленьком кружке постоянно возле себя человека, который кляузничает, говорит со злым умыслом колкости, было невыносимо, и хотя многие принимали в нем участие, но у меня хватило характера поставить на своем и добиться того, чтобы он оставил это место. Я думаю, меня за это осуждали и находили характер мой недостаточно покладистым, но я сознавала, что это вопрос слишком важный: тут дело шло о мире, о спокойствии в нашем доме; я исполнила свой долг и никогда в этом не раскаивалась. Последствия доказали, что характер у меня был довольно покладистый. Жена Нарышкина, Мария Яковлевна, столь же красивая, сколько кроткая и добрая. Нарышкин покинул наш Двор, и на его место был назначен граф Моден.

В это время Аракчеев был самым главным советником при

Императоре. Он был необходим ему и работал с ним ежедневно. Через его руки проходили почти все дела. Этого человека боялись, его никто не любил, и я никогда не могла понять, каким способом он сумел удерживаться в милости у Императора Александра до самой его кончины.

«Александра Федоровна с дочерью Марией на берегу Черного моря». Художник Петр Соколов. 1829 г.

Другою личностью, пользовавшеюся особою милостью и дружбою Императора Александра, был князь Александр Николаевич Голицын. Проведя молодость бурно, он отличался впоследствии особою набожностью. Таково же было и настроение Императора. Великие события 1812, 1813 и 1814 годов глубоко потрясли его ум; до той поры он был суетен и легкомыслен в вопросах религии. Баронесса мадам Крюднер повлияла на него в том же смысле; почва была хорошо подготовлена и принесла плоды. Кроме того, с князем Голицыным Императора связывала с молодых лет давнишняя дружба; князь состоял камергером при его Дворе, когда Александр был еще только Великим князем, и первый питал ко второму вполне искреннюю и непреходящую привязанность. Я чувствовала себя приятнее в обществе Голицына, нежели Аракчеева, который говорил только по-русски и внушал мне какой-то инстинктивный страх. В то время много

говорили о военных поселениях, основанных всего какой-нибудь год назад по мысли самого Государя; осуществление этой затеи было возложено на Аракчеева и производилось далеко не с кротостью, а напротив того – грубым и жестоким образом, что вызывало неудовольствие в бедных крестьянах. По пути нам попадались там и сям жители некоторых деревень, коленопреклоненные и умолявшие о том, чтобы не изменяли их положения (то есть не обращали бы в военных поселян).

В конце декабря брат покинул меня. Я проводила его с грустью и почувствовала новый прилив тоски по поводу разлуки с отцом, братьями и сестрами – то была ужасная минута! Но, пережив ее, я еще более сблизилась с моим Николаем, почувствовала, что в нем одном имею поддержку и опору в новой моей родине, а нежность его вполне вознаградила меня за все, мною утраченное. Мы читали вместе «Коринну» и «Малек Аделя», и я с наслаждением вспоминаю об этой мирной жизни в течение последних месяцев, предшествовавших моим родам!

1818 год

Мы выезжали очень мало; при Дворе не было ни одного вечернего собрания, но часто давались обеды. По воскресеньям обедали обыкновенно у Maman в платьях со шлейфами и на вечер появлялись опять в том же костюме; вечер проводили у нее в беседе и в игре в макао. Признаюсь, вечера эти ужасно мне наскучили, по сравнению с воскресным препровождением времени в Берлине, где мы резвились, болтали и оживленно веселились, и я теперь с трудом могла скрывать свою скуку. Общество на этих собраниях бывало ужасно древнее, в стиле рококо: старые, полуслепые сенаторы, вельможи времен Императрицы Екатерины, находившиеся в отставке лет по двадцати или тридцати!

В марте Император уехал в Варшаву, где должен был произойти первый сейм со времени учреждения нового царства Польского с тех пор, как ему была дарована конституция. Речь, произнесенная Императором при открытии сейма, наделала немало шуму; упомяну о ней лишь затем, чтобы напомнить, как некоторые слова этой речи громко отозвались в русских сердцах, возбудив ложные надежды. Отголосок этот был настолько силен, что давал себя чувствовать и много еще лет спустя, и отчасти оказался причиною мятежа, сопровождавшего восшествие на престол моего Николая. Эти политические вопросы занимали меня тогда весьма мало: надежда сделаться матерью всецело переполняла мое сердце. Эта минута наконец наступила!

На Святой неделе, когда колокола своим перезвоном славословили праздник Воскресения, в среду, 17 апреля 1818 года, в чудный весенний день, я почувствовала первые приступы родов в 2 часа ночи. Призвала акушерку, затем вдовствующую Государыню: настоящие боли начались лишь в 9 часов, а в 10 часов я услышала крик моего первого ребенка!

Нике [Великий князь Николай Павлович] целовал меня и плакал, и мы поблагодарили Бога вместе, не зная даже еще, послал ли Он нам сына или дочь, но тут подошла к нам Maman и сказала «Это сын». Мы почувствовали себя еще более счастливыми при этом известии, но помнится мне, что я ощутила нечто важное и грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда сделаться Императором.

Шесть недель после родов прошли для меня самым приятным, спокойным и однообразным образом; я видалась в это время с весьма немногими. Княгиня Трубецкая приходила иногда вечером почитать вслух час или два. На наших маленьких

вечерах, до моих родов, бывала также г-жа Кутузова. Вечером накануне великого события у меня еще были гости до 10 часов, а в 2 часа ночи почувствовала я первые признаки приближавшихся родов.

Во время крестин, совершившихся 29 апреля в Чудовом монастыре, нашему малютке было дано имя Александр; то был прелестный ребеночек, беленький, пухленький, с большими темно-синими глазами; он улыбался уже через шесть недель. Я пережила чудную минуту, когда понесла новорожденного на руках в Чудовскую церковь, к гробнице Св. Алексея.

Вскоре Москва сделалась сияющею и оживленной. Император возвратился из Польши и из поездки в Одессу и Крым, и вместе с ним приехал принц Филипп Гессен-Гомбургский, посланный от имени австрийского Императора в Варшаву. Он настолько понравился Государю и так сошелся с ним, что Император пригласил принца сопровождать его в путешествии.

Вскоре я имела счастие выехать навстречу моему отцу в маленькое поместье Нарышкиных, в Кунцево. На следующий день я расцеловалась с братом Фрицем. Въезд отца в Москву совершился верхом. Из окон покоев Maman я любовалась на блестящий поезд, проезжавший вдоль древних зубчатых стен Кремля. Я впала в какой-то блаженный экстаз! Сердце мое трепетало от радости, и я не знала, как достаточно благодарить Бога!

Пребывание Короля в Москве продолжалось не более 10–12 дней; были они весьма утомительны, ибо прогулки по городу, обеды, балы и иллюминации быстро чередовались, и мы едва успевали переодеваться. Затем мало-помалу вся приятная компания направилась в Петербург.

Их Императорское и Королевское Величества съехались снова в июне-месяце в Царском Селе. Там устраивались катанья в двадцати дрожках, которые следовали друг за другом с Императором Александром во главе; ужины происходили в различных павильонах сада – было вечернее собрание в Эрмитаже, другое собрание на острове, посреди пруда, и еще в Павловске у вдовствующей Государыни. Потом состоялся торжественный въезд Короля Прусского в Петербург с выстроенным войском и множеством парадных экипажей. Все это настолько походило на мой прошлогодний въезд, что я словно сон переживала. Когда мы проезжали мимо Аничкова дворца, я увидела в одном из окон на руках у няни маленького Сашу, настоящее сказалось самым приятным образом, и глаза мои наполнились слезами. При выходе из экипажа у Казанского собора Император подал мне руку и, заметив мое смущение,

сказал мне на ухо: «Этих душевных волнений не следует стыдиться, они приятны Господу!»

Мой отец занял заново для него отделанные комнаты в Зимнем дворце, которые составляли прежде покои Императора Павла. Мы ужинали в семейном кругу у него в фонаре, обращенном к большой площади. На этих ужинах одни только дамы сидели за столом, а мужчины ужинали стоя. Я была вне себя от радости, что находилась близ отца и брата Фрица. Дядя мой, принц Карл Мекленбургский также приехал в свите Короля. Затем начались празднества: смотры, парады, приемы, балы, катанья по островам, посещения институтов. Последние занимали особенно много времени, так как Императрице доставляло удовольствие показывать их медленно и обстоятельно, останавливаясь на каждом шагу, чтобы объяснить Королю, что и почему. Она обыкновенно шествовала под руку с моим отцом, Императрица Елизавета с Королевским принцем, а моя рука доставалась Императору, который казался в восторге от этого и высказывал тысячу приятных и лестных вещей, приводивших меня в самое прекрасное настроение.

Вдруг во время этих празднеств и удовольствий однажды мой Николай после парада заболел – он возвратился домой, дрожа от лихорадки, бледный, весь позеленевший, чуть не падая в обморок. Я испугалась; его уложили в кровать, а на следующий день обнаружилась корь. Болезнь была довольно легкая и шла обычным чередом. Я ухаживала за мужем, но от времени до времени появлялась и на празднествах.

Петергофский праздник, справляемый всегда 22 июля, был на сей раз отпразднован 1 июля, по случаю пребывания Короля, моего отца. Поутру была отслужена обедня у нас, в Аничковом дворце, затем мы отправились в Петергоф; день был великолепный. Фонтаны, зелень, море и небо – все вместе увеличивало красоту этого места, которое с первого раза понравилось и Королю, и всем прочим путешественникам. На следующий день вдовствующая Государыня возила нас на «собственную дачу», которая меня особенно привлекала своею густою листвою и своей маленькой уединенной часовней, располагая душу к молитве.

Всю жизнь жила во мне склонность к меланхолии и мечтательности. После развлечений светской жизни я любила углубляться в самое себя, и в такие минуты природа оказывалась для меня столь же необходимою, как хорошая проповедь, и более всех проповедей в мире вещала мне о Боге и о чудных благодеяниях, оказываемых Им своим созданиям!

Прошло еще несколько дней, и мой отец покинул нас; мы

провожали его до Гатчины. Там я простилась с дорогим и добрым отцом с грустью, но с обещанием и надеждою увидеться с ним на следующий год.

Едва возвратившись в Аничков дворец, я захворала – у меня тоже оказалась корь; на пятый день я почувствовала себя особенно дурно, у меня разболелась грудь, но несколько пиявок, вовремя поставленных, облегчили мои страдания, и выздоровление пошло быстро. Нашего маленького Сашу удалили; он жил в Таврическом дворце под покровительством вдовствующей Государыни. Мой брат и принц Гессен-Гомбургский облегчили и значительно оживили период моего выздоровления своим присутствием и своею любезностью.

Принц Филипп поистине был очень мил; человек светский и в то же время храбрый и опытный воин, он обладал искусством смешить, никогда не забываясь и не позволяя себе никаких вольностей. Судьба не раз еще сталкивала нас при самых разнообразных обстоятельствах, и он всегда был для нас тем же преданным другом и любезным собеседником. Он приезжал вторично в Россию ко дню нашей коронации в 1826 году. В третий раз Император австрийский присылал его во время турецкой войны в главную квартиру, и я видела его тогда в Одессе в 1828 году. Четвертый раз он был в Варшаве, во время нашей коронации польскою царскою короною (1829 г.)

Брат мой и принц Филипп покинули нас наконец, и, разумеется, гораздо скорее, нежели я того желала; мы отправились проводить остальную часть лета в Павловске, но ненадолго, так как Император и обе Императрицы собирались вскоре уехать за границу. Maman радовалась этому путешествию, имевшему целью посетить трех ее дочерей в их резиденциях; первую по списку предполагалось посетить Великую княгиню Екатерину Павловну, Королеву Вюртембергскую; Анна Павловна, принцесса Оранская, проживала в Брюсселе, а Марию Павловну, супругу наследного герцога Веймарского, предстояло посетить последнею. Император должен был отправиться в Ахен на политический конгресс, на котором обещал присутствовать и отец мой. Михаил [Павлович] находился уже в Германии, собираясь посетить Англию и Италию; поездка эта имела воспитательную цель и должна была завершить его образование. Константин [Павлович] занимал в Варшаве тот пост, который сохранил вплоть до несчастной катастрофы 1830 года. Итак, мы с Николаем оказывались единственными членами Императорской фамилии, остававшимися в Петербурге. Нам были даны инструкции касательно того, что следовало делать в высокоторжественные дни.

Первый случай, когда мы принесли себя в жертву отечеству, был в день Св. Александра Невского; в тот день мы присутствовали в полном параде на архиерейской службе и на завтраке у митрополита. То было настоящим испытанием для меня, бедной женщины, всю жизнь не имевшей достаточно сил выстаивать длинные церковные церемонии. Помню, что я испугалась собственного лица по возвращении с этой утомительной службы. Завитые мои волосы совсем распустились, я была мертвенно бледна и вовсе не привлекательна в розовом глазетовом сарафане с шлейфом, шитым серебром, и серебряным кружевным током на голове.

Maman разрешила своему сыну провести несколько дней в Гатчине для охоты. Мы с радостью приготовились воспользоваться этим позволением и провели в Гатчине время весьма приятно в тесном кружке, который составляли обер-церемониймейстер князь Яков Лобанов, сын его, флигель-адъютант князь Александр Лобанов, граф Рибопьер и наш маленький аничковский Двор. Мне чрезвычайно понравилась эта жизнь в загородном замке и охота; все были веселы, любезны, каждый по-своему, разговорчивы, и все расстались довольные друг другом.

Ко времени этого пребывания в Гатчине относится мое знакомство с графом Рибопьером, который, несмотря на частые отлучки, всегда был для меня другом, а впоследствии любезным чтецом. Мы были как нельзя более довольны графом Моденом, заступившим место Кирилла Нарышкина; он отличался изысканными манерами старинного версальского Двора, был донельзя вежлив даже в шутках, услужлив без низкопоклонства и умел устраивать все как нельзя лучше. Его можно было упрекнуть разве в излишней обидчивости. Мне, женщине наименее взыскательной и честолюбивой, судьба сулила всю жизнь быть окруженной людьми подозрительными и обидчивыми. Я, неизменно желавшая всем лишь добра и думавшая, как бы сделать приятное другим, напротив того, нередко имела несчастье оскорблять и делать неприятное людям, на которых считала возможным вполне полагаться; мне пришлось немало прожить, прежде чем я приобрела знание людей – науку весьма полезную, но составляющую плод многих неудач и утраченных заблуждений!

В городе сезон балов начался рано и открылся балом в Аничковом дворце 3 (15) октября, в день рождения моего брата, наследного принца. Это было событием для нашего Аничковского дворца, так как то был наш первый прием в Петербурге, и меня впервые тогда увидели исполняющею обязанности хозяйки дома!

Ко мне были снисходительны, очень хвалили наш бал, наш ужин, нашу любезность; это явилось как бы поощрением, которое дало нам охоту принимать и веселить людей у себя. Когда человек молод и красив, когда сам любишь танцевать, нетрудно угодить всем без особого труда.

Тут кстати упомянуть о семействе Кочубей. Они отсутствовали в течение нескольких лет, и только в 1818 году граф и графиня Кочубей и красивая их дочь Nathalie были мне представлены в Павловске, причем Maman и Император отозвались об этой семье самым лестным образом. Вскоре я сама почувствовала к ним расположение; их я посещала всего охотнее, и мы приглашали их чаще других. Граф обладал в высшей степени изысканными манерами и светскостью в обращении, отличавшей людей прошлого века, живших при Екатерине II и при ее Дворе и бывавших в ее интимном кругу. Граф имел счастье, будучи еще весьма молодым человеком, сопровождать Императрицу в качестве камер-юнкера в ее путешествии в Крым (в 1787 году); ему было тогда всего 18–19 лет. В то время как я познакомилась с ним, он состоял, кажется, министром внутренних дел: у них было несколько танцевальных вечеров, но вскоре я должна была перестать танцевать, так как почувствовала себя беременной и даже с приступами тошноты встретила мою свекровь на лестнице при ее возвращении из Германии. Как интересны были ее рассказы о ее путешествии, удовлетворившем ее во всех отношениях!

Император Александр, возвратившийся незадолго до приезда матери, которую видел за время путешествия в Ахене и Брюсселе, проявлял братскую доброту к Николаю и ко мне; он заходил к нам довольно часто по утрам, и его политические разговоры были в высшей степени интересны. Возвратясь накануне нового года, Maman 1 января 1819 года уже присутствовала на выходе и в церкви. Она сознавалась, что несколько утомлена, но ей никогда не делалось дурно, как нам, бедным, слабым женщинам.

1819 год

Точно так же она оказалась в состоянии присутствовать 6 января на всех церемониях водоосвящения и шествовать пешком за процессией. Я имела честь вести ее под руку и приходила в восторг от прекрасной погоды, так как был только градус мороза, от солдат, словом, от всего, потому что все это было мне в диковинку; ведь мне всего было только 20 лет.

Уже тогда делались предположения насчет зимних празднеств, но вдруг известие о кончине Королевы Вюртембергской Екатерины Павловны повергло все семейство в горе и траур. Никогда я не забуду той ужасной минуты, когда Императору Александру пришлось объявить об этой жестокой потере матери, возвращавшейся с прогулки, ничего не подозревавшей и немало удивленной появлением у себя Императора в неурочное время. Мы были в соседней комнате и могли слышать печальный разговор; Императрица и не хотела, и не могла понять, что Екатерина Павловна умерла, и только восклицала хриплым голосом: «Като не умерла, нет, нет, она не умерла!»

Императрице трудно было освоиться с мыслию, что красивой и блестящей Екатерины Павловны, с которой она недавно еще рассталась в Германии, уже не было на свете! Мы окружали Maman нашими попечениями, нашими ласками; Император стал относиться к ней с удвоенной нежностью и предупредительностью, и благодаря этому она имела силы перенести свое горе и возвратиться к обычным занятиям, отнимавшим у нее большую часть дня.

Странные слухи ходили по поводу причин, вызвавших смерть королевы Екатерины Павловны; имя принца Павла Вюртембергского произносилось шепотом, рассказывали о бале, который он задал в Париже в тот день, когда пришло туда известие о ее кончине. На самом деле она скончалась от рожи на голове, проболев всего сутки.

Александр I Павлович (1777–1825) – император и самодержец Всероссийский (с 1801 года), протектор Мальтийского ордена (с

1801 года), великий князь Финляндский (с 1809 года), царь Польский (с 1815 года), старший сын императора Павла I и Марии Федоровны. В официальной дореволюционной историографии именовался Благословенный

Зима прошла скучно и тяжело для меня; когда я не ездила к Maman, то оставалась дома одна с преданной моей подругой Цецилией, в то время как муж мой играл у себя в военную игру с несколькими офицерами или ездил верхом с Михаилом в манеже. По утрам я брала уроки у Жуковского или урок музыки и пения и писала письма в Берлин, имея обширную корреспонденцию, и с особым нетерпением ожидала весны, чтобы возвратиться в деревню.

Наконец, эта желанная минута настала, я могла вновь пользоваться прогулками, часто присаживалась с Цецилией в саду, где мы читали вместе. Будучи обе беременны, мы тяжело выступали по хорошеньким дорожкам Павловского парка и обе посмеивались над своими фигурами. Этой же весной, если не ошибаюсь, приезжал сюда молодой граф Вильгельм Гохберг, близкий родственник Великого герцога Баденского. Он ездил от одного Двора к другому, чтобы устроить передачу по наследству баденских владений в пользу семейства Гохберг, так как у царствовавшего Великого герцога не было мужского потомства и страна должна бы была достаться, кажется, во владение Баварии. Эта ветвь семейства Гохберг, впрочем, законная, не пользовалась титулом принцев по причине неравного брака, заключенного отцом графа. Хлопоты графа увенчались успехом, и по смерти Великого герцога Баденского, брата Императрицы Елизаветы, маркграф Леопольд Гохберг сделался Великим герцогом Баденским.

В июне бригада моего мужа, состоявшая из полков Измайловского и Егерского, выступила в лагерь, в Красное Село. Я последовала туда за моим великим князем. Maman, которой принадлежала прелестная красносельская дача, поместила меня в маленьком домике, который некогда занимала, при жизни Императора Павла, во время военных маневров. Этот маленький домик понравился мне, я поселилась в нем на три недели, которые пролетели для меня слишком скоро, – так нравилась мне эта военная жизнь.

Я проводила утро у себя или в прогулках, остальную часть дня просиживала в палатке моего мужа; близость хорошенькой Дудергофской горы с ее дикой долиной немало способствовала нашим удовольствиям, в сущности довольно невинным.

Мне немного требовалось, чтобы быть довольной, – раз я

могла быть с моим мужем, мне не нужно было ни празднеств, ни развлечений; я любила жизнь тихую и однообразную, даже уединенную; по моим вкусам я любила простоту и была домоседкой. Но когда нужно было выезжать в свет, то я предпочитала уж скорее веселиться, нежели скучать, и находила бал веселее вечернего собрания с придворными людьми, натянутыми и церемонными. Зато многие любезно отзывались обо мне, будто вся моя жизнь прошла в танцах, хотя я предпочитала хороший летний вечер всем балам в мире, а задушевную беседу осенью у камелька – всем зимним нарядам.

Я была в последнем периоде беременности; поэтому всякая другая прогулка в окрестностях была тягостна для меня, но все обошлось без малейшего приключения, без малейшего испуга. Мы наслаждались нашей независимостью, так как в Павловске надобно было жить при Дворе, и как ни была добра к нам Maman, но придворная жизнь и близость Двора были неизбежны с нею, а мы оба ненавидели то, что называется Двором.

Тогда же (в бытность мою в Красном летом 1819 г.) Император Александр, отобедав однажды у нас, сел между нами обоими и, беседуя дружески, переменил вдруг тон и, сделавшись весьма серьезным, стал в следующих приблизительно выражениях говорить нам, что он «остался доволен поутру командованием над войсками Николая и вдвойне радуется, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, ибо на него со временем ляжет большое бремя, так как Император смотрит на него как на своего наследника, и это произойдет гораздо скорее, нежели можно ожидать, так как Николай заступит его место еще при его жизни».

Мы сидели словно окаменелые, широко раскрыв глаза, и не были в состоянии произнести ни слова. Император продолжал:

– Кажется, вы удивлены, так знайте же, что брат Константин, который никогда не помышлял о престоле, порешил ныне, тверже, чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомкам. Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира. Европа теперь более чем когда-либо нуждается в Государях молодых, вполне обладающих энергией и силой, а я уже не тот, каким был прежде, я считаю долгом удалиться вовремя. Я думаю, то же самое сделает и Король прусский, передав свою власть Фрицу.

Видя, что мы готовы разрыдаться, он постарался утешить нас и в успокоение сказал нам, что это случится не тотчас и, пожалуй, пройдет еще несколько лет прежде, нежели будет приведен в исполнение этот план; затем он оставил нас одних. Можно себе представить, в каком мы были состоянии. Никогда даже тень

подобной идеи не приходила нам в голову даже во сне. Нас точно громом поразило; будущее показалось нам мрачным и недоступным для счастья. Это была минута памятная в нашей жизни!

Последний месяц моей беременности я провела возле свекрови, но так как не могла ходить вследствие опухоли и боли в ногах, то меня усаживали днем в беседке у Розового павильона, где, растянувшись на кушетке, я могла дышать воздухом, не двигаясь с места.

После долгого ожидания 5 августа я почувствовала наконец некоторые боли, но решила об этом не говорить и каталась даже два раза в линейке; вечером, когда я ужинала вдвоем с m-me Вильдермет, вдовствующая Императрица прислала мне камер-пажа сказать, что она разложила большой пасьянс и по тому, как он сошелся, я должна разрешиться в ту же ночь. Я приказала ответить, что чувствую себя превосходно. Действительно, я легла и немного задремала; но вскоре наступили серьезные боли. Императрица, предупрежденная об этом, явилась чрезвычайно скоро, и 6 августа 1819 года в третьем часу ночи я родила благополучно дочь. Рождение маленькой Мэри было встречено ее отцом не с особенной радостью; он ожидал сына; впоследствии он часто упрекал себя за это и, конечно, горячо полюбил дочь. Едва успела я оправиться от родов, как Двор Maman переехал в Гатчину, куда мы последовали за нею с обоими детьми. Мой муж и Михаил [Павлович] ненавидели Гатчинский дворец, вспоминая проведенные в нем скучные зимы 1810, 1811 и 1812 годов, посвященные исключительно воспитанию. Вдовствующая Императрица решилась покинуть Петербург даже на зимнее время и избрала Гатчину как место, где для молодых людей не было соблазна светских развлечений, почему эта местность и представлялась особенно удобной для завершения образования младших сыновей.

Я нашла Гатчинский дворец действительно скучным, но собрания в так называемом арсенале показались мне весьма приятными по своей простоте в сравнении с другими местами. Всевозможные игры, размещенные в разных отделениях арсенала, – некогда это был просто сарай, – доставляли нам развлечения. Я попробовала тут впервые скатиться с деревянной горы стоя. Наша добрая Maman радовалась, видя меня в своем доме такой веселой и юной. Наше всегдашнее общество было немногочисленно; по воскресным дням оно увеличивалось приезжими из города.

14 октября, день рождения Императрицы, был день торжественный и утомительный. Накануне были танцы, и я познакомилась с Александром Бенкендорфом, которого видела

мельком в Москве. Я много слышала о нем во время войны еще в Берлине и Добберане; все превозносили его храбрость и сожалели о его безалаберной жизни, в то же время посмеивались над нею. Меня поразила его степенная наружность, вовсе не соответствовавшая установившейся за ним репутации повесы. Я могла беседовать с ним по-немецки, что для меня было вдвойне удобно, так как я все еще чувствовала стеснение и несколько затруднялась говорить по-французски в России, где почти все изъяснялись на этом салонном языке изящно и изысканно. В то время мало еще говорили по-русски, тогда как в настоящее царствование на нашем национальном языке говорят и чаще и более правильно, а это очень хорошо, ибо вполне естественно.

Maman часто приглашала графа и графиню Литта; трудно было встретить более красивую и белолицую старушку, нежели графиня Литта; она блистала в юности при Дворе Екатерины II своей красотою и в качестве племянницы князя Потемкина. Рожденная Энгельгардт, по первому мужу графиня Скавронская, она вышла впоследствии замуж, по любви, за графа Литта, итальянца по происхождению, который поступил одновременно на службу России и своей жене, так как он оказывался ее покорнейшим слугою и первым поверенным по ее делам и действительно умел их вести.

В конце октября мы переехали из Гатчины, и обычный зимний образ жизни вступил в свои права.

Эта зима была довольно весела, но не особенно блестяща. Признаки новой беременности испортили мне все, хотя я и не была в ней вполне уверена. Я очень мало интересовалась политикой; Император, напротив того, с неослабным интересом следил за европейскими делами. Священный союз, мысль прекрасная и идеальная, был результатом его сокровеннейших убеждений в деле христианской веры. Люди набожные и мистически настроенные утвердили его в этих мыслях, доказав ему, на основании Священного Писания, будто он предназначен судьбою сделаться и оставаться умиротворителем Европы и бойцом за правое дело против революционного принципа. Этими лицами были: вначале баронесса Крюднер, а впоследствии Кошелев и добрый князь Александр Николаевич Голицын.

1820 год

Весною муж мой покидал меня почти всегда в одно и то же время, для осмотра, в качестве генерал-инспектора по инженерной части, крепостей – Динабургской и Бобруйской или Рижской, Ревельской и т. п. Это бывало в мае, во время переезда на дачу; я пробыла короткое время в Гатчине и Царском Селе, а затем поселилась в Павловске у Maman. Весна была ужасная, холодная и скучная: зелень появилась только в июне.

Император Александр, столь добрый ко мне, был, однако, для меня причиною большого огорчения. Оставаясь всегда самой собою, то есть действуя без расчета и показывая себя такою, какова я была на самом деле, в надежде быть понятой, я не уразумела подозрительного характера Императора – недостатка, вообще присущего людям глухим. Не будучи совсем глухим, Император, однако, с трудом мог расслышать своего визави за столом и охотнее разговаривал с глазу на глаз с соседом. Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал, будто над ним смеются, будто его слушают затем только, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делаем друг другу знаки украдкою от него. Эта подозрительность доходила до того, что становилось прискорбно видеть подобные слабости в человеке с прекрасным сердцем и умом. Я расплакалась, когда он сделал мне подобные замечания и выговоры, и чуть не задохнулась от слез, но затем между нами не пробегало уже ни малейшего облачка: он поверил моему чистосердечию и моей дружбе к нему, граничившей скорее с восторженным обожанием, чем с насмешкою. Мы называли его в наших интимных письмах просто Ангел, а не Император, и, разумеется, он не мог бы найти людей, более преданных ему, чем Николай и я.

Волнение, причиненное мне этими маленькими сценами, было, однако, настолько сильно, что оно подействовало на мое здоровье: и мне пришлось пустить кровь гораздо ранее, нежели за время прежних беременностей. Дурная погода во время пребывания в Красносельском лагере также дурно повлияла на меня: я приехала в Петергоф к 25 июня с опухшими ногами и со страшной мигренью, которая продолжалась три дня и сопровождалась приливами к голове, вследствие чего я не могла появляться ни на обедах, ни на маленьких балах. Император однажды вечером навестил меня и поцеловал мою ногу, когда я лежала в кровати, и это весьма меня рассмешило. Две ночи спустя я была при смерти; судороги, случившиеся со мною 27 июня, в то время как я впала в бесчувствие, были, по-видимому, причиною

смерти ребенка, который родился в Павловске 10 июля. Я провела обычные шесть недель в деревянном Константиновском дворце довольно тоскливо, но пользуясь самым заботливым уходом со стороны мужа и вдовствующей Императрицы. В то время производили фурор романы Вальтера Скотта, и Нике читал мне их. Я была очень слаба, очень бледна и интересна (как рассказывали), когда я появилась вновь при Дворе. Со стороны некоторых, а именно Орлова и Бенкендорфа, я была встречена косыми взглядами и минами. Чтобы утешить меня в горе, что я произвела на свет мертвого ребенка, мне пообещали зимой поездку в Берлин. Действительно, три года прошло уже со времени моего замужества, и было вполне естественно сделать маленький визит отцу и предпринять, если возможно, летом 1821 года лечение для восстановления моего здоровья. За два года я родила троих детей […]

Великая княгиня Ольга Николаевна
Сон юности

Посвящается моим горячо любимым внучатым племянницам принцессам Эльзе и Ольге Вюртембергским

Дорогие дети! Возможно, что в один прекрасный день, когда вы подрастете, вы захотите узнать, какова была юность вашей Бабушки в далекой стране, которая является также и родиной вашей матери. Возможно, что тогда уже не будет в живых никого из тех, кто жил вместе со мной, чтобы рассказать вам об этом.

Я постараюсь собрать свои воспоминания в одно целое, чтобы вы узнали, какой счастливой была моя юность под кровом отцовской любви.

Мое желание – вызвать в ваших сердцах любовь и почитание к памяти наших Родителей, которых мы не перестанем любить и благословлять до нашего смертного часа. Им мы обязаны жизнью в драгоценном семейном союзе, который представляет собою единственное счастье на земле. Сохраните мой рассказ о нем неискаженным, чтобы отсвет этого тепла согревал вас всю жизнь! Этого желает вам ваша старая

Бабушка Ольга.
Штутгарт
Начато в январе 1881 года
Закончено 18 января 1883 года

1822–1830 годы

30 августа 1822 года у Мама родилась девочка, которую назвали Ольгой. Пушечный салют, возвещавший стране о моем рождении, смешивался со звоном колоколов по случаю празднования дня памяти Св. Благоверного князя Александра Невского.

Мое появление было таким неожиданным, что Бабушка (Императрица Мария Федоровна), срочно вызванная из Таврического дворца, нашла меня уже лежащей в постельке моего брата Александра, так как не было даже времени приготовить мне колыбель и пеленки. Я родилась третьей и увидела свет в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. До меня родились: Александр в Москве в день Св. Пасхи, 17 апреля 1818 года, и Мэри, родившаяся в Павловске в день Преображения Господня.

Ольга Николаевна (1822–1892) – дочь императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, жена Карла I, короля Вюртембергского

Во время моего появления на свет Император Александр I был на конгрессе в Вероне, последнем в своем роде, на котором монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По своем возвращении Государь привез

мне, как подарок к крестинам, бокал из зеленой эмали и такую же чашу, которые я храню до сих пор. Когда он снова увидел Мама во всей прелести ее юности, с ребенком на руках подле отца, смотревшего на нее с гордостью и любовью, бездетный Государь был необыкновенно тронут и сказал: «Было бы ужасно и непростительно, если когда-либо в жизни один из вас разочарует другого. Верьте мне, существует только одно истинное счастье – семья. Берегите ее священный огонь».

Императора Александра я помню совсем смутно. Родители мои его обожали, отец всегда называл его своим благодетелем. Он часто приходил к нам отдыхать от государственных забот и хорошо себя чувствовал в нашем тесном кругу, в котором все благодаря Мама дышало миром и счастьем сплоченной семейной жизни, так болезненно недостававшей ему. Государыня (Императрица Елизавета Алексеевна), бездетная и тяжелобольная, уже долгое время не разделяла своей жизни с Императором.

Я не осталась последним ребенком у Родителей. Мне не было еще и года, как Мама снова ждала ребенка. В том, 1823-м, году вводилась в Гатчине в общество Великая княгиня Елена Павловна, в то время принцесса Вюртембергская – невеста великого князя Михаила Павловича. Мама, на девятом месяце ожидания, была так взволнована ее предстоящим дебютом, вероятно, вспоминая себя саму десять лет назад, что стала нервно плакать. Золотой пояс, усеянный камнями, бывший в тот день на ней, не успели достаточно быстро распустить, и он причинил ей сильное ущемление. В ту же ночь она разрешилась мертвым сыном и тяжело захворала. Как только ее можно было перевезти в город, отец пообещал ей, чтобы несколько ее подбодрить, поездку в родной Берлин. В июле Родители отправились в Доберан в Мекленбурге, чтобы полечиться укрепляющими ваннами, а осенью проехали оттуда в Берлин. Там в то время принц Антон Радзивилл устраивал свой знаменитый маскарад «Лалла Рук», о котором потом еще долго говорили как о верхе светского блеска и хорошего вкуса.

Новая беременность Мама положила конец этим развлечениям, и, невзирая на просьбы короля Фридриха Вильгельма III, своего отца, Мама с Папа возвратились домой в Россию, так как предпочитали свой собственный дом всякому другому.

12 июня 1825 года родилась всеми любимая наша сестра

Адини (Александра), наш луч солнца, который Господь дал нам и которую Ему было угодно так рано опять забрать к Себе! Но об этом речь будет позднее. Адини родилась в Царском Селе, где Государь радушно предоставил в распоряжение моих Родителей свой дворец. Там же происходили последние разговоры с Императором, в которых им впервые было упомянуто слово «отречение». В августе он отбыл в Таганрог, куда уже раньше проследовала Государыня. После заблуждений юности их души снова сошлись в молчаливом прошении в часы тем более знаменательные, что Государыня Елизавета Алексеевна знала, что ее дни сочтены. Никто не подозревал тогда, что Государю суждено умереть до нее и что из этой поездки он уже не вернется. Об этой неожиданной смерти, унесшей его так скоро, поползли всевозможные слухи, например что он будто бы был отравлен. Они были неправдоподобны, но внутриполитическое напряжение в этот момент помогло им зародиться. То сильное влияние, которое Государь приобрел в Европе после крушения Наполеона, он использовал вначале в либеральном направлении и носился с мыслью уничтожить крепостное право в своей стране. Однако, осознав опасность деятельности революционных тайных союзов, он все больше и больше склонялся к политике Меттерниха и отказался от всех своих планов реформы. Насколько обоснованно было его настроение, доказывает бунт декабристов вскоре после его смерти.

Подготовленный тайными союзами молодых гвардейских офицеров, будто бы заступавшихся за права на трон великого князя Константина Павловича (отрекшегося в пользу брата), этот бунт имел целью введение конституции. Заговор был тотчас же подавлен, пять предводителей казнены, а остальные участники сосланы в Сибирь. Это было мрачным началом при вступлении на трон моего отца.

Как известно, у Императора Александра I не было сына. Во время его царствования Наследником считался второй сын Императора Павла I Константин Павлович. Последний был короткое время женат на великой княгине Анне Федоровне, принцессе Саксен-Кобургской, не жил с ней с 1801 года и разведен в 1820 году. Тогда же он женился морганатически на польской графине Грудзинской, которой Государь даровал титул княгини Лович. Из любви к ней Константин Павлович отказался от престола, который, таким образом, предназначался третьему сыну Императора Павла I Николаю Павловичу.

Обстоятельства бунта декабристов 14 декабря 1825 года

слишком известны, чтобы передавать их подробно, тем более что я хочу рассказать только о том, что сама помню. На меня произвели глубокое впечатление въезд траурной колесницы с телом Государя, траурные наряды, что-то непонятное, скрывающееся за черными покрывалами. Все это поразило меня гораздо сильнее, чем беспокойство и горе людей. Длинное шествие, знамена, делегации, процессии детей, герольды в средневековых одеяниях, мрачная роскошь поразили мое детское воображение, и эти картины перемешались с грустью последующих дней.

14 декабря мы покинули Аничков дворец, чтобы переехать в Зимний, входы которого можно было лучше защищать в случае опасности. Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды, вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, Бабушку с сильно покрасневшими щеками. Для нас устроили наспех ночлег: Мэри и мне у Мама на стульях. Ночью Папа на мгновение вошел к нам, заключил Мама в свои объятья и разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен. Вокруг меня шептали: «Пришел Император, достойный трона». Я чувствовала, что произошло что-то значительное, и с почтением смотрела на отца. В течение этой зимы нас два раза в день водили через длинные коридоры в покои, которые занимали наши Родители в Эрмитаже. Мы видели их лишь изредка на короткие мгновения. Затем нас опять уводили. Это было время допросов. С одной стороны приводили арестованных, с другой приезжали послы и Высочайшие особы, чтобы выразить соболезнование и принести свои поздравления. Мы же, бедные, маленькие, очень страдали оттого, что были так неожиданно удалены от жизни Родителей, с которыми до того разделяли ее ежедневно. Это было как бы предвкушение жертв, которые накладываются жизнью на тех, кто стоит на высоком посту служения своему народу.

В августе 1826 года нас отправили в Москву с флигель-адъютантом Василием Перовским. Поездка продолжалась девять дней. Мне было в то время четыре года, и впечатление от нее осталось самое пестрое.

Шоссе не существовало, только одни проселочные дороги с брусьями с правой стороны, воткнутыми просто в песок. Так мы тогда путешествовали! В Новгороде я впервые увидела женский монастырь. Игуменья Шишкина была восприемницей Мама во время ее перехода в нашу веру. В Торжке пользовалась заслуженной славой, благодаря своим действительно

превосходным котлетам, некто мадемуазель Пожарская. В Вышнем Волочке мы проехались каналом и осматривали шлюзы. В Твери мы с почтением посетили дворец, где жила великая княгиня Екатерина Павловна и где Карамзин читал ей свои первые труды по истории России. Там же мы видели комнату, в которой в 1812 году умер принц Георгий Ольденбургский, ее муж, жертва своих неустанных посещений госпиталей. Наконец, Москва. Кремль! Мое сердце билось. Пожар 1812 года, героическая борьба наших храбрецов – как близко было еще все это! Тогда я впервые и еще неясно ощутила, что значит Россия, Отечество.

Я была еще слишком мала для того, чтобы присутствовать на коронации Родителей в соборе, и могла видеть только отблеск пышного торжества в Грановитой палате, где Их Величества сидели на тронах и обслуживались высшими сановниками, в то время как остальные гости и члены дипломатического корпуса стояли и, принеся свои поздравления, пятились с бокалами шампанского в руках. Вокруг нас – необычного вида женщины в восточных одеяниях: татарки, черкешенки, жительницы киргизских степей. Все это было ново и непривычно. Восток, его люди и обычаи – все это привлекало любопытство чужеземцев и создавало вокруг древнего города, с его золотыми куполами и причудливыми башенками, блестящий ореол.

Недели пролетели в празднествах и развлечениях. Мама, принужденная беречься из-за своего хрупкого здоровья, приняла любезное приглашение графини Орловой-Чесменской переехать на ее дачу в пригороде Москвы. Там дышалось привольным деревенским воздухом, там можно было свободно бегать по саду, без того, чтобы собиралась толпа и приветствовала нас криками «ура!».

В сентябре, в день св. Елизаветы, полкового праздника кавалергардов, Мама впервые, как шеф этого полка, принимала парад. Она была и польщена, и сконфужена, когда Пана скомандовал «На-краул!» и полк перед ней продефилировал. Это было и неожиданно, и ново. Папа умел придать нужную раму общественному почитанию своей супруги, которую он обожал. Музыка играла марш из «Белой дамы», в то время модной оперы, и этот марш стал, в память этого события, полковым маршем.

Следующей осенью, 9 сентября 1827 года, родился Константин, второй, долгожданный сын. Он родился уже как сын Императора, в то время как мы, старшие, родились еще детьми не

венчанного на царство отца. К крестинам нам завили локоны, надели платья-декольте, белые туфли и Екатерининские ленты через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но – о разочарование! – когда Папа увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны! Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» Мы были очень опечалены. По просьбе Мама нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться? В глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь. Одеваться было мне всегда скучно. Мама или гувернантки заботились вместо меня об этом, и, только будучи замужем, чтобы понравиться моему мужу, я научилась украшаться, и то только оттого, что мне было приятно, если Карл находил меня красивой и хорошо одетой.

После смерти Государыни Елизаветы Алексеевны, супруги Императора Александра I, Мама стала во главе всех отечественных женских институтов. Во время строительства одного из домов, для этого предназначенных, детей поместили в Александровском дворце в Царском Селе. Мы часто ходили туда и играли и танцевали на газонах с девочками. Нам сшили форменные платья, какие носили они, коричневые камлотовые с пелеринками, передниками и нарукавниками из белого перкаля, нас поставили между ними по росту. Бабушка, которую мы хотели этим удивить, уверяла, что она нас не узнала, подняла меня за подбородок и спросила, как моя фамилия. Начальница, госпожа фон Вистенгаузен, немного сгорбленная, с нежными чертами лица и выражением печали и страданий, завоевала наши сердца. Дочь, оставшаяся ей после четырех схороненных детей, выглядела, как все больные и слабогрудые, прозрачной. Мама послала ей своего врача, ослиное молоко и оказывала ей всевозможное внимание. Но все было тщетно: она угасла некоторое время спустя. Мать пережила ее, еще более согбенная и еще больше покорная, добрый гений дома.

В 1828 году была объявлена война с Турцией. Папа последовал за войсками на Юг, Мама переселилась в Одессу, чтобы быть поближе к нему. Она взяла с собой только Мэри. Мы, четверо остальных, оставались в Павловске под крылышком Государыни-матери. Дядя Михаил Павлович, брат отца, был также в армии, а тетя со старшей дочерью (великая княгиня Елена Павловна, старшая дочь – великая княжна Мария Михайловна (1825–1846)) – в Италии. Бабушка приходила уже с утра, со своей гобеленовой вышивкой, в маленький деревянный дворец,

садилась в детской и принимала там доклады, в то время как мы вовсю резвились. Она изучала наши склонности и способности; Адини, проказница и ласковая, была «le bijou» (сокровище (фр.)), кузина Лилли (великая княжна Елизавета Михайловна (1826–1845)), очень прямая, немного вспыльчивая и похожая на мальчика, звалась ею «честный человек», я, скорее сдержанная и застенчивая, получила от нее прозвище «хорошая и спокойная Олли», а в один прекрасный день – «Председательница доброго совета для семьи». Я вспоминаю себя неразговорчивой, не слишком живой и резвой, но, невзирая на это, мои младшие сестры и братья меня любили. Мне постоянно приходилось быть судьей, когда они ссорились, и без лишних слов мне всегда удавалось восстановить мир. Любимцем между нами был, несомненно, наш Саша, «L'Angelo sympathico» (добрый ангел (ит.)) отца, как называла его Бабушка.

Она была очень деятельной. Каждую неделю ездила в Санкт-Петербург, чтобы навещать институты и госпитали, отдыхала немного в Смольном у старушки Адлерберг, своей лучшей подруги после княгини Ливен. Если приходила хорошая весть с театра военных действий, Бабушка заказывала обедню в Казанском соборе и ехала туда в золоченой карете, сопровождаемая своим маленьким внуком Сашей в гусарской форме. Никогда не забывала она привезти нам с собой гостинец. У меня до сих пор хранится привезенный ею браслет с камеей, изображающей отца.

С некоторых пор я перешла из ведения английской няни на попечение гувернантки Шарлотты Дункер, шведского происхождения и протестантского вероисповедания. Она не знала иной родины, как шведский монастырь в Санкт-Петербурге, в котором она девять лет была ученицей и девять лет учительницей. Образованная и строгая, она внушала мне уважение к работе. В пять лет я могла читать и писать на трех языках. Что же касается музыки, то тут ее строгость не повлияла на успехи. Тетя Мария Павловна Веймарская (сестра Папа), которая присутствовала на уроке, посоветовала оставить рояль: «У нее нет способностей», – сказала она. Я была необычайно горда, доказав ей в 1843 году противоположное, когда уже играла наизусть, что от меня требовалось, и аккомпанировала графине Росси (Зонтаг), когда она пела.

Моя кузина Августа Веймарская (теперь Императрица Германская) провела это лето 1828 года вместе со своей матерью в России; ей было только шестнадцать лет, но она уже появлялась

в обществе, хорошенькая девочка с ямочками, скорее пикантная, чем красивая. В Петербурге предпочитали красоту ее сестры Марии. Но Бабушка и некоторые господа придворные нашли, что у Августы есть уже и оригинальные идеи, несмотря на ее воспитание при маленьком немецком Дворе, с его узостью, сковывавшей даже повседневные разговоры и не допускавшей ни малейшего послабления этикета. В один прекрасный день, когда она была уже Императрицей (супругой Императора Вильгельма I), она рассказывала мне, сколько трудов ей стоило быть естественной при ее странном воспитании.

В октябре захворала Бабушка. Заботы об обоих сыновьях в действующей армии подорвали ее здоровье. Взятие крепости Варна затянулось, когда же наконец произошло ее падение – это было ее последней радостью. Она, не знавшая в течение 69 лет ни устали, ни нервов, стала жаловаться на усталость. Ее старый врач, доктор Рюль, только качал головой. Папа, извещенный об этой необычайной слабости, точно предчувствуя грозящую катастрофу, поспешил из Одессы, чтобы присутствовать при дне ее рождения 14 октября. Мы были у обедни в маленькой часовне Зимнего дворца, когда раздался его голос в передней. Мы бросились ему навстречу. Мама за нами, через несколько минут мы все вместе опустились на колени вокруг кресла больной. «Николай, Николай, неужели это ты?» – воскликнула Государыня, схватила его руки и притянула его к себе на колени. Никто не знает, почему и когда картины сплоченной семейной жизни запечатлеваются в детском сердце и когда они снова встают и захватывают его. Подробности эти кажутся незначительными, но как они сильны и негасимы! Такой осталась в моем сердце эта картина: Папа на коленях своей матери, старающийся сделать себя маленьким и невесомым.

Августа Мария Луиза Катерина Саксен-Веймар-Эйзенахская (1811–1890), германская императрица и королева Пруссии, супруга Вильгельма I

Десять дней спустя, 24 октября 1828 года, Государыня-мать скончалась в Зимнем дворце. Щедрость ее сердца превышала ее остальные качества. Добродетельная при Дворе, который разрешал все, верная супругу, который жил своей собственной жизнью, мать, окруженная уважением и подчинением, она, как Монархиня, заботилась об улучшении правления. С необычайной прозорливостью, например, привела она в порядок управление финансами России, создала в России первую Ссудную кассу, дававшую гарантии, и для доверия широкой публики она поместила туда свое и своих детей состояние.

После ее кончины Мама в тридцать лет стала во главе управления, которое, помимо женских и воспитательных учреждений, включало еще и промышленные предприятия, в свою очередь, дававшие капитал для содержания приютов. Мама писала Софии Бобринской: «Мысль о том, что я должна заменить нашу любимую матушку, такую энергичную и деятельную, давит меня: я такая слабая, не созданная для того, чтобы повелевать». Мама была совершенно иной, сравнивать их обеих было невозможно. В то время как одна была повелительницей, другая брала простотой и своею прелестью и скромностью. Казалось, что Мама говорила: что мы будем делать без Государыни-матери! Помогите мне! И каждый был готов сейчас же оказать ей всяческое содействие.

В 1828–1830 годах мои Родители жили в Варшаве из-за предстоявших там торжеств коронования и открытия сейма. Саша сопровождал Родителей в Варшаву, а потом в Берлин, где он был представлен своему деду, королю Фридриху Вильгельму III.

Мы оставались в Царском Селе, под надзором княгини Волконской, незначительной и очень некрасивой женщины, и князя Александра Голицына, старого друга семьи и бывшего пажа Императрицы Екатерины Великой. Его благодарная память сохранила все картины той эпохи, он был неистощимый рассказчик анекдотов, умел их хорошо рассказывать, и мы не уставали его слушать. Я искренне сожалею, что никто в нашем окружении не догадался записать его рассказы. Это были бы прекрасные комментарии к эпохе Великой Императрицы Екатерины.

Обедали мы всегда вместе. Маленького роста, в сером фраке, с палкой в руках и флаконом венгерского вина в кармане, появлялся он каждый вторник у моих Родителей. Он любил все

розовое, женщин в ожидании и табакерки, которые он собирал. Его салоны были увешаны портретами из времен Петра Великого и Екатерины II. В его доме была часовня, освещавшаяся через купол из желтого стекла, что всегда придавало ей вид залитой солнцем. Он жил уединенно, вдали от света, всегда был озабочен своим здоровьем и окружил себя друзьями, разделявшими его мистически-религиозные взгляды. Подобные настроения разделял с ним Император Александр I, бывший под сильным влиянием знаменитой баронессы Крюднер. Князь Голицын просил своих друзей честно сказать ему в старости, когда его ум начнет слабеть, для того чтобы вовремя от всех удалиться. Впоследствии я часто слышала повторение другими этой просьбы, но как-то никто не считался с намерением ее действительно выполнить, князь же Голицын по собственному побуждению вовремя удалился от света. У него было поместье в Крыму, и там он закончил свое земное существование. Ему грозила слепота, но с христианским смирением выдержал он операцию катаракты и благодарил от всего сердца Господа, когда снова смог увидеть свои горы, море и колодцы, расположенные крестообразно. Его последние годы были заполнены добрыми делами и чтением духовных книг.

Но возвратимся опять к нашему детскому столу, за которым он бывал ежедневно, пока Родители отсутствовали. Моя сестра Адини приветствовала его, она изображала хозяйку, принимавшую гостей, и оживленно болтала с ним. Ей и мне он подарил альбом с литографиями и подписался под посвящением «Prince aux Tabatieres» (Принц табакерок (фр).).

Он вел дневник о нас, который еженедельно посылался Папа. Тот отвечал со следующим фельдъегерем, письмами, на краях того же листа. Я не знаю, сохранились ли эти письма; они были снабжены рисунками и полны шуток.

В июле 1824 года воспитателем Саши был назначен Карл Карлович Мердер. Он был прирожденный педагог, тактичный и внимательный. Правилом его работы было развить хорошие черты ребенка и сделать из него честного человека. И этому правилу он оставался верен совершенно независимо от того, был ли его воспитанник простым смертным или великим князем. Таким образом он завоевал любовь и доверие ребенка. Он не признавал никакой дрессировки, не подлаживался под отца, не докучал матери, он просто принадлежал Семье: действительно драгоценный человек! Никто из тех, кто окружал нас, не мог с

ним сравниться. Судьбе было угодно, чтобы он не дожил до совершеннолетия Саши. Он умер в Риме в 1834 году.

Карл Карлович очень любил меня, маленькую и застенчивую. Он точно оценил искренность моих побуждений и взглядов: «Что она говорит, то она и делает: человек слова». Это определение принесло мне счастье.

Что же касается Жуковского (крупнейшего русского поэта), Сашиного второго воспитателя, этот был совершенно иным: прекрасные намерения, планы, цели, системы, много слов и абстрактные объяснения. Он был поэт, увлеченный своими идеалами. На его долю выпала незаслуженная слава составления плана воспитания Наследника престола. Я боялась его, когда он входил во время урока и задавал мне один из своих вопросов, как, например, во время урока Закона Божия: «Что такое символ?» Я молчу. «Знаете ли Вы слово «символ»?» – «Да». – «Хорошо, говорите!» – «Я знаю символ Веры, Верую». – «Хорошо, значит, что обозначает символ Веры?» Мне сейчас 59 лет, но этот вопрос привел бы меня и сегодня в смущение. Что могла ответить на это девочка! Жуковский читал выдержки из того, что он написал о воспитании, нашей Мама, которая после таких длинных чтений спрашивала его просто: «Чего вы, собственно, хотите?» Теперь был его черед молчать. Я склонна признать за ним красоту чистой души, воображение поэта, человеколюбивые чувства и трогательную веру. Но в детях он ничего не понимал.

При выборе учителей считались с советами пастора Муральта, возглавлявшего лучшее частное учебное заведение Петербурга. Благодаря прекрасным преподавателям и Мердеру с его практическим умом влияние Жуковского не принесло нам вреда. Потом, после того как он женился на Елизавете Рейтерн, я полюбила его. Благодаря ей он встречался со строгим протестантом Рейтерном и пылким католиком Радовицем. Он сам, православного вероисповедания, был малосведущ в делах своей Церкви. Он стал изучать православие, чтобы быть достойным противником в дискуссиях с ними. В то время Радовиц напечатал свой чудесный диалог о присутствии Господа Бога в Государстве и Церкви.

В то лето, когда у нас появился Мердер, Папа подарил нам остров около Петергофа. Саша и товарищи его соорудили там дом из четырех комнат с салоном, мы таскали кирпичи и делали дорожки через кустарники, где до тех пор жили только одни

кролики. Нам подарили лодки, для того чтобы мы научились грести. Матрос следил за нашей маленькой гаванью и учил нас морским обычаям. В кухне мы готовили настоящие обеды – я сама умела только тереть корицу для молочной каши. Небольшое возвышение было названо «Мысом доброго Саши», в этом видели счастливое предзнаменование.

По возвращении наших Родителей в Петергофе была освящена Александровская дача, Александровский Летний дворец. Участок – бывшие огороды стоявшего в Петергофе полка – был подарен моим Родителям Императором Александром I, знавшим их любовь к морскому побережью. Дом был снаружи совсем простой, в английском стиле, внутри же все отделано прекрасной панелью в старинном готическом стиле, во вкусе того времени, как это можно было прочесть в романах Вальтера Скотта или в рейнских средневековых сказаниях.

Осенью мы жили в Аничковом. Там мои Родители находили снова тихий покой своей молодости, который они так любили, вне всякого этикета. Часто, после утомительных дней приемов и маскарадов, они уезжали туда, чтобы быть вдвоем. Страстную неделю они проводили всегда в Аничковом. Там и мы все готовились к исповеди и причастию.

Вспоминается мне в то время один ноябрьский вечер. Мы только что были одеты в праздничные платья, чтобы ехать в Смольный институт, где воспитанницы так называемого Белого (старшего) класса ставили балет, как пришло известие, что экипажи отказаны, Мама не может ехать. Испуганные, мы побежали наверх, чтобы узнать, что СЛУЧИЛОСЬ. Камер-фрау не разрешила нам войти: «Государь читает Мама депеши, только что прибыл курьер из Варшавы с плохими известиями».

Это была польская революция 1830 года. За этим вечером последовала длинная, грустная зима, уход гвардейских частей и многое другое, печальное и мрачное. Вначале поляки побеждали нас, а после боев под Гроховом и Остроленкой русским войскам пришлось освободить всю польскую территорию, и только 7 сентября 1831 года они смогли снова взять Варшаву.

В наши учебные классы, в наш детский мирок проникало только слабое эхо событий. Адини и я часто болели в то время. Она страдала железами, у меня же был коклюш, и меня отделили в моей комнате вместе с Шарлоттой Дункер. Я не смела никого

видеть, но процветала переписка и обмен маленькими подарками с сестрами. Уроков не было, кроме чтения по-русски и английски, меня берегли, и я казалась себе очень интересной. Иной раз под вечер заходила Мама с Сесиль Фредерике и играла со мной в лото.

Весной пришли скверные вести с театра военных действий: эпидемия холеры в армии и смерть великого князя Константина Павловича. Мы едва знали его, я видела его всего два раза. Его голос был груб, брови щетинились, форма туго стянута в талии, отогнутые полы мундира были подбиты желтым. Он называл Мама «Мадам Николя» и часто приводил ее в смущение своими солдатски-грубыми манерами и речами. Но его братья относились с уважением к тем двадцати годам, на которые он был старше их. Уже позднее, из рассказов его современников, мне стала известна его личность. У него были качества полутатарского, полурусско-цивилизованного характера. По натуре добрый и великодушный, не стесненный правилами и узами морали, он поднимался иной раз до геройства, что доказывает его поведение во время пожара Москвы. Но в обыденной жизни он не мог отказаться от всяких соблазнов. Он окружал себя шутами и любил незаметно вплетать в салонные разговоры анекдоты. Похожие черты, если и не так ярко выраженные, выявлялись и у дяди Михаила Павловича. Обоим не хватало человеческого достоинства, которым в такой степени обладал Папа, той нравственной силы, которая возносит человека над самим собой.

Из оппозиции к Петербургу дядя Михаил хвалил свободную жизнь в Варшаве и прелесть и любезность польских дам, «от которых петербургским куклам нужно было только прятаться». Что же касается Константина Павловича и его пребывания в Польше, то Мама считала, что он заслужил быть повешенным, и называла его фрондером.

Саша получил титул Цесаревича, который оставался за Константином Павловичем, хотя он и отказался от престола. Его адъютанты поступили в распоряжение моего отца. Между ними были чужие и безродные, умные люди или просто красавцы, как, например, американец Монро или Безобразов, любимец всех дам. Вдова великого князя Константина Павловича, княгиня Лович, ангелоподобное создание, которая, казалось, только и жила для того, чтобы смягчить грубость своего мужа, была полькой и перенесла много страданий. Она бежала с ним вместе от польских инсургентов, поначалу таких удачливых, ухаживала за ним до последнего вздоха в Белостоке и приехала потом к нам в

Царское Село, где Родители приняли ее как сестру. Сломанная душой и телом от всего перенесенного, она не оправилась больше и скончалась как раз год спустя после революции, оплакиваемая теми немногими, в кругу которых она светилась своей добротой.

Холера быстро распространялась вдоль по Волге. Ее еще не знали в Европе и думали, что можно ее сломить, как чуму, средствами дезинфекции. Как только она добралась до Петербурга, Двор замкнулся в строгий карантин. Никто не имел права въезда в Петергоф. Лучшие фрукты этого особенно теплого лета выбрасывали, также салат и огурцы. Кадетские корпуса одели своих воспитанников во фланелевые блузы. Им посылался чай и вино. Мы, дети, не понимали опасности и радовались удлиненным каникулам ввиду того, что наши учителя не могли покинуть город. Папа выписал Сесиль Фредерикс с семьей из Финляндии, чтобы развлечь Мама. Она была урожденной руровской, ее мать, урожденная Бишофсвердер из Пруссии, выросла при Дворе в Берлине. Мама знала ее со своих девичьих времен. В день ее свадьбы ее муж был произведен в адъютанты Папа, и они вместе жили в Аничковом. Почти всегда в ожидании очередного ребенка, она проводила свои вечера с Мама, в то время как мужья занимались верховой ездой или военными разговорами. Когда Фредерикс ПОЛУЧИЛ полк, они должны были переселиться в одну из казарм Московского полка. Там во время бунта декабристов он был ранен, когда пытался остановить своих офицеров. Он получил сабельный удар по голове и упал замертво на землю. Сесиль все видела из окна, от испуга ей сделалось дурно. С этого дня дружба Мама к Сесиль еще больше укрепилась, Сесиль была бесконечно предана Мама.

Фредериксу был предначертан полнейший успех его карьеры. Он умер в чине обер-шталмейстера, честный человек, правда, немного ограниченный, но всегда добрый к своим подчиненным. Сесиль же была человеком особого склада. Очень красивая, с волосами цвета воронова крыла с синим отливом; слишком естественная для того, чтобы быть элегантной, с прирожденным умом, всегда готовая все воспринять. Когда ее положение подруги Мама стало очевидным и считалось утвержденным, ей стали льстить и под нее подлаживаться. Это же полностью обрисовало ее подлинный облик. Она не позволяла себе ни покровительствовать фаворитам, ни передавать слухи, какого бы они ни были характера. Никогда она не была обременительной, хотя могла свободно входить к нам, когда хотела, и Папа, и мы, дети, любили ее в одинаковой степени. Она пользовалась нашим

доверием, знала о наших планах и маленьких заговорах и умела незаметно удалять нас из комнат Родителей, когда мы слишком шалили. С Папа она обращалась совершенно свободно и не боялась даже строго побранить его, если считала, что он недостаточно бережет Мама и не замечает ее потребности в покое. В такие минуты он становился совсем смиренным и кающимся, покуда не начинал смеяться, схватывал Сесиль в свои объятия и раскачивал ее как ребенка. Она охотно принимала на себя обязанности дежурной фрейлины; это было единственным влиянием, которое она себе разрешала. Подрастая, мы, дети, имели в ней верного друга, такого же справедливого, как и великодушного. Для Мама же она была долгие годы неиссякаемым источником помощи во всех обыденных делах, сочувствием ли или словом и делом. Она приходила к Мама каждый раз, когда ее переодевали к приему при Дворе, и после таких приемов она еще сама шла куда-нибудь в общество. Она уже в молодые годы бросила танцы, но ее очень любили как собеседницу. С гидами и заботами, которые принесли ей ее дети, она перестала любить общество. После смерти своего сына Димитрия она приняла православие. Этот шаг она уже давно обдумывала. Четыре ее сына были православными, и она надеялась таким образом быть ближе к душе своего любимого Димитрия.

«Вдовствующая императрица Александра Федоровна». Художник Франц Винтерхальтер. 1856 г.

Мама не разделяла взглядов Сесиль ввиду того, что не нуждалась в такой степени, как та, в утешении Церкви. С тех пор посещения церкви стали помехой для ее частых визитов к нам. Богослужения и посты, исповедь и посещение монастырей – всему этому Сесиль отдавалась с жаром; это было для нее потребностью и удовлетворением, в то время как Мама это считала скорее

святошеством и внутренне, может быть, даже осуждала. После живейших споров, которые со стороны Сесиль, может быть, были слишком упорными, с обоюдного молчаливого согласия решено было не трогать больше этих вопросов. Мы стали меньше видеться, и привычки изменились, когда обе начали прихварывать. Мама сохранила свой интерес к молодежи, в сущности, она, несмотря на возраст, оставалась юной и веселой. Сесиль, которая прежде, может, сильнее израсходовалась, чувствовала потребность во внутреннем покое. Прелести и развлечения ее прежней жизни истощились, и ее опустошенная душа искала покоя и поддержки. Отсюда и ее потребность к покаянию и аскетизму. Последние годы ее жизни были грустными: в семье царствовал раздор и отсутствовало внимание друг к другу. Только ее младшая дочь Маша оставалась при ней. Мучительная болезнь прекратила существование Сесиль в мае 1851 года. Она умерла христианкой и была стойкой до конца. Никто из ее детей не походил на нее.

1831 год

В то лето 1831 года, когда холера удерживала нас в Петергофе, там же поселилась семья графа Виельгорского, возвратившаяся из-за границы. Дети, три прелестные девочки и два мальчика, стали товарищами игр и впоследствии нашими хорошими друзьями. Граф Виельгорский, будучи свободным художником, объединял в своем доме всех, кто был предан искусству, русских и иностранцев, поэтов, художников и музыкантов; многие стремились в его дом потому, что там можно было слышать прекрасную музыку, или только оттого, что считалось хорошим тоном бывать у него. Все всегда находили там радушный прием. Граф был доброжелательным человеком, но несколько поверхностного образования, масон и бонвиван; он был свой как в самых изысканных салонах, так и в кругу веселящихся повес, на пиру которых он, с бокалом шампанского в руке, пел зажигательные цыганские песни у ног какой-нибудь красавицы. Прекрасно читая и декламируя, он постоянно держал Мама в курсе современной литературы. Он умел скользить поверх предосудительных вещей.

Насколько мы, дети, любили его, настолько же не любили его жену. Она обращалась со своим мужем как с маленьким ребенком. Она была урожденной принцессой Бирон-Курляндской, католичкой, очень добродетельной безо всякой прелести и считала себя выше своего мужа. Она была женщина необыкновенно остроумная, ее язык жалил, как укус насекомого. После каждого злобного замечания она облизывала губы, точно для того, чтобы спрятать самодовольную улыбку. При этом она была то, что называется дамой с заслугами: сама, без гувернантки, следила за воспитанием своих детей и всегда сопровождала своих дочерей, если они приходили к нам. При этом от нее никогда не укрывалось ничего, что можно было бы не одобрить; замечания шепотом делались нашей няне Барановой, которая легко поддавалась ее влиянию. Потом замечания делались нам, к нашему большому неудовольствию, ведь мы знали, с какой стороны они исходили.

Наряду с очень строгим воспитанием, с другой стороны, нам предоставляли много свободы. Папа требовал строгого послушания, но разрешал нам удовольствия, свойственные нашему детскому возрасту, которые сам же любил украшать какими-нибудь неожиданными сюрпризами. Без шляп и перчаток

мы имели право гулять по всей территории нашего Летнего дворца в Петергофе, где мы играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазили по веревочным лестницам трапеций или же прыгали через заборы. Мэри, самая предприимчивая из нашей компании, придумывала постоянно новые игры, в то время как я, самая ловкая, их проводила в жизнь. По воскресеньям мы обедали на Сашиной молочной ферме со всеми нашими друзьями, гофмейстерами и гувернантками, за длинным столом до тридцати приборов. После обеда мы бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Какое чудесное развлечение! Но графиня Виельгорская находила такие игры предосудительными, так же как и наше свободное обращение с мальчиками, которым мы говорили «ты». Это было донесено Папа: он сказал: «Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных».

Наши комнаты в Летнем дворце, находившиеся вблизи от Папа, были очень маленькими. Мы проводили большую часть дня на балконах, которые нам служили и классами, и столовыми. Папа вставал летом в семь часов утра и, в то время как одевался, пил свои стакан мариенбадской воды, потом шел гулять с верным пуделем, а часто и в обществе Чичерина и Орлова, в Монплезир, чтобы выпить там свой второй стакан минеральной воды. После этого он садился в экипаж и с Эрдером, своим любимым садовником, осматривал работы в парке. Ровно в девять часов он уже был в Петергофском дворце, на докладе министров.

Это длилось до обеда; затем следовали до двух часов осмотр караулов, парады или же представления чиновников. Но когда за ним закрывались ворота нашего Летнего дворца, все заботы государства и власти оставались позади, и он предавался только радостям семейной жизни. В то время это еще было возможно, оттого что телеграф и железная дорога не перекрещивались с жизнью; почта из-за границы приходила только по средам и субботам, мы были ограждены от неожиданностей, которые в наше время, начиная с 60-х годов, так изнашивают нервы и характер.

Во время нашего карантина Мама была в последней стадии ожидания, которое ей причинило много беспокойства и волновало недобрым предчувствием. Папа, очень обеспокоенный этим, отказался от всех путешествий, даже от всяких поездок. В один прекрасный июльский день этого лета, который был удушлив как никогда и в который солнце светило красным

отблеском в сером чаду, пришло известие из Петербурга, что там поднялся бунт.

В отчаянье от холерной эпидемии, уносившей ежедневно до трехсот жертв, чернь восстала против врачей и начала их избивать, уверяя, что они отравляют больных. Папа сейчас же сел в свою коляску и, сопровождаемый Орловым, поехал прямо к рынку на Сенной площади. Его неожиданное появление оказало магнетическое действие. Все головы обнажились. «Дети, – воскликнул он своим низким, звучным голосом, покрывшим мгновенно гул толпы, – дети, что вы делаете? На колени – ваш Государь требует этого, на колени и просите у Господа прощения». И толпа, только что бунтовавшая, встала, рыдая, на колени. С этого дня порядок больше не нарушался. Через несколько часов Папа вернулся в Петергоф, взял ванну, переменил одежду и появился вовремя к столу, так что Мама не заметила его длительного отсутствия.

27 июля 1831 года легко и безболезненно появился в Царском Селе третий сын моих Родителей, и Мама быстро оправилась после этих родов. Ребенка назвали Николаем – он родился в день Св. Николая Новгородского. Вскоре после этого семейного события горизонт прояснился. Штурм Варшавы закончил польскую кампанию, Папа опять повеселел и стал принимать участие в наших летних играх на воздухе. В Царском Селе наша компания еще увеличилась благодаря детям соседей. Но мы предпочитали свои увеселения в небольшой компании, прогулки и поездки, цель которых почти всегда была молочная ферма в Павловске, где мы любили пить молоко. Мы ездили в одной коляске, называвшейся «линейкой», таких не видно больше теперь. Она походила на канапе «dos a dos» (спина к спине (фр.) и имела восемь мест, которые были расположены так низко, что можно было легко, без посторонней помощи, влезать и слезать. В Павловске толстая экономка родом из Вюртемберга угощала нас черным хлебом с маслом, картофелем, отваренным с луком, и сопровождала такие закуски маленькими рассказами о нашей Бабушке.

Если я не ошибаюсь, то именно этим летом в Петербург приехала певица Генриетта Зонтаг. Прекрасная как цветок, с голубыми глазами и прелестными губами, которые во время пения обнажали два ряда мелких безупречных зубов, она вызывала восхищение, где бы ни появлялась. Она пела как-то днем у Мама по-немецки и сама аккомпанировала себе.

Нам пообещали посещение царскосельского театра в одно из воскресений, если мы будем иметь хорошие отметки в течение недели. Наступила суббота, мои отметки были лучшими, а у Мэри ужасные. Решили, что ни одна, ни другая в театр не пойдут, чтоб не срамить Мэри, старшую. Я смолчала, но в глубине души была возмущена, считая, что меня можно было, по крайней мере, спросить, согласна ли я принести эту жертву моей сестре. В следующую субботу та же история! В этот момент Папа неожиданно вошел в комнату и сказал:

– Олли, иди! – Я была совершенно взбудоражена, когда узнала, что меня в театр все-таки возьмут. Давали «Отелло»; это была первая опера, которую я слышала.

Если Мэри плохо училась, несмотря на свои хорошие способности, то помимо ее детского легкомыслия это было виной мадам Барановой, не имевшей и тени авторитета. Очень добрая, очень боязливая, в частной жизни обремененная заботами о большой семье, на службе, кроме воспитания Мэри, еще и ответственная за наши расходы и раздачу пожертвований, она не умела следить за порядком в нашей классной. Каждую минуту открывалась дверь для гостя или лакея, приносившего какую-либо весть, и Мэри пользовалась этим нарушением, чтобы сейчас же вместо работы предаться каким-нибудь играм. Этому недостатку строгости и дисциплины можно, вероятно, приписать то обстоятельство, что Мэри и позднее не имела определенного чувства долга. Мадам Барановой не хватало чуткости, чтобы вести ее. Она только выходила из себя, держала длинные речи, которые Мэри в большинстве случаев прерывала каким-нибудь замечанием. Слишком хорошенькая, слишком остроумная, чтобы вызывать неудовольствие своих учителей, она могла бы, если б с ней правильно обращались, преодолеть все препятствия и быстро наверстать потерянное. Сесиль Фредерике часто говорила ей: «Мэри, что могло бы из Вас получиться, если бы Вы только хотели!»

Поскольку я рассказываю только о том, что сама помню, в этих рассказах из детских лет остается мало места для политики. Однако два обстоятельства я все же должна упомянуть. Одно из них – визит шведского наследника, сына Бернадота, в июле 1830 года. Это считалось событием, оттого что с 1796 года ни один шведский принц не посещал нашего Двора после того, как разошлась свадьба между Густавом Адольфом IV и великой

княжной Александрой Павловной.

Второе – визит персидского посольства. Это дало повод для высшей степени торжественной аудиенции: Их Величества перед троном, мы ниже их на ступеньках, полукругом сановники, Двор, высшие чины армии – все это наполняло Георгиевский зал с проходом посреди, который обрамлялся двумя рядами дворцовых гренадер. Двери распахнулись, вошел церемониймейстер со свитой, и, наконец, показался Хозрев Мирза, сын принца Аббас Мирзы, сопровождаемый старыми бородатыми мужчинами, все в длинных одеяниях из индийского кашемира, с высокими черными бараньими шапками на головах. Три низких поклона! Потом Хозрев прочел персидское приветствие, которое Нессельроде (тогдашний министр иностранных дел) передал Государю в русском переводе. На него отвечал Государь по-русски.

Несколько раз еще при Дворе видели этого персидского принца не старше пятнадцати лет: он завораживал дам своими чудными темными глазами, он развлекался в театрах, на балах и не знал больше четырех слов по-французски, которые он употреблял смотря по обстоятельствам: «совершенно верно «говорил он мужчинам и «очень красиво» – дамам. Десять лет спустя, во время дворцового переворота, ему выкололи глаза, эти бедные, в свое время так всех восхищавшие глаза.

Императрице поднесли прекрасные подарки: персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами. Я еще не упомянула четырехрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Мама охотно носила его на торжественных приемах, и я его от нее унаследовала.

Революция в июле 1830 года во Франции и падение Бурбонов вызвали у нас большое волнение. Законность была для нашего отца то же, что легитимность. Французские дети были одного возраста с нами.

Карл X просил руки одной из нас, сестер, для Герцога Бордоского, мы знали рассказы Буйи, посвященные этим детям, и вдруг – они оказались в изгнании в Холейруде, напоминавшем нам несчастную Марию Стюарт! О революции в Бельгии мы слышали только в связи с тем, что сестра Папа, которая там была

замужем, должна была покинуть свой чудесный дворец в Брюсселе, наполненный ценными вещами из Михайловского дворца в Петербурге. Героическая защита крепости Антверпена упоминалась очень часто, и портрет защищавшего ее генерала был выставлен в городских витринах.

1832 год

Зима была прекрасной, не омраченной никакими событиями, с массой веселых развлечений для взрослых. Наши еще молодые Родители охотно бывали в обществе, и Мама, которой «ожидание» так часто мешало танцевать, наслаждалась этим. Устраивались зимние игры, поездки на санках с ледяных гор, парадные обеды, на которых разыгрывались партнеры для санок на следующий день, и Мама и Сесиль часто нам со смехом рассказывали об этих развлечениях. Мы с восторгом слушали их, тем более что в эту зиму Адини и я должны были часто оставаться в постели из-за простуды, занимаясь, главным образом, рисованием и вырезыванием бумажных кукол.

Было и несколько свадеб при Дворе, среди них и свадьба фрейлины Сашеньки Россет с адъютантом Смирновым. Эта красивая и остроумная брюнетка известна в литературных кругах своей дружбой с Жуковским и Гоголем. С годами ее остроумие сменилось горечью, она считалась сумасбродной и редко возвращалась к светлым часам.

В тот год у Мама было двенадцать фрейлин, включая тех, которых она получила от Бабушки. В деревню нас сопровождали только молодые, старшие оставались в Зимнем дворце. Мы, дети, знали их всех хорошо. Дежурная фрейлина должна была в обеденное время быть у Мама, чтобы принять приказания на день. Между ними была маленькая, пожилая мадемуазель Плюскова, отпугивавшая нас своими ледяными руками, тем более что, захватив руку в свою, она долго ее не отпускала. Она была крайне бдительна, часто наблюдала за нами в дверную щель и была к тому же еще дружна с графиней Виельгорской. Она была неравнодушна к баталисту Ладюрьеру и часто навещала его в его ателье в Эрмитаже. Как только о ней докладывали, чтобы ее спугнуть, он начинал бить в барабан. Своим успехом он хвастался у Папа, который очень над этим смеялся.

Когда с приближением зимы мой кашель не прервался, а распухшим гландам Адини не стало лучше, доктора предложили отправить нас на морские купанья в Доберан, расположенный в Мекленбурге, где сестра Мама, тетя Александрина смогла нас взять под свое покровительство. Мысль отправиться за границу без Родителей нас совершенно не радовала. Нас погрузили на «Ижору», единственное судно Балтийского военного флота,

имевшее ход девять узлов. Папа провожал нас до Ревеля. Не доходя до города, нам дали знать, что идет почтовый пароход из Любека. Весть для нас? Да! Мы остановились; Папа открыл депешу и побледнел: холера в Доберане! «Назад!» Возвращение! Какое счастье! Так думали мы. Но нет! Судно берет направление на Ревель, не возвращаясь в Петербург. Папа решил, что мы останемся в Екатеринентале (дворец), где нас устроили наспех.

Потом в этом первом приключении нашей жизни открылась своя прелесть. Папа поспешил возвратиться в Петербург, чтобы успокоить Мама, и передал нас на попечение князя Василия Долгорукого и его адъютанта, который был командиром нашего судна. Его звали Литке, и он только что вернулся из кругосветного путешествия. Нам было ново и интересно наблюдать за тем, как он себя вел, так как он был молчалив и неопытен в придворном быту. Особенно же велико было смущение нашей Юлии Барановой в этих импровизированных обстоятельствах.

Экипажный и кухонный персонал были быстро организованы, началась регулярная домашняя жизнь, выстроили мол, и на десятый день мы могли выкупаться в море, что привело Адини и меня в восторг, в то время как Мэри, которая отчаянно мерзла, должна была от купанья отказаться. Мы приняли тридцать морских ванн, и успех был налицо. Маленький дворец в Екатеринентале был построен Петром Великим. Там росли чудесные каштаны, собственноручно им посаженные. Зал рококо в бельэтаже имел террасу вдоль главного портала, с которой можно было попасть в верхний сад. Этот сад был отведен для нас, в то время как остальная часть парка была открыта для публики.

Кадриорг (Екатериненталь, долина Кадри) – барочный дворцово-парковый ансамбль в Таллине. Свое название Екатериненталь получил в честь супруги Петра I – Екатерины I

По воскресеньям там играл военный оркестр. Нам надевали наши красивейшие платья, шляпы, подбитые розовым муслином, и рука об руку мы должны были проходить через публику, собравшуюся, чтобы видеть царских детей. Должна сказать, что мне было гораздо приятнее смотреть самой, чем давать себя разглядывать. Такие прогулки были обязанностью.

Мы должны были также принимать сановников: военного губернатора Палена, гражданского губернатора Бенкендорфа, коменданта Паткуля, отца Сашиного друга детских игр, которому мы сделали визит, посетив его прекрасный загородный дом, расположенный на высоте над городом. Там было целое гнездо детей и внуков, и делалось все, чтобы развлекать нас. Между прочим, у них состоялся в нашу честь деревенский праздник с играми и танцами, девушки в красивых национальных костюмах, юноши – скорее некрасивые, с длинными белесыми волосами. Капитан Литке передал нас на это время под покровительство некоего господина де Россильона, швейцарца по происхождению, любезного старичка, умевшего самым веселым образом поучать нас. Когда он появлялся у нас по утрам с букетом роз, мы уже бежали ему навстречу. С его программой дня мы всегда были согласны. Он водил нас к «длинному Герману» и «Толстой

Маргарите» – городским башням; показывал нам Клуб Черноголовых с залом, где висели гербы эстляндского дворянства, и рассказывал о монастыре Св. Бригитты и легенду его зарождения.

25 июня в Екатеринентале был молебен с парадом войск. Выстроился Невский пехотный полк, и раздавали медали в память Турецкого похода. Эта военная сцена захватила нас и привела в восторг.

Через несколько дней мы прервали нашу ревельскую жизнь, чтобы со всеми вместе праздновать в Петергофе рождение Мама. Вечером был феерический балет в саду Монплезира перед бьющими фонтанами, освещенными бенгальским огнем. До августа мы еще оставались в Ревеле, чтобы потом последовать за нашими Родителями в Царское Село.

В то время опять входило в моду все китайское. Некто мадемуазель Флейшман учила нас рисованию в китайской манере, а также изготовлению лакированных работ и вышивке золотом по черному шелку. Многие дамы Двора собирались у Мама, чтобы украшать таким образом столики, стулья и ширмы. Старая графиня Бобринская, которая отличалась изобретательностью, придумала занимать грубые пальцы мужчин вырезаньем из персидских материй цветов с крупным узором, которые потом наклеивались на стекло для ширм. Целый зал в Александровском дворце был декорирован в этом новом вкусе; стали также ставить мебель посреди комнат, вместо того чтобы выстраивать ее, как прежде, по стенам. Кроме бильярда, рояля и ломберных столов в зале могли уместиться, по крайней мере, сто человек.

В конце сентября мы переехали в Зимний дворец, а 13 октября у Мама родился четвертый сын, ее последний ребенок, названный Михаилом. Он и Низи (Николай), которые назывались «маленькими братьями», долго оставались вместе, как близнецы. Они действительно были драгоценностями для нас, эти маленькие Веньямины! Каждый вечер, в час их купанья, вся семья собиралась в их детской. Они были первыми, пробудившими во мне материнские чувства, кроме того, как крестная мать Михаила, я чувствовала себя в свои десять лет ответственной за них обоих. В этом году в день моего рождения старая прусская камер-фрау Мама сказала мне: «Олечка, теперь начинаются двойные числа, от которых Вы уж не избавитесь». Как это верно!

Разве только что исполнится сто лет.

Зима 1833 года

Итак, все мы, семеро, были уже на свете, и наступает момент, когда я хочу описать нашу семейную жизнь, тепло очага, которое священно и неисчерпаемо и благословляет на всю последующую жизнь.

Мне очень трудно передать, что дала Мама моему детскому сердцу. Она была именно Матерью, и описать это невозможно. С ней мы чувствовали себя дома, как в раю. Каждую свободную минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю. Единственное, что мы иногда слышали, – это «Будьте чуточку спокойнее», в то время как Вилламов или Лонгинов, секретари Благотворительного общества, бывали у нее на докладе. Обычно она сидела за своим большим письменным столом, занимаясь корреспонденцией, и в это время мы свободно могли играть у нее в кабинете. Это была красивая угловая комната с видом на Неву, обтянутая зеленым с амарантом штофом, всегда наполненная цветами. Мама любила одеваться в светлое, по утрам же всегда в белый вышитый перкаль с душегрейкой из кашемира или бархата. Я не помню ее иначе, как веселой, доброй и всегда в одинаковом настроении. Ей не надо было ни под кого подлаживаться, ничего прятать. В прелести и простоте своего существа она была недоступна ничему злому. Я помню, как одна дама высоких нравственных качеств так была захвачена ее существом, что долго раздумывала над причиной этой прелести. Было ли это привычкой приветливо обращаться с людьми, женской прозорливостью или же расчетом и желанием обворожить? В конце концов, она пришла к убеждению, что Мама держала себя совершенно естественно, и она склонилась перед этой простой добротой, которая была сильнее всех духовных сил. Эта дама была баронессой Мейендорф, урожденной графиней Буль, проведшей свою жизнь в утонченных дипломатических кругах.

Если Мама и не была тем, кого называют «femme d’esprit» (женщина редкого ума (фр.)), то она имела способность очень тонко оценивать людей и вещи, и ее мнение, если о нем спрашивали в серьезных делах, бывало всегда поразительно верно. Однако главное ее назначение – быть любящей женой, уступчивой и довольной своей второстепенной ролью. Ее муж был ее водитель и защитник, пользовался ее абсолютным доверием, и единственное, что утоляло ее тщеславие, – это сознание, что он счастлив. Удалось ли ей сделать его счастливым? Прощальные

слова моего отца, обращенные к ней перед смертью, пусть будут этим ответом: «С первого дня, как я увидел тебя, я знал, что ты добрый гений моей жизни».

Что касается общения с нами, детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь, и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе и не могло быть. Если Мама уезжала, мы становились как потерянные. И тем не менее я не могу сказать, чтобы она занималась нами. Может быть, сильное впечатление производил пример ее жизни. Только когда я сама была уже замужем, я поняла, что значит иметь такой пример перед глазами. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что-то от ее существа захватывало и нас, и в те вечера, когда мы стояли у рояля и слушали игру и пение, мы учились глазами и ушами, без длинных тирад, тому, как надо себя вести с людьми. В ее личности было что-то обезоруживающее. Окруженная роскошью, она никогда не позволила бы себе подпасть под влияние чрезмерной элегантности или пышности. Ее единственной искренней потребностью, которую она себе разрешала, было то, что время от времени ей приносили и затем меняли картины из Эрмитажа. Потом Папа заказал для нее копии тех картин, которые она особенно любила.

Распределение дня Мама не было регулярным из-за ее многочисленных обязанностей и различных визитов, которые она должна была принимать. Вход к ней был свободен для князя Волконского, на обязанности которого лежало обсуждение с ней приглашений на балы, а также выбор подарков к крестинам и свадьбам; и – для генерал-адъютантов и флигель-адъютантов. Все они, а также и некоторые привилегированные друзья, дамы и кавалеры, могли приходить к ней без того, чтобы стоять в списке. Они приходили уже с утра, чтобы выпить с Мама чашку шоколада в то время, как обсуждалось необходимое. По воскресеньям, после обедни, представлялись мужчины, по вечерам – дамы. В большинстве случаев их бывало от сорока до пятидесяти человек: матери, которые привозили представляться своих только что вышедших замуж дочерей, дамы, приезжавшие прощаться перед каким-нибудь отъездом, или такие, которые благодарили за очередное производство их мужей, все они в придворных платьях с длинными шлейфами. Это были утомительные обязанности. Мама была освобождена от них только после того, как сдало ее здоровье. Нам, детям, доставляло громадное удовольствие, если

мы иногда вместе с Папа могли наблюдать через дверь. При этом Папа делал знаки рукой некоторым хорошим знакомым.

По вечерам ходили во французский театр, ансамбль которого привлекал знатоков, а также и тех, кто любил блестящее общество. Папа, после шестнадцатилетнего брака все еще влюбленный в Мама, любил видеть ее нарядно одетой и заботился даже о мелочах ее туалета. Бывали случаи, что, несмотря на все ее протесты, ей приходилось сменить наряд, потому что он ему не нравился. Это, правда, вызывало слезы, но никогда не переходило в сцену, так как Мама сейчас же соглашалась с ним, и Папа, немного смущенный и сконфуженный, усиливал свою нежность к ней.

В определенные дни недели нам читали в Сашиной библиотеке французских классиков, особенно Мольера, актеры французского театра. Я вспоминаю при этом уже сильно пожилую мадам Бра, неподражаемую в характерных ролях, которая приводила в восторг и потешала Папа и дядю Михаила. Вся французская труппа занимала дом на Крестовском, на берегу Невы. Часто, отправляясь кататься, мы останавливались под балконом, и Папа звал: «Мадам Бра, вы дома?» Старая дама пышных размеров сейчас же появлялась, и начинался шуточный диалог. Папа смеялся до слез, в то время как Мама не очень одобряла скабрезные шутки в нашем присутствии.

И, несмотря на это, были и такие добродетельные дамы, которые обвиняли Мама в легкомыслии и фривольности! Никогда не угодишь всем на свете. Эти дамы жаловались Московскому митрополиту Филарету, что Мама, вместо того чтобы думать о спасении души, только и делает, что танцует и гоняется за развлечениями. На что тот возражал: «Возможно, но я думаю, что она, танцуя, попадет в рай, в то время как вы еще будете стучаться в дверь».

Я помню, что после недель светских развлечений Мама испытывала потребность в покое и серьезных разговорах. Пользуясь поездками Папа в Кронштадт или в другие места, она приглашала к себе Софи Бобринскую. Это была одна из тех ее подруг, которая внутренне более всех ей подходила. Софи Бобринскую знали немногие ввиду того, что она редко бывала в обществе, но эти немногие ценили ее. Я никогда не слышала от нее ни одного пустого слова, и если я, будучи ребенком, и не могла следить за тем, о чем они говорили с Мама, то все же я

чувствовала что-то необыденное в ее разговорах и мыслях. Если Мама брала нас с собой, чтобы навестить ее, это было для нас всегда большой радостью. Когда она приезжала в Зимний дворец, Мама запиралась с ней в красном кабинете. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились разные ценные вещи. Там был мраморный бюст Королевы Луизы Прусской, портреты Императора Александра I, Бабушки и других родственников, а также разные предметы, которыми они пользовались при жизни, как, например, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой часто Адини и я тайком пробирались туда, становились на колени перед семейными реликвиями и целовали портреты предков, усердно молясь перед ними. Страх быть пойманными и выбраненными, вероятно, еще усиливал потребность к этим тайным богомольям, благодаря которым мы научились молиться непосредственно от сердца.

Наше религиозное воспитание было скорее внешним. Нас окружали воспитатели-протестанты, которым едва были знакомы наш язык и наша церковь. Мы читали в их присутствии перед образами «Отче Наш» и «Верую», нас водили в церковь, где мы должны были прямо и неподвижно стоять, без того чтобы уметь вникать в богослужения. Чтобы не соскучиться, я повторяла про себя выученные стихотворения. Наш первый преподаватель Закона Божия и духовник, о. Павский, читал нам Евангелие, не давая ничего нашему детскому представлению, и только позднее о. Бажанов стал объяснять нам Богослужение, чтобы мы могли следить за ним. Вероятно, из оппозиции к религиозному безразличию нашего окружения в нас, детях, развилось сильное влечение к нашей православной вере. Благодаря нам наши Родители выучились понимать чудесные обряды нашей Церкви, молитвы праздников и псалмы, которые в большинстве случаев читаются быстро и непонятно псаломщиками и которые так необычайно хороши на церковнославянском языке.

Для Папа было делом привычки и воспитания никогда не пропускать воскресного Богослужения, и он, с открытым молитвенником в пуках, стоял позади певчих. Но Евангелие он читал по-французски и серьезно считал, что церковнославянский язык доступен только духовенству. При этом он был убежденным христианином и глубоко верующим человеком, что так часто встречается у людей сильной воли.

В религиозных представлениях Мама преобладающими оставались впечатления ее протестантского воспитания. В нашей

религии для нас радостью и утешением были только молитвы об умерших, оттого что они теснее соединяли ее с покойной матерью. Ни Богослужения, ни молитвы не могли умилить ее до слез. И все же кому случалось быть свидетелем того, как Мама с Папа готовились к Причастию, тот обнаружил бы, до какой степени верующими они были. В эти дни Папа был преисполнен детски-трогательного рвения, Мама же была скорее сдержанная, но без налета всякой грусти.

В последний день старого года неизменно приезжал митрополит Серафим с монахами Александро-Невской лавры, певшими нам хором чудесное Славословие. После этого Родители собственноручно обносили их закуской и вином.

После страниц, посвященных Мама, я хочу вспомнить и о Папа.

Он любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и по-настоящему ел только раз в день, запивая водой. Чай ему подавался в то время, как он одевался, когда же он приходил к Мама, то ему подавали чашку кофе с молоком. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и иногда съедал соленый огурец. Он не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты; его единственной страстью была военная служба. Во время маневров он мог беспрерывно оставаться восемь часов подряд в седле без того, чтобы хоть закусить чем-нибудь. В тот же день вечером он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости.

Его любимой одеждой был военный мундир без эполет, протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда по вечерам он приходил к Мама, он кутался в старую военную шинель, которая была на нем еще в Варшаве и которой он до конца своих дней покрывал ноги. При этом он был щепетильно чистоплотен и менял белье всякий раз, как переодевался. Единственная роскошь, которую он себе позволял, были шелковые носки, к которым он привык с детства. Он любил двигаться, и его энергия никогда не ослабевала. Ежедневно во время своей прогулки он навещал какое-нибудь учреждение, госпиталь, гимназию или кадетский корпус, где он часто присутствовал на уроках, чтобы познакомиться с учителями и воспитателями. Кроме докладов министров и военных чинов, он принимал также и губернаторов, умея так поставить вопрос, что всегда узнавал правду. Он не выносил тунеядцев и лентяев.

Всякие сплетни и скандалы вызывали в нем отвращение. Когда он узнавал, что какой-нибудь сановник злоупотребил его доверием, у него разливалась желчь, и ему приходилось лежать. Подобным образом действовали на него неудачные смотры или парады, когда ему приходилось разносить (делать выговоры перед строем). То, что казалось в нем суровым или строгим, было заложено в характере его безупречной личности, по существу очень несложной и добродушной.

1834 год

Опять встают передо мной картины нашей детской жизни. В память моего посещения монастыря в Новгороде игуменья Шишкина подарила мне крестьянскую избу, внутренность которой была из стекла, а мебель расшита цветным бисером. Кукла с десятью платьями, изготовленными монахинями, находилась в ней. Почти одновременно с этим подарком Папа подарил нам двухэтажный домик, который поставили в нашем детском зале. В нем не было крыши, чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик мы любили больше всех остальных игрушек. Это было наше царство, в котором мы, сестры, могли укрываться с подругами. Туда я пряталась, если хотела быть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояле, а Адини играла в какую-нибудь мною же придуманную игру. По возрасту я была между ними обеими: на три года моложе Мэри, на три года старше Адини – и часто чувствовала себя немного одинокой. Я начала уже отдаляться от мирка игр Адини, в то время как не могла еще подойти к миру взрослых, к которому в свои четырнадцать лет уже принадлежала Мэри. Мои сестры были жизнерадостными и веселыми, я же серьезной и замкнутой. От природы уступчивая, я старалась угодить каждому, часто подвергалось насмешкам и нападкам Мэри, не умея защитить себя. Я казалась себе глупой и простоватой, плакала по ночам в подушку и стала представлять себе, что я совсем не настоящая дочь своих Родителей, а подменена кормилицей: вместо их ребенка она положила мою молочную сестру. Мадемуазель Дункер только способствовала моему одиночеству. Благодаря своему характеру она мгновенно вспыхивала и сейчас же передавала свое неудовольствие Юлии Барановой, которая, в свою очередь, тотчас же брала сторону своей воспитанницы Мэри. Вкрадывалась натянутость в отношения, и каждая оставалась со своей ученицей в своей комнате. Воспитатель Саши генерал Мердер, который был в хороших отношениях с Шарлоттой Дункер, умел меня подбодрить и внушить мне доверие к себе, говоря, что ни мое спокойствие и ни моя застенчивость отнюдь не значат, что я неспособная, но указывают на качества глубокой натуры, которой нужно время, чтобы развиться. Сходство моей натуры с Сашиной сделало то, что он был необычайно чуток и близок со мной.

Николай I Павлович (1796–1855) – император Всероссийский с 14 декабря 1825 по 18 февраля 1855 года, царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II и великой княжны Ольги Николаевны

В детском зале, где стоял наш игрушечный домик, нас учила танцам Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре. Мы упражнялись в гавоте, менуэте и контрдансе вместе с Сашей и его сверстниками. После этого бывал совместный ужин,

и вместо неизменного рыбного блюда с картофелем нам давали суп, мясное блюдо и шоколадное сладкое. Зимой 1833 года эти веселые уроки прекратились, оттого что Мэри исполнилось пятнадцать лет и она переселилась от нас в другие комнаты.

По обычаю в одиннадцать лет я получила русское придворное платье из розового бархата, вышитого лебедями, без трена. На некоторых приемах, а также на большом балу в день ангела Папа, 6 декабря, мне было разрешено появляться в нем в Белом зале. Когда мы в него входили, все приглашенные уже стояли полукругом. Их Величества кланялись и подходили к дипломатическому корпусу. Папа открывал бал полонезом, ведя старшую чином даму дипломатического корпуса. В то время это была прелестная графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посланника. За ними шли Мама с дядей Михаилом, затем я, под руку с графом Литта. Он был обер-камергером, рыцарем Мальтийского ордена, и бежал в царствование Павла I из Италии в Россию. Человек этот был громадного роста и говорил низким басом с сильным итальянским акцентом. Ввиду того, что он был председателем Комиссии по постройке церквей, мне было велено навести разговор на эту тему, что я с грехом пополам и выполнила. В девять часов, когда начинался настоящий бал, я должна была уходить спать. Мне надлежало попрощаться с Мама, которая стояла в кругу стариков у ломберных столов. В то время как я повернулась, чтобы уйти в сопровождении своего пажа (его звали Жерве, и он был немногим старше меня), до меня донеслись слова Геккерна, нидерландского посла, обратившегося к Мама: «Как они прелестны оба! Держу пари, что перед сном они еще поиграют в куклы!» Я с моим пажом! Эта мысль показалась мне невероятной, стоявшей вне моих представлений. Этот Геккерн был приемным отцом Дантеса, убившего на дуэли нашего великого поэта Пушкина.

Этой зимой, во время Масленицы, при Дворе был устроен большой костюмированный бал на тему сказки «Аладдин и волшебная лампа». В Концертном зале поставили трон в восточном вкусе и галерею для тех, кто не танцевал. Зал декорировали тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, волшебство этого убранства буквально захватывало дух. В то время глазу еще непривычны были такие декорации, которые мы теперь видим на каждой сцене. Мэри и я появились в застегнутых кафтанах, шароварах, в острых туфлях и с тюрбанами на головах; нам было разрешено идти за Мама в полонезе. Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей! Я могла смотреть и искренне предаться

созерцанию всего этого волшебства, не думая об обязанностях или правилах вежливости. Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом, был гвоздем вечера. Его изображал Григорий Волконский, сын министра Двора, будущий муж прелестной Марии Бенкендорф. Этот бал остался в моем воспоминании кульминационным пунктом зимы 1833 года.

Теперь как-то трудно себе представить, как часто наш Двор менял свое местопребывание между маем и октябрем-месяцем. Весной мы проводили несколько дней на Елагином, чтобы избежать уличной пыли, затем Царское Село, переезд на июль в Петергофский Летний дворец и, наконец, из-за маневров, Гатчина или Ропша с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже французский театр в маленьком деревянном доме. Мы видели эту блестящую жизнь, конечно, в своем детском понимании, или когда мы сопровождали Родителей, или же в свободные часы на подоконниках, слушая доносившуюся к нам музыку.

1834 год принес с собой конец нашей совместной детской жизни. Саша стал совершеннолетним (в шестнадцать лет по нашему семейному закону) и вступил в общественную жизнь после того, как присягнул как Наследник. Это была трогательная церемония: Саша, сопровождаемый Отцом, встал пред алтарем и развернутым знаменем и звонким голосом прочел текст присяги. Торжественный день был отпразднован концертом церковной музыки. Вечером у Нарышкиных давали бал для дворянства. Было лето. Через открытые окна видна была река с освещенными лодками; восторженные крики толпы доносились к нам, не хватало только присутствия в этот торжественный день Сашиного любимого воспитателя, генерала Мердера. По состоянию своего здоровья он должен был уехать в Италию, и накануне пришло известие о его смерти, которое от нас скрыли, чтобы не омрачать торжества. Саша узнал об этом неделю спустя в Царском Селе и горько плакал о первом друге своей жизни. Его заменил Кавелин, а князь Ливен, до тех пор посол в Лондоне, был назначен опекуном. Еще серьезнее, чем до сих пор, Саша отдался наукам, к которым прибавились военная история и законоведение.

Весной этого года с Нижнего Дуная возвратился Киселев. Он пробыл там с самого окончания турецкой кампании в 1828 году, чтобы привести в порядок эти прекрасные, богатые земли, так долго страдавшие под турецким ярмом. Еще и теперь, после пятидесяти лет, Молдавия и Валахия, которые ныне принадлежат

Румынии, вспоминают с благодарностью реформы Киселева, положившие начало их экономическому благосостоянию. Он, в свою очередь, любил этот край, его мягкость, синеву его небес, и еще его удерживала там сердечная привязанность. Мне в то время было двенадцать лет. Как сейчас вижу его таким, каким он был, когда вернулся: красивый мужчина лет около сорока, с выразительными глазами, очаровывающий собеседника, о чем бы он ни говорил. Совершенно независимый в своих взглядах, всегда полный блестящих идей, образованный и в то же время всегда готовый научиться еще чему-нибудь, он даже в разговорах с Папа, который с ним очень считался, сохранял свою независимость. Один из одареннейших деятелей тогдашнего царствования, с 1835 года он стал членом всех тайных комитетов по крестьянскому вопросу. С этих пор в течение пятнадцати лет он оставался всегда дорогим гостем нашего дома. В разговорах с глазу на глаз Папа любил противоречия, даже охотно вызывал на них, и он особенно любил свободную манеру Киселева в разговорах.

Влечение Папа к тому, чтобы быть обо всем осведомленным и учиться новому, происходило от сознания, что те науки, которые он проходил в молодости, были недостаточны. Войны в начале столетия и его страсть ко всему военному были тому виной. Совершенно неожиданно он вступил на трон в 1825 году. Он командовал в то время бригадой пехоты и понятия не имел о правлении, о хозяйстве или законодательстве. Он осознавал свою неподготовленность и старался окружить себя достойными людьми. Чтобы создать свод законов, выведя наше законодательство из тогдашнего хаоса, он призвал Сперанского и был удовлетворен окончанием этого труда еще в свое царствование. Его другой большой заботой было улучшение судьбы крестьян. Киселев явился главным его сотрудником в этой области. 26 декабря 1837 года он был поставлен во главе нового Министерства государственных имуществ, в ведение которого поступили все казенные крестьяне; он оставался на этом посту до 1856 года, когда был назначен послом в Париж.

Я не могу судить о том, были ли его реформы удачными или нет. С невероятным трудом и отчаянной решимостью он проводил их в жизнь, встречая всевозможные препятствия, как, например, глубоко укоренившееся предубеждение и злобу тех, чьи интересы были затронуты, а также отрицательное отношение со стороны остальных министров. Думаю, что управление имениями тети Елены, в которых, согласно плану Киселева, проводились

приготовления к освобождению крестьян, подтверждает, что таковые могли быть проведены только благодаря личной инициативе и на ограниченном пространстве, так как масса в своем большинстве без определенного водительства не может понять, что значат такие реформы. Во всяком случае, Папа, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого произойти.

Осенью 1834 года Мама с Мэри отправились в Берлин. Все мы остальные были поручены в Царском Селе попечению нашего дорогого князя Александра Голицына и княгини Ливен, супруги бывшего посла при английском Дворе. Последняя должна была стать во главе салона Саши и отшлифовать его речь, а также манеры. Это на первых порах ей совершенно не удавалось. Она говорила только о политике, от которой благодаря нашему воспитанию мы были очень далеки. Когда мы приходили к чаю, некоторые старые господа, сидевшие вокруг княгини, говорили о Талейране, Веллингтоне, о революционном движении на Балканах, о Марии да Глориа и других вещах, которыми были в то время полны газеты, и все это отдавалось пустым звуком в наших ушах. Как только чай бывал кончен, Саша отодвигал свой стул и стремительно бежал к столу молодежи, предоставляя всех тори, мигуэлистов и карлистов их судьбе, в то время как он сам с упоением отдавался игре в «Трубочиста» и смеху, становившемуся тем заразительнее, чем больше мы боялись гнева княгини. Будучи умной женщиной, она вскоре переменила свой метод и стала устраивать для Саши танцевальные вечера в Александровском дворце, в то время как ее политические партнеры получали приглашения к ней уже частным образом.

В ноябре Папа привез из Берлина домой Мама с Мэри. Мэри получила по возвращении свою собственную квартиру, покинула наш флигель и переехала поблизости к Саше. В Берлине с ней обращались как со взрослой ввиду того, что там принцессы в пятнадцать лет, после конфирмации, переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Мадам Баранова получила орден Св. Екатерины, и Матвей Виельгорский был назначен шталмейстером ввиду приемов и представлений, в которых Мэри должна была принимать участие. Она похорошела, бабочка выпорхнула из кокона. Ее сходство с Папа сказывалось теперь особенно, профиль к профилю она казалась его миниатюрой. И она стала его любимицей, веселая, жизнерадостная, обаятельная в своей любезности. Очень естественная, она не выносила никакой позы и никакого насилия.

Ее ярко выраженная своеобразность позволяла ей всюду пренебрегать этикетом, но делала она это с такой женской обаятельностью, что ей все прощалось. Переменчивая в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и доставляла своим поведением часто страх и заботы Мама. Сама еще молодая, она радовалась успеху дочери, испытывая в то же время страх перед будущностью Мэри, которая объявила, что никогда не покинет Отечества. За кого же она выйдет замуж?

Здесь я хочу, забегая немного вперед, разъяснить натуру Мэри. Когда в 1866 году вспыхнула убийственная война между Северной и Южной Германией, нам было предназначено держаться Австрии. Тут я получаю от Мэри письмо, полное упреков, в котором она обвиняла меня в том, что я отрекаюсь от Родины Мама, что я вероломна, словом, задела меня и обидела, как только было можно. Я ответила ей, что наши мнения и взгляды, очевидно, разные и что лучше всего было бы это не затрагивать, пока длится война. Это было в июне. В августе был заключен Никольсбургский мир и подтверждены наши тайные договоры с Россией. В это время я должна была, из соображений здоровья, поехать в Остенде. В один прекрасный вечер во время чая, когда мы с Верой (дочерью моего брата Константина) и ее гувернанткой, с Цезарем Берольдингеном, Владимиром Фредериксом и другими сидели за столом, мы услышали оживленные голоса за дверью, которая распахнулась и – Мэри ворвалась в комнату и в слезах бросилась мне на шею: «Прости меня, Олли! Я прямо из Петербурга, чтобы обнять тебя». Как можно было ее не любить?

В 1834 году нас посетил наш дядя, принц Оранский, со своим старшим сыном (теперешним королем Вильгельмом Нидерландским). Принц, который в свое время был адъютантом герцога Веллингтона, был очень хорош собой, к тому же овеян ореолом военных успехов. Он и его супруга, принцесса Шарлотта (подразумевается великая княгиня Анна Павловна), великосветская дама, говорившая по-французски как парижанка, имели все данные, чтобы понравиться в Петербурге. Сын же, семнадцати лет, был настоящий остолоп. Как кузен и товарищ детских игр, каким он являлся, он проводил многие часы в наших комнатах. Он был влюблен в Мэри. Когда его отсылали под предлогом, что нам надо учиться, он прятался между двойными дверьми наших комнат. После каждого долгого молчания,

позволявшего ему заключить, что урок кончился, он неожиданно у нас появлялся. Только в случаях, когда на урок приходил Батюшка, его удавалось окончательно удалить. Он боялся одежды и бороды последнего. Точно такое же действие производила на него воспитательница Адини мисс Броун, которую он к тому же находил глупой. Однажды он бросил ей в лицо нашу болонку, разозлившись на то, что она выбрала его партнером во время игры в «Молчание». Она должна была это сделать поневоле, оттого что он был последним. Никто не хотел с ним иметь дела, постоянно приходилось его удалять насильно, и когда его воспитатели брали его под руки, он награждал их пинками ног. Я думаю, он царапался бы, если бы это было возможно. История с мисс Броун и болонкой дошла до ушей его отца. Он получил 24 часа домашнего ареста. Когда он вновь появился, он стал еще невыносимее. Во время игры в серсо он втыкал булавки, о которые мы кололись, и когда, утомленные игрой, мы хотели отдышаться, он лил нам воду на затылок. Наконец, чаша переполнилась, и мы серьезно пожаловались Папа, который решил, что молодой человек, вместо того чтобы сидеть за детским столом, будет отныне сидеть со взрослыми. Эта честь только разозлила его. Принц Оранский признался, что ничего не понимает в воспитании, но он тем не менее противился всему, что в этом отношении решала его жена. Супруги жили несчастливой семейной жизнью.

В августе 1833 года в Петербурге была построена Александровская колонна и через год, в августе следующего года, освящена, что оба раза послужило поводом к большим торжествам, которым Папа отдавался всей душой. Он любил такие церемониальные всенародные торжества и умел их обставлять так хорошо и с таким блеском, что воспоминание о них оставалось еще долго. Все торжества последующего времени казались мне потом только неудачным подражанием предшествующей эпохе. Мой отец был, по словам одного французского маршала, «1e physique du metier» (образец военной выправки (фр.)). Его большой рост, его строгий профиль вырисовывались резко на светлой синеве неба. Движения, походка, низкий голос – все в нем было созвучно: спокойно, просто, властно. Надо было видеть наших Родителей, будь то в торжественных случаях, в парадных нарядах, или рука об руку гуляющими под деревьями нашего Летнего дворца, чтобы понять, как мы гордились ими и с нами весь русский народ.

1835 год

Зима началась весело, были празднества, даже для нас, детей, и между ними так называемый «Праздник Боб» с орденами и подарками, на котором Адини и Кости появились как бобовые королева и король, с пудреными волосами и в костюмах прошлой эпохи. Была и перемена в придворных дамах этой зимы. Софи Урусова, которую Мама очень ценила, вышла замуж за адъютанта Леона Радзивилла. Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра, и за ее холодной внешностью скрывалась страстная натура. Немногие рисковали приблизиться к ней: был пущен слух, что Папа к ней неравнодушен. Это было неправдой. Никто другой, кроме Мама, никогда не волновал его чувств, такая исключительная верность многим казалась просто чрезмерной добросовестностью.

В это время при Дворе появились три сестры Бороздины, сироты, дети очень уважаемого отца и совершенно невозможной матери. Ольга, старшая, была нехороша собой, глуповата, но очень добра. За ней следовала Настенька, которая была красивее и пела приятным голосом романсы. Натали, младшая, была назначена ко мне. Она тоже была музыкальна, и мы много играли в четыре руки; на музыкальных вечерах она аккомпанировала пению. Чистенькая и аккуратная, неуравновешенно веселая, она уже смолоду была старой девой и иногда докучала мне своим нравоучительным тоном. Она была дружна с Алексеем Фредериксом и вместе с ним составляла пару самую благоразумную в веселом окружении Мэри. Ольга Бороздина вышла замуж уже немолодой за шестидесятилетнего генерала Мосолова, который был богат и ужасен. Настенька вышла замуж за Урусова, Натали поступила после моего замужества в 1846 году дежурной фрейлиной. Ей было за тридцать, что ей не помешало влюбиться в профессора естественных наук, бывавшего у Виельгорских. Это кончилось тем, что в 1850 году она вышла за него замуж, чем привела в изумление всех друзей, считавших до той поры Натали благоразумной. Этот брак был неудачен. Профессор нашел плохо оплачиваемый пост корреспондента Министерства финансов в Лондоне, они жили в очень тяжелых условиях, почти в нужде. Один за другим стали появляться дети. Натали умерла в нищете. Я сомневаюсь теперь, была ли она в какой-либо степени счастлива.

Александровская колонна. Вид с восточной стороны. Цветная фотолитография. XIX в.

После замужества Настеньки Бороздиной Мама стала искать даму с хорошим голосом, чтобы заменить ее. Ей назвали Полину Бартеневу из Москвы, и правда, у нее был голос соловья, нежный, совершенно чистый и бравший без труда верхние ноты на головокружительной высоте. Ее музыкальная чуткость была очень тонкой. Она была незаменима во всех благотворительных

концертах и могла в самом деле выступать наравне с первоклассными артистами. Без особых репетиций пела точно так же свободно оперные итальянские арии, как и классическую духовную музыку. Ее отец, происхождением из незначительного московского дворянства, как человек был полным нулем. О нем ничего не было известно, кроме того, что у него было десять человек детей. Благодаря своей чрезмерной нежности мать возила их за собою всюду. Если она делала визиты, их всех запихивали в большую деревенскую коляску, и они должны были ждать свою мать на пороге гостиницы или на ступеньках крыльца. Если она посещала балы, детей посылали на хоры, откуда они могли наблюдать за танцами, пока не засыпали. При подобном воспитании Полина не научилась ничему, немного освоила французский язык да еще танцы. После смерти своей матери, без гроша денег, она была принуждена заботиться о девяти остальных детях. С необычайными усилиями, терпением и добротой это удалось ей главным образом благодаря ее связям. В конце концов, все они были устроены, кто в кадетские корпуса, кто в женские институты.

Весной этого года мои Родители поехали на короткое время в Москву и навестили окрестное дворянство в их имениях. Они взяли с собой Адини и Кости.

Во время этой поездки Литке влюбился в мисс Броун, на которой он потом и женился. По возвращении Адини рассказывала нам, что это были лучшие дни ее жизни. Она была совершенно предоставлена самой себе ввиду того, что влюбленные никого и ничего, кроме себя самих, не видели.

Летом приехала тетя Луиза, любимая сестра Мама. Она приехала со своим мужем, дядей Фрицем Нидерландским. Они поселились у нас в Петергофе. Дядю Фрица мы знали по его прелестным письмам, которые были полны яркими и веселыми подробностями о жизни в Голландии. Тетя Луиза походила на Мама, она была только немного полнее, но такая же доброжелательная, уступчивая и необычайно музыкальная. Она играла по слуху все, что угодно, и также говорила хорошо по-французски, что вообще не было принято в прусской семье.

В августе мы погрузились на пароход, чтобы отправиться в Данциг. Король Прусский выразил свое сожаление по поводу того, что ввиду своего преклонного возраста он не мог присутствовать при освящении Александровской колонны и, таким образом, видеть русские войска, своих верных союзников по 1814 году.

Специальная депутация привезла эту весть. В Папа это пробудило мысль устроить большую встречу, которая состоялась в Калише в 1835 году. Об этом много писалось в свое время: воспоминания актера и чтеца при Дворе Шнейдера прекрасно уловили и живо передали это событие. Для меня, тринадцатилетней девочки, это были незабываемые, но не всегда приятные впечатления. В этой массе принцев и принцесс я, которая всегда была несколько позади, видела и слышала вещи, которые меня обижали и открыли глаза на истинные чувства, которые питали по отношению к России. Вокруг Папа – только восхищение в самых тонких тонах. А в последних рядах – насмешки, критика и зависть. Дедушка, король Прусский, был искренне счастлив видеть русские войска, вызывавшие в нем воспоминания молодости и славы. Он был необычайно благодарен Папа, но празднества утомляли его, и его окружение боялось серьезных последствий.

Дедушка выписал из Берлина труппу актеров, чтобы иметь свой привычный отдых. Ежевечерне он шел в театр спать во время представления, чтобы в перерывах разговаривать с актерами. Я видела Гаген в пьесе «Деревенская простота», брата с сестрой Тальони в па-де-де, наконец, испанских танцоров, целую труппу, танцевавшую дикие танцы, во время которых ноги только и делали, что мелькали в воздухе.

Во время одного из парадов Мама вела кавалергардов в таком блестящем порядке, что привела в восторг Дедушку. Она была в парадной форме и с белой фуражкой на голове.

Парады, маневры, обеды и балы закончились грандиозным фейерверком, во время которого пускали вновь изобретенные пестрые ракеты. Музыка, пение, шум, свет, потом снова темная ночь – все это Бог весть почему вызвало во мне необъяснимую грусть. Откуда она появилась, я не смогла бы объяснить и никогда этого не понимала.

Чтобы немного отдохнуть, Мама поехала на несколько дней к тете Марьянне. (Она была супругой принца Вильгельма Прусского, урожденная принцесса Гомбург-Гессенская и приходилась Прусскому королю Фридриху Вильгельму III невесткой.) Она жила в Фишбахе, в прелестной стране Силезии, у подножия гор. Мама не была там с 1813 года. Тетя Марьянна, несомненно, была самым привлекательным воплощением «немецкой женщины». Очень строгая к себе самой, она была

крайне снисходительна к своим ближним. Ее взгляды в вопросах религии и политики были мягкими, но устойчивыми, без страстности. Мама после смерти королевы Луизы она заменяла мать. Так же как та, тетя Марьянна была во время войны примером для дам Берлина благодаря своей постоянной всем помощи и своему бесстрашию. Она дружила и была в переписке со всеми известными людьми того времени, влияя на них без того, чтобы быть на виду. Она почти не бывала в обществе; зато к ней постоянно все приезжали, привлеченные ее умом, добротой и тем священным огнем, который зажгли в ее прекрасной душе жизненные испытания. Так и меня невольно тянуло к ней, хотя я и не сознавала, почему именно. Я часами могла сидеть в оконной нише у ее ног, в то время как она говорила с Мама. Тогда она была еще красивой женщиной – высокая, с повелительной осанкой, всегда очень скромно одетая. Я никогда не видела ее в большом туалете. Она носила вокруг головы рюш, втыкала в волосы перед обедом свежий цветок; вместо драгоценностей она носила крест или другое старое, очень простое украшение. У нее были каштановые волосы, темные красивые глаза и низкий медленный голос. В моих воспоминаниях Фишбах сохранился как рай.

Неподалеку оттуда расположен Бухберг. Там жила княгиня Радзивилл, сестра принца Луи Фердинанда Прусского, к которой все относились с большим уважением в память ее покойной дочери Элизы. Дядя Вильгельм (теперешний Император Вильгельм I) в течение пяти лет был с Элизой помолвлен, испытывал к ней серьезное и глубокое чувство. Кроме того, Радзивиллы были прекрасной и вполне ему подходящей семьей. Бона Радзивилл была королевой Польши, даже католическая религия не была помехой для брака, но в один прекрасный день врачи заявили, что кронпринцесса, жена кронпринца Фридриха Вильгельма, никогда не сможет иметь детей. Тут король Фридрих Вильгельм III после пятилетнего ожидания взял свое согласие на брак обратно, он не хотел видеть на троне Пруссии королеву-католичку. Вскоре после этого Элиза умерла, а от перенесенного горя дядя Вильгельм страдал всю жизнь, женившись без всякой любви на первой же невесте, которую ему предложили.

Это была Августа Веймарская, заслуживавшая лучшей доли. В то время она хворала камнями в печени. От этой болезни она потом и умерла. Она, однако, была все еще очень подвижной и рассказывала нам, на своем берлинском языке, о членах семьи, многочисленные литографии которых украшали ее комнаты.

У помещиков окрестных имений, к которым мы ездили в гости, не было детей моего возраста. Адальберт же и Вольдемар, сыновья тети Марьянны, были мне не по душе ввиду того, что они, как кузены, обращались со мной, на мой взгляд, слишком свободно. Елизавета, старшая дочь, была хорошей, но какой-то доморощенной, не вызывавшей во мне особенных симпатий, тогда как младшая, Марихен, прелестный ребенок восьми лет, дружила с Кости. Чтобы не быть совершенно одной, я часто навещала молодых фрейлин, что укрепило за мной репутацию любительницы общения со старшими.

В сентябре мы двинулись в Теплиц для освящения памятника в 22-ю годовщину битвы при Кульме. Из монархов Священного Союза был в живых только один Фридрих Вильгельм III, но Папа очень чтил усвоенные им старые традиции. В то время он совершенно не разделял мнения Императора Александра I о конгрессах, он поддерживал личный контакт с монархами. Поэтому-то он и прибыл в Теплиц и Мюнхгрец, где до того уже встретились для политических переговоров Нессельроде и Меттерних.

Чтобы избежать беспорядка во время поездки в Теплиц, все экипажи были нумерованы; я с мадемуазель Дункер и нашими обеими камер-фрау ехала в экипаже № 9. Адъютант короля, Тюмен, отвечал за путешествие. В то время как меняли лошадей, он выскакивал из коляски и следил за тем, как их распрягали и впрягали. Он заботился также о том, что нам подавали на стол, следил даже за картофельным пюре и за тем, чтобы не забыли подать бруснику к дикой козе – любимому кушанью Мама.

На австрийской границе нас встретил принц Альфред Виндишгрец, грансеньор старой школы с изысканными манерами. Мама, привыкшая к быстрым и точным действиям Тюмена, удивлялась тому, как Виндишгрец на почтовых станциях, сидя в коляске, давал приказания почтмейстеру через своего камердинера. Во время последней смены лошадей перед Теплицем Родители взяли меня к себе в коляску. Папа был в парадной форме лейб-гусар, Мама в васильковом платье, с большой шляпой в перьях. В Теплице мы остановились во дворце князя Клари, где был назначен большой прием. Там нас ждала императорская чета: бедный Фердинанд, поддерживаемый Кламом Галласом, который воспитывался с ним, с одной стороны, с другой – Меттернихом, суфлирующим ему, и Императрица Марьянна, красавица с выражением святой. Она вышла замуж за

своего слабоумного мужа из призвания и по священной обязанности, вместо того чтобы, как она хотела, пойти в монастырь. Я чувствовала себя потерянной в этой массе незнакомых людей: у моих Родителей не было возможности заниматься мной. Маленький, очень некрасивый человек в австрийской генеральской форме представился мне и отвел меня к своей дочери. Это был эрцгерцог Карл, герой Асперна, и его дочь Тереза, будущая королева Неаполя. Его отеческая доброта тотчас же покорила мое сердце. Я была его соседкой по столу во время всего нашего пребывания там. Он говорил совсем просто, рассказывал ли он или же расспрашивал о нашей жизни и Папа, так что я в конце концов совсем оттаяла и чувствовала себя прекрасно в его обществе.

Нас было там пять барышень: Тереза Нассауская, будущая принцесса Ольденбургская, девятнадцати лет, большая, тонкая, с длинным носом, длинными зубами и дивными волосами, остроумная, ядовитая, всегда знающая, чего она хочет, но недобрая; затем Эльхен, дочь тети Марьянны, о которой я уже упоминала; потом Мари Альтенбургская, семнадцати лет, с круглым свежим лицом, всегда готовая смеяться, всегда удивительно ровная в настроениях, но без особой выдержки, совершенно немецкая принцесса при маленьком Дворе. В свои тринадцать лет я была такой длинной, что меня уже считали барышней, а не ребенком; но лицо мое было еще по-детски округло, и по-детски же смотрели глаза под светлыми ресницами. Волосы мне зачесывали назад и заплетали в косу; никаких украшений, кроме простой нитки жемчуга, и два платья из белого муслина, совершенно скромные, чтобы менять одно на другое. Таковым же было и мое внутреннее содержание: ребяческое, несложное, без особенного ума, а потому я не имела особого успеха.

Там у меня с моей воспитательницей были две комнаты. Одна из них была оклеена оранжевыми обоями с вырезанными и затем наклеенными фигурами из модных журналов. Наши постели стояли в алькове, остальная часть комнаты была салоном. Ввиду того, что он был расположен в нижнем этаже, молодежь собиралась у нас. Помнится мне, как в один прекрасный день после обеда все мы пятеро сидели, смеясь и дурачась, на полу моего салона. Вдруг неожиданно доложили о визите тети Марии Веймарской, старшей сестры Папа. Одной из нас посчастливилось вовремя убежать, две спрятались в алькове, а четвертая за занавесью, и в это время, как всегда медленно и внушительно,

появилась тетя. Она начала разговор, который поддерживала исключительно мадемуазель Дункер без меня, так как я просто умирала со смеху и при первом же слове непременно прыснула бы. Тетя, наконец, покинула нас, не преминув заметить: «Моя племянница, право, очень застенчивая». Не успела за ней закрыться дверь, как все выскочили из своих углов и начали кататься от смеха.

Этот припадок веселья продолжался до вечера, когда были назначены танцы в Курзале. Взяли и меня, но это было единственный раз. Оба эрцгерцога, Альбрехт и Фердинанд, пригласили меня танцевать, затем прусские кузены и, наконец, Альберт, принц Кобургекий, который считался красавцем. Я нашла его скучным и натянутым. Он хотел научить меня вальсу, но я предпочла танцевать галоп с эрцгерцогом Альбрехтом.

Во время визитов, которые делала Мама и в которых я ее сопровождала, мы ездили к герцогине де Лукка, сестре-близнецу Императрицы. Она также была очень хороша почти неземной красотой и, как говорили, очень несчастлива. Обе эти сестры готовились посвятить себя Богу и вступили в брак только из покорности своему духовнику. Императрица несла свой крест, исполняя долг как сестра милосердия. Все вокруг престола и в стране благословляли ее. Герцогиня де Лукка, муж которой изменял ей, не смела даже заботиться о воспитании своего единственного сына и жила строгой монастырской жизнью, над которой ее муж только глумился. Это супружество вызывало сожаление тети Марьянны. Она была в высшей степени терпимой и требовала, чтобы и другие были такими же. Герцог говорил с ней о вопросах религии и критиковал злоупотребления чисто внешнего характера, к которым прибегала католическая Церковь. Он уверял, что только в протестантстве он находит ту правду, которой жаждет его душа. Однако уже несколько месяцев спустя герцог, как рассказывали, изучал еврейский язык у ног какой-то прекрасной еврейки. Он живет по сей день в Ницце, титулуется герцогом де Вилла Франка, не имея ни семьи, ни религии, ни трона, ни раскаянья в душе.

Кого бы мне еще упомянуть? Может быть, эрцгерцога Франца Карла, брата Императора Фердинанда, менее отталкивающего, чем тот, но такого же слабоумного. Это его принудили в 1848 году отказаться от трона в пользу своего сына Франца Иосифа, настоящего Габсбурга, лысого, с узким черепом, на вид добродушного, но не без хитрецы. Он предпочитал носить обывательскую одежду и жил в горах, которые обходил с палкой в

руках. Говорили, будто бы он тайно повенчан с дочерью одного трактирщика, которая однажды везла его вместо почтальона, сын от этого брака будто бы назывался графом Меранским. Или Густав Ваза, человек с красивым лицом, но безо всякого выражения, который запомнился мне только потому, что появился в один прекрасный день безо всякого приглашения у тети Марьянны в Силезии и был очень холодно принят.

Ольгин пруд пруд в Колонистском парке Петергофа. Находится рядом с Правленской, Царицынской, Самсониевской улицами, Санкт-Петербургским проспектом. Неподалеку от пруда расположены собор Петра и Павла и Верхний сад

Герцогиня Альтенбургская и супруга палатина, наместника венгерского короля, которым в то время был эрцгерцог Иосиф, женатый первым браком на сестре Папа (две сестры из Дома Вюртемберг были кузинами моих Родителей и говорили им «ты» по немецкому обычаю). Обе они были некрасивы, но прекрасно сложены. Паулина же Нассауская, тоже из Дома Вюртемберг, была, напротив, хороша и свежа как роза и выглядела много моложе, чем ее невестка Тереза, которая из-за глухоты постоянно держала рот открытым. Королева Нидерландская Анна, тоже сестра Папа, навестила нас, возвращаясь с какого-то курорта, где лечилась. Я видела ее только раз во время какого-то приема в желтом платье, усеянном жемчугом и брильянтами.

Со своим надменным лицом и холодным взглядом, она была

совершенно не похожа на Папа. Кажется, она была в плохом настроении, но вообще ее побаивались, в то время как тетя Мария Веймарская, тоже сестра Папа, всеми уважалась, несмотря на свою некоторую неповоротливость.

После пребывания в Теплице мы поехали в Прагу. Я жила вместе с Родителями на Градчане, откуда был прекраснейший вид на город и Влтаву. Вид этот напоминал мне Москву, тем более что тут веяло славянским воздухом, который можно только чувствовать, но невозможно передать. Императрица Мария Анна сама представляла нам дам высшего дворянства, носительниц исторических имен, как, например, Туун, Вальдштейн, Шварценберг, Кэвенхюллер, Лобковиц, Ностиц и т. д. Предпринимались загородные поездки; незабываемым остался один визит в Тетшен, знаменитый замок Туун на саксонской границе. Был чудесный сентябрьский день, особенно мне запомнившийся оттого, что в этот день я впервые изведала пьянящее чувство поклонения, как только это можно переживать в тринадцать лет. Это поклонение вызвала во мне Тереза Австрийская. Я не могла отвести от нее глаз, мое общество не докучало ей, мы поклялись друг другу в дружбе, и она пообещала мне писать.

Эрцгерцоги все были своеобразными, чуждыми всякого шаблона, не такими, как прусские кузены. Меня тянуло к ним. Хотя я и не сознавала этого, но чувствовала себя с ними более свободной, чем даже в Петербурге с его многими прусскими обычаями. Уже один гимн «Господь, сохрани Франца Императора», военная музыка, все это игралось с таким настроением, что поневоле захватывало.

Мне думается, что эти первые детские впечатления наложили отпечаток на всю мою жизнь. Когда Саша в 1838 году написал нам из Вены о возможности брака между мной и эрцгерцогом Стефаном (сыном венгерского палатина), мне это показалось призывом к священной миссии: объединение славянских церквей под защитой и благословением той Святой, имя которой я носила.

В свое время я расскажу об истории моего замужества и того, что ему предшествовало; но тут я сразу скажу: увлечение, которое я испытывала, не помешало мне признать, что только тот союз, который создан на личной симпатии и доверии, может подходить для меня и что не положение, а только человеческие достоинства

были в состоянии завоевать мое сердце.

Перед возвращением в Россию Мама снова сделала небольшой визит в Фишбах, чтобы еще раз спокойно обменяться впечатлениями от поездки с тетей Марьянной. Папа спешил домой, не останавливаясь ни днем, ни ночью, чтобы успеть к смотрам. Перед этим он еще раз, неожиданно, появился в Вене, чтобы навестить вдовствующую Императрицу Каролину, а также эрцгерцогиню Софию, мать будущего Императора Франца Иосифа. Последняя очень ему нравилась, и это было взаимно.

Мы с Мама ехали только днем. Как только начинало темнеть, на новом шоссе, между Варшавой и Вильно, с обеих сторон на опушках леса зажигались костры, которые освещали дорогу.

Мама находила, что я стала менее молчаливой. Та масса впечатлений, которые я пережила, сделали меня более общительной. В экипаже, пока Мама читала, я заучивала исторические даты по картинкам Жуковского. Когда наступала ночь, мы вместе декламировали стихи Шиллера, которые Мама со своих юных дней знала наизусть. Время летело.

По возвращении, благодаря моим впечатлениям и знанию заграницы, я стала для братьев и сестер, даже для Мэри, существом, с которым нужно считаться. Мадемуазель Дункер вернулась домой довольная и в хорошем настроении: она завела массу знакомств, всюду ее приглашали и прекрасно принимали. В Петербурге она никогда никуда не выезжала. У нее не было даже родных, кроме ее матери, которую она, – я никогда не узнала, из каких соображений, – не смела навещать. Поэтому совершенно неудивительно, что все тепло и вся любовь, к которой было способно ее сердце, направлены были на меня, и она подсознательно отгораживала меня от остальных. Мэри не питала к ней ни малейшей симпатии и неизменно при каждом удобном случае заставляла ее это чувствовать. Юлия Баранова была не в силах что-либо предпринять против этого; за дерзостями следовало то, что каждый оставался в своем углу. В учении я сделала колоссальные успехи: только на полгода я отставала от Мэри, которой было уже шестнадцать лет. Учителям, видимо, доставляло радость подвигать меня так быстро, и чем дальше я шла в ученье, тем усерднее я становилась.

Но я совершенно не чувствовала себя счастливой. Мое существо становилось скорее еще более замкнутым, моя склонность к религии обращалась в мистику. Если бы это

продолжалось еще дольше, я совершенно замкнулась бы в своих четырех стенах. Мама первая обратила на это внимание. Она стала расспрашивать. Мэри, как всегда, не жалела жалоб. Пробовали обратиться к Шарлотте Дункер, для чего избрали Баранову, которая была слишком неумна для того, чтобы успешно провести такую роль. Но Родители относились к ней очень хорошо благодаря ее приятной незлобивой натуре. Слушали, правда, и нас, но не вникали в мелочи. Таким образом, многое являлось в ложном свете. Шарлотта, которую в свое время поддерживал и которой давал советы генерал Мердер, оставалась теперь совершенно одна, и оттого, что она чувствовала себя отодвинутой на задний план, она стала вспыльчивой и склонной к сценам. Папа услышал об этом и решил, что нужно нас разъединить. Он не любил половинных мер и считал, что только радикальное решение может восстановить мир в детских. Это решение было вызвано следующим.

Был август 1836 года. Мы возвратились с Елагина в Петергоф. Жюли (Юлия Баранова) оставалась из-за болезни в Смольном. Нас, трех сестер, поручили Шарлотте, и мы все вместе ежедневно предпринимали поездки в фаэтоне. Мэри, которая хорошо знала расположение, давала указания кучеру и направляла экипаж в Новую Деревню, где размещалась гвардейская кавалерия. Как только появлялся царский экипаж, дежурные офицеры должны были его приветствовать. Для нас, детей, это не играло роли; Мэри же не была больше ребенком. Когда мы ездили под присмотром Жюли, Мэри научила нас толкать ее ногой, если издали появлялся кто-нибудь знакомый. В таком случае Мэри сейчас же поворачивала голову в противоположную сторону и обращала внимание Жюли на что-нибудь там, и когда экипаж был достаточно близко от знакомого, ему посылались приветствия и улыбки, в то время как Жюли всё еще смотрела в противоположную сторону. Это проделывалось ежедневно, и Жюли не догадывалась об этой шалости. То же самое Мэри попробовала было с Шарлоттой. Но та заявила, что совершенно не нужно ежедневно ездить через Новую Деревню, и запретила нам, младшим сестрам, толкаться ногами в коляске.

Это кончилось сценой и слезами с обеих сторон, Шарлотте не удалось справиться со своим волнением, всем было заметно ее возбуждение. Ночь она провела с нами, но на следующий день, когда я проснулась, она не появилась, как не появилась и к завтраку, и когда ее не оказалось, чтобы идти гулять, меня охватило недоброе предчувствие. Я вихрем взлетела по лестнице

в комнату, где она обычно одевалась, и нашла там ее шиньон, ее лорнет, ее шелковое фишю (косынка, шейный платок) все разбросанным в беспорядке, точно она куда-то торопилась. Тут я разразилась слезами. Мэри стояла подле очень смущенная, Адини же ничего не понимала и была в замешательстве. Я знаю, что в глубине своего сердца Мэри упрекала себя в том, что так меня огорчила. Перед тем как мы должны были выйти, меня позвали к Мама. Увидев мое заплаканное лицо, Мама сказала мне, что эта разлука была необходима. К этой мысли Мама хотела подготовить меня постепенно. И все же никто не сумел понять, насколько я любила свою Шарлотту и насколько была к ней привязана.

Мама оставила меня у себя, окружила вниманием и лаской и ждала, пока я заговорю, чтобы все разъяснить мне. Я обожала свою мать, но в эту минуту мое сердце разрывалось на части, и я не смогла ничего сказать. Через несколько дней Мама передала мне маленькое письмо, благословила меня и сказала нежно: «Прочитай его перед сном!» Я сохранила его в моем молитвеннике. В нем было все, что я уже предчувствовала, что я боялась узнать. Решение Родителей мне показалось ужасным; но раз они так постановили, значит, они были правы, и мне не оставалось ничего другого, как покориться. Мама была очень мила ко мне и посвящала мне, ввиду отсутствия Папа, все свое время. Я могла спать с ней, мы вместе гуляли, и в туалетной комнате Папа проходили мои занятия. Мама подарила мне собаку Дэнди, неразлучного со мной вплоть до моего замужества. Как гувернантку взяли на пробу мадам Дудину, начальницу одного приюта. Ослепленная жизнью при Дворе, до сих пор ей непривычной, она спрашивала всех и вся, что это или то обозначает. Ее мещанская манера и ее неразвитость давили меня, и в то время, пока она была у нас, я привязалась к Авроре Шернваль фон Валлен, которая как раз была назначена фрейлиной. Дочь шведа-отца и матери-финляндки из Гельсингфорса, она была необычайной красоты, как физически, так и духовно, что сияло в ее красивых глазах. Когда она говорила о лесах, скалах и озерах своей родины, все в ней светилось. Ее взгляд и осанка говорили о гордости и независимости, она была настоящей скандинавкой. Поль Демидов, богатый, но несимпатичный человек, хотел на ней жениться. Два раза она отказала ему, но это не смущало его, и он продолжал добиваться ее руки. Только после того как Мама поговорила с ней, она сдалась. «Подумай, сколько добра ты сможешь делать». Этими словами Мама окончательно убедила ее.

В день своей свадьбы она подарила мне «слезу своего сердца», маленькое черное эмалевое сердце с брильянтом, которое я бережно храню. Во втором браке она была замужем за Андреем Карамзиным, на этот раз по любви. Но счастью ее не суждено было долго длиться. В 1854 году Андрей пал смертью храбрых в Силистрии. Оставшись вдовой, она нашла утешение в том, что делала добро, где только могла.

Мадам Дудина оставалась при мне только несколько недель. Накануне Николина дня, 5 декабря, у меня появилась Анна Алексеевна Окулова, и с ней началась моя новая эра жизни. Выбор Анны Алексеевны был сделан Папа. Когда она была институткой Екатерининского института в Петербурге, ее уже знала Бабушка, очень ценила и оказала ей во время своей поездки в Москву какое-то благодеяние. Папа помнил ее веселое, открытое лицо. Она жила со своей семьей в деревне и ввиду того, что были затруднения денежного характера, заботилась об управлении имением и воспитании своих младших братьев и сестер. Все уважали ее энергию и предприимчивость. Чтобы избежать всяких неожиданностей и неприятностей, ее положение при Дворе, а также ее доходы были с самого начала утверждены. Ее сделали фрейлиной, по рангу она следовала за статс-дамами и получила, как Жюли Баранова, русское платье синего цвета с золотом, собственный выезд и ложу в театре. Я встретила ее впервые на одном музыкальном вечере Мама. Она сейчас же покорила мое сердце. Мне показалось, что повеяло свежим воздухом в до сих пор закрытую комнату. Она совершенно изменила меня. Ей сейчас же бросилось в глаза, какая я замкнутая и насколько лучше я могла писать, чем изъясняться, и она мне предложила вести дневник, чтобы я могла ясно себя увидеть и чувствовать себя свободнее. Она надеялась таким образом уменьшить и мою застенчивость. Я с готовностью приняла ее предложение и настолько привыкла писать дневник, что это стало для меня приятной необходимостью. Успех оправдал ее ожидания, я научилась выражать свои чувства и стала общительней.

Счастливый характер Анны Алексеевны вскоре привлек к ней много друзей, а здравый ум направил правильным путем через лабиринт придворной жизни. Озадаченная непониманием между нами, сестрами, она сейчас же стала искать причину этого. Она никогда не говорила «моя Великая княжна», она всегда называла нас вместе и старалась в свободные часы занимать нас всех общим занятием. Мэри она завоевала своей жизнерадостностью, а

также рассказами из времен своей юности. В Екатерининском институте она видела Бабушку каждую неделю, когда та посещала девочек, всегда в нарядном платье, чтобы доставить удовольствие детям, которые любовались ее драгоценностями. Она рассказывала о войне, о своем бегстве из Москвы в 1812 году, о своем беженстве в Нижнем Новгороде, о возвращении в родной сожженный город. Она заставляла нас рисовать по оригиналам и читала при этом вслух по-русски. Мама, которая была еще очень слаба после неудачных родов, много бывала у нас, также и Саша, впрочем, тот больше из-за молодых фрейлин. Мы играли, пели и жили беззаботной жизнью веселой компании. К сожалению, Анна Алексеевна, которая так удачно завоевала наш круг, сделалась вскоре жертвой несчастного случая. Широкий рукав ее муслинового платья загорелся от свечи; я же, вместо того чтобы помочь ей, потеряла голову и стала звать на помощь. Прежде чем вбежавший камердинер смог затушить пожар своими руками, она уже получила ожоги на руке и груди, от которых потом остались рубцы.

1837 год

Саша и Мэри уже в течение целого года выезжали и много танцевали. Мама, выглядевшая старшей сестрой своих детей, радовалась тому, что может веселиться с ними вместе. Папа терпеть не мог балов и уходил с них уже в двенадцать часов спать, в Аничкове чаще всего в комнату рядом с бальной залой, где ему не мешала ни музыка, ни шум. В этой нелюбви Папа к балам и танцевальным вечерам был виноват дядя Михаил, который не желал, чтобы офицеров приглашали на них по способностям к танцам, а напротив, этими приглашениями поощряли бы их усердие и успехи в военной службе. Но если на балах не было хороших танцоров – не бывало и дам. В тех случаях, когда удавалось сломить упорство дяди Михаила, он появлялся в плохом настроении, ссорился с Папа, и для Мама всякое удовольствие бывало испорчено.

В эту зиму у нас в Петербурге был брат Мама, дядя Карл. Он научил меня и Мэри играть на рояле вальсы Лайнера и Штрауса в венском темпе, он же пригласил, по желанию Мама, оркестр гвардейской кавалерии, чтобы научить их тому же. В светском отношении он держал себя непринужденно, считая, что может позволить себе многое благодаря своей обезоруживающей улыбке, что ему удавалось всегда даже с Дедушкой. Однажды он пригласил офицеров и трубачей одного полка к себе в Зимний дворец без разрешения командира или одного из старших офицеров, и выбрал как раз шесть лучших танцоров, которых можно было встретить во всех гостиных. Конечно, это были только молодые люди из лучших семей, и в Берлине никогда никому и в голову бы не пришло возмутиться из-за этого. Но в глазах дяди Михаила это было преступлением. Дядя Карл пригласил и Мама, которая появилась у него, чтобы также протанцевать несколько туров. Как только она появилась, трубачи заиграли вальс, дядя пригласил Мама, Мэри и молодые фрейлины с офицерами также закружились, все были в самом веселом настроении, как вдруг открылась дверь и появился Папа, за ним – дядя Михаил. Все кончилось очень печально, и этого конца не могли отвратить даже обычные шутки дяди Карла.

Воздух был заряжен грозой, и вскоре она разразилась одним событием, которое косвенно было связано с неудачным балом. Среди шести танцоров, приглашенных дядей, был некто Дантес, приемный сын нидерландского посла в Петербурге барона Геккерна. По городу уже циркулировали анонимные письма; в

них обвиняли красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет этому Дантесу ухаживать за собой. Горячая кровь Пушкина закипела. Папа видел в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился к нему с большим вниманием и это внимание распространял и на его жену, в такой же степени добрую, как и прекрасную. Он поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя после этого бала Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли, и наш великий поэт умер, смертельно раненный его рукой.

Папа был совершенно убит, и с ним вместе вся Россия: смерть Пушкина была всеобщим русским горем. Папа послал умирающему собственноручно написанные слова утешения и обещал ему защиту и заботу о его жене и детях. Он благословлял Папа и умер настоящим христианином на руках своей жены. Мама плакала, а дядя Карл был долгое время очень угнетен и жалок.

«Императорский бал». Художник Вильгельм Гаузе. 1880-е гг.

Жуковский и Плетнев, наши русские учителя, оба дружные с Пушкиным и члены литературного кружка «Арзамас», давно уже

познакомили нас с сочинениями Пушкина. Мы заучивали его стихи из «Полтавы», «Бахчисарайского фонтана» и «Бориса Годунова», мы буквально глотали его последнее произведение «Капитанская дочка», которое печаталось в «Современнике». В память погибшего друга Плетнев взял его журнал и продолжал издавать с большим успехом.

Папа освободил Пушкина от всякого контроля цензуры. Он сам читал его рукописи. Ничто не должно было стеснять дух этого гения, в заблуждениях которого Папа никогда не находил ничего иного, кроме горения мятущейся души. Все архивы были для него открыты, он как раз собирался писать историю Петра Великого, когда смерть его похитила. Никто не походил на него. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев – все были таланты, но ни один из них не достиг высоты гения Пушкина. Некрасов был доступен широкой публике, но только в одном: он воспевал бедных и бедность. Алексей Толстой, мистик с изысканным языком, но несколько однообразный. Роман стал теперь выражением литературы; спешка современной жизни ограничивает поэтическое творчество, которому необходимо широкое дыхание.

В течение этой зимы я слышала много филармонических концертов в зале Энгельгардта, на которых исполнялись симфонии Бетховена, Реквием Моцарта и многое другое. Мне не доставляло это удовольствия. Анна Алексеевна, пытаясь развить мой слух, предложила предоставить мне возможность играть в трио со скрипкой и виолончелью. Она обнаружила Бэлинга, прекрасного музыканта, застенчивость которого до сих пор мешала ему сделаться известным, но его песни были уже довольно хорошо знакомы публике. Он сочинил для меня прелестные вариации на тему Национального Гимна. Я играла их Мама в день ее рождения в апреле.

В театре вызывала восторг Мария Тальони в балетах «Сильфида» и «Дочь Дуная». Она была некрасива, худа, со слишком длинными руками, но в тот момент, как она начинала танцевать, ее захватывающая прелесть заставляла все это забыть. Надо было ее видеть, чтобы понять, что совершенство грации способно вызвать слезы умиления.

Мэри, бывшая в восторге от Тальони, заучила с дядей Карлом па-де-де, очаровательную и остроумную пантомиму. Они танцевали его на китайском маскараде, третьем и последнем так

называемом «бобовом» празднике. Все были в китайских костюмах. Высоко зачесанные и завязанные на голове волосы очень украшали дам, особенно тех, у кого были неправильные, но выразительные черты лица. Папа был одет мандарином, с искусственным толстым животом, в розовой шапочке с висящей косой на голове. Он был совершенно неузнаваем. Бобовой королевой была старая графиня Разумовская, выглядевшая в своем костюме замечательно. Королем был старый граф Пальфи, венгерский магнат, которого в Вене прозвали «Тиннль», очень веселый старик, охотно посещавший бульвары и кулисы театров, всегда с непокрытой головой, в жару, холод и даже в петербургскую зиму. Люди останавливались на улице, чтобы посмотреть вслед этому человечку в мадьярской одежде, с красным лицом и трубообразным носом, с волосами, зачесанными ежом. Его всюду приглашали. Его знакомства сохранились со времен Венского конгресса, так же как его внешность и замашки.

Весной Саша отправился в большое путешествие по России. Через Вятку он хотел добраться до Тобольска. Он первый из великих князей ступил на Сибирскую землю. Все, имевшие до него дело или обращавшиеся к его посредничеству, были очень милостиво приняты Папа, который страстно желал, чтобы имя его сына благословлялось, где бы он ни появлялся.

В Новочеркасск Саша торжественно въехал верхом на лошади, с атаманской булавой в руках, окруженный казаками. В то время ему было девятнадцать лет. Он был высок и строен. Лицо его было более красивым, чем повелительным. В нем преобладала мягкость, и в глазах светилась доброта его души. Таким он оставался до конца своих дней, в шестьдесят лет. Неблагодарность людей и разочарования в жизни не смогли изменить его доброту, которой было пропитано все его существо.

11 июля, в день моего ангела, он находился в Туле, откуда прислал мне икону с изображением Богоматери. Я до сих пор ее храню. Такое исходившее от сердца внимание он оказал мне тогда, когда был завален работой и обязанностями, которые занимали все его время. Оно меня тем более тронуло, что ведь обычно братья не балуют своих сестер. Осенью он встретился с Родителями в Вознесенске, чтобы присутствовать на больших кавалерийских маневрах. Множество Высочайших особ и принцев из-за границы уже прибыло туда; между ними также и принц Карл Баварский и с ним его племянник, принц Лейхтенбергский. С

первого же взгляда Мэри его поразила. И он понравился ей, так как он был очень красивый мальчик. Но главным образом ей льстило то впечатление, которое она произвела на него, и мысль о том, что он может стать ее мужем, сейчас же пришла ей в голову. Согласится ли он остаться с ней в России? Я повторяю, что ей только пришла эта мысль, ни о каком серьезном чувстве еще не могло быть и речи.

Тотчас после маневров была предпринята большая поездка всем обществом в Крым. Меня туда не взяли; но благодаря письмам друзей я получила понятие о ней. Князь М. С. Воронцов, генерал-губернатор Южной России, облюбовал этот чудесный уголок и выстроил себе в Алупке роскошный дворец в мавританском вкусе с английским комфортом. Многие богатые, дружные с ним семьи последовали его примеру, между ними Нарышкины и другие.

Моих Родителей принимали там с таким гостеприимством, как разве во времена Императрицы Екатерины. Верхом на лошадях, оседланных по-восточному в бархат и золото, ездили от одного поместья к другому. Это было чудесным временем: везде самое приятное общество, музыка, танцы до глубокой ночи на залитых луной террасах, сады, полные пышных южных растений. Мама получила от Папа в подарок поместье Ореанда, с одним условием, что Папа совершенно не будет заботиться о нем и что она выстроит себе там такой дом, какой ей захочется. К моему пятнадцатилетию я получила от Мама письмо, дышавшее восторгом: она в стране, которая представляет собою землю классиков. Она зачитывалась «Ифигенией» Гёте и написала в Берлин известному архитектору Шинкелю, прося его начертить ей план дворца в греческом вкусе. Он действительно создал план, достойный рук волшебника, храм с колоннами и дорическим фронтоном, в котором могла бы жить сама Минерва, но никак не обыкновенные люди. Тогда обратились к тоже очень известному в то время архитектору Штакеншнейдеру. Он нарисовал волшебную виллу в итальянском вкусе, которую и построили, но Мама не было уже суждено ее видеть. Она завещала ее Константину, чтобы он мог жить в ней, когда его обязанности адмирала звали его к Черному морю.

Мэри участвовала в поездке. Она наслаждалась тем, что вызывала восхищение как у молодых, так и у старых. Ее красота была совершенно особого рода, она соединяла в себе две вещи: строгость классического лица и необычайную мимику; лоб, нос и

рот были симметричны, плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог обвить обруч ее греческой прически. Понятие о красоте было для нее врожденным, она сейчас же понимала все прекрасное. Она ярко переживала все, ею виденное, и была чужда всякому предубеждению. Очень скорая в своих решениях и очень целеустремленная, она добивалась своего какой угодно ценой и рассыпала при этом такой фейерверк взглядов, улыбок и слов, что я просто терялась и даже утомлялась, только глядя на нее. Я чувствовала себя часто несвободной в ее обществе, ее непринужденность сковывала меня, ее поведение пугало: я не могла объяснить себе, что за ним таилось. Если она бывала хороша со мной, я сейчас же подпадала под ее очарование, но единогласия между нами почти не было. И тем не менее она была хорошим товарищем и верной подругой, и ее вера в дружбу никогда не ослабевала, несмотря на некоторые разочарования. Ни один из просителей никогда не уходил от нее без ответа, но те, кто знал ее, больше просили услуг, чем совета. Никто не ожидал от этого возбужденного сердца терпения, благоразумия или глубокого понимания. Так и политические соображения не вызывали в ней ничего, кроме спешных импульсов, часто даже противоречащих один другому. Позднее, когда благодаря урокам жизни ее натура укрепилась и стала выносливей, я же приобрела больше уверенности в себе, наше взаимное чувство друг к другу стало много крепче. Конечно, она была в сотни раз ценнее меня, она была способнее, чем все мы семеро вместе, но одного не хватало ей: чувства долга.

Она не умела преодолевать поставленные перед ней задачи и завидовала тому, с каким жаром я могла этому отдаваться.

Адипи, младшие братья и я оставались во время этого путешествия в Царском Селе, под покровительством нашего маленького князя Голицына, этого милого старичка, который никогда не казался нам старым, а также некоей мадам Плещеевой, жившей обычно в Павловске. Она принадлежала еще к окружению Бабушки, ее муж был лектором при Дворе. Постоянно осаждали мы обоих старичков расспросами о наших тетках, сестрах Папа, которые все пятеро были очень хороши собой. Мы рассматривали их портреты, просили рассказать нам об их характерах, манерах, появлении в свет. Сравнивали эти идеальные для нас существа с собой и находили себя очень посредственными в сравнении с ними.

26 августа, в день Святой Наталии, мадам Плещеева

пригласила нас к пышному обеду. В этот день вокруг нас собрались все духовно близкие к Бабушке. Главным образом то были учителя и профессора, воспитавшие наших теток и дядей. Мы знали их всех по именам и обе были преисполнены благоговения ко всему, что касалось Императрицы-матери, нашей обожаемой Бабушки, которая всегда была так добра к нам и к которой все, кто были при ней, относились с глубоким уважением.

Но натянутые и точно застывшие лица этих стариков смущали нас. Они все сидели с шляпами в руках вдоль стен и ожидали от нас. Великих княжон, совсем не обладавших светскими талантами своих теток, ласковых слов, предписанных нам на приемах. Момент, когда мы могли сесть к столу, чтобы начать есть кашу с грибами в сметанном соусе, был для всех облегчением.

Вообще же эта осень проходила спокойно и для нас была заполнена работой. Анна Алексеевна очень следила за моими науками: предполагалось, что я выйду замуж в шестнадцать лет. Я начала писать маслом. Наш учитель рисования Зауервейд устроил мне в Сашиной башне ателье, к которому вели сто ступенек. Оттуда можно было наблюдать за облаками и звездами. Он хотел научить меня быстрой и успешной манере писать. Я принялась за это с восторгом и была вскоре в состоянии с успехом копировать некоторые картины в Эрмитаже. Зауервейда в Дрездене обнаружил Папа. Он писал батальные сцены и копировал художников с таким совершенством, что потом многие эти копии были проданы как оригиналы.

Тут, кстати, хотелось бы коротко описать наших различных преподавателей.

Мосье Жилль, родом из Женевы, наш преподаватель истории, говорил не слишком приятно, зато писал очень отчетливым и ясным языком и требовал от нас, чтобы мы записывали его лекции, чем приучил нас к быстрому писанию. Все, чему он нас учил, было легко понять и хорошо запоминалось. Он обращал наше внимание на достойных примера людей или их поступки, будь то на поприще искусства, науки или исследований. Так, например, мы знали об Александре Гумбольдте и его приезде в Петербург, знали об исследователе Южного полюса капитане Россе и о фон Хаммеле, взошедшем первым на Монблан. Он приносил нам самые лучшие литографии, чтобы пробудить в нас

интерес к дальним странам. Папа назначил его потом заведующим библиотекой и хранителем арсенала в Царском Селе, ввиду того что у него были также и большие познания в истории оружия. Как ученый он заслужил благодаря своим трудам европейскую славу.

Наш преподаватель английского языка Варранд был истинным другом детей: веселый, склонный всегда нас баловать, всегда готовый дать свой урок в саду, он позволял нам в свободное время делать с ним, что нам было угодно. На все случаи жизни у него были свои поговорки. Он был очень чистенький и аккуратный. Так, например, он каждый раз мыл себе голову, перед тем как выйти на прогулку, и случалось не раз, что, возвратясь, он не мог снять шляпы с головы, оттого что она примерзла. У него, прекрасного отца, все его дети вышли отличными существами и преуспевали на своей службе.

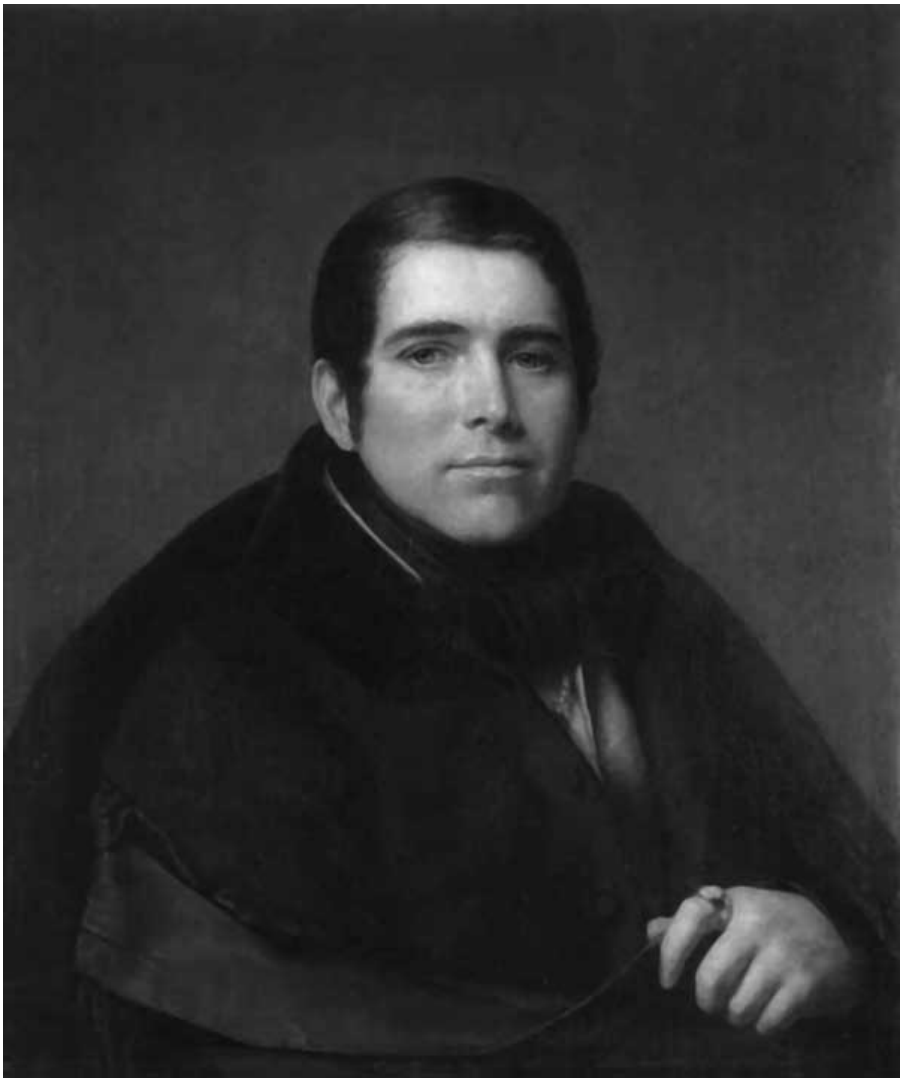
Наш немецкий преподаватель назывался Оёртль. Он был очень независим, но в высшей степени небрежен к своей особе. Еще сегодня я вспоминаю рисунок его вышитых подтяжек. Ногти его были всегда грязны, но система занятий – блестящая. Он постоянно заставлял нас не распускаться и вдалбливал в своевольные головы наши ужасно трудные немецкие фразы, в которых до бесконечности нужно ждать глаголов.

Многому учил он нас по цветным картинкам, что нам нравилось и легче запоминалось. Но потом, когда мы перешли к изучению и чтению примеров из классической литературы, мы примирились с немецким языком. Я пробовала даже писать мой дневник по-немецки, но говорить я научилась только после моего замужества.

Курно – наш преподаватель французского языка – появился у нас, когда мне было пятнадцать лет. Анна Алексеевна в своей постоянной заботе о том, чтобы развязать мне язык, обратилась к нему, знаменитому своей системой преподавания, с просьбой научить меня передать экспромтом мною слышанное или сочиненное. Вскоре он должен был отказаться от этого, уж слишком неспособной я оказалась. Тогда он стал заставлять меня писать, считая, что так я скорее могу добиться успеха. После того как я закончила свое учение у него, мы стали истинными друзьями, и читать и разговаривать с ним стало для меня искренним удовольствием. Я вспоминаю, как однажды Папа вошел ко мне и услышал, что мы читаем «Военная служба и ее значение» Альфреда де Виньи. Он слушал некоторое время очень

внимательно, затем взял книгу себе и прочел ее с начала до конца. Мысль о воинском долге, которая была заложена в основу этой книги, настолько захватила его, что он был тронут почти до слез.

Наш русский преподаватель, Плетнев, был по духу очень тонок, почти женственно чуток и очень ценился современниками как литературный критик, признаться, несколько самоуверенный. В своих суждениях он шел наперекор всем принципам и теориям, опираясь только на чистоту и искренность своего чувства. Все обыденное, плоское было чуждо ему. Его влияние на учащуюся молодежь в Петербурге было очень плодотворно. Он открывал и бережно хранил такие таланты, как Гоголь, Майков и другие. С нами, детьми, он обращался так, как это надлежало педагогу. В Мэри он поддерживал ее воображение, в Саше – доброту сердца и всегда обращался с нами, подрастающими, как со взрослыми, когда надо было указать нам наш долг, наши обязанности как в отношении Бога и людей, так и перед нами самими. Он бывал растроган до слез, когда говорил нам о надеждах, которые возлагает на нас и хотел бы нам помочь их осуществить. Из всех наших преподавателей он был тем, кто особенно глубоко указывал и разъяснял нам цель жизни, к которой мы готовились. Хотя он был очень посредственным педагогом, его влияние на наши души и умы было самым благодатным. Он умер в 1858 году в Париже после долгой и мучительной болезни. Мэри, блиставшая в то время в Париже на празднествах и балах при дворе Наполеона III, успевала навещать нашего старого друга, чтобы отплатить ему той же верностью и добротой, которую он питал к нам, детям.



Петр Александрович Плетнев (1791–1865) – критик, поэт пушкинской эпохи

Я уже упоминала, что он был другом и издателем Пушкина. Его письма, как и статьи, всеми читались, его имя связывали с духовными и политическими сдвигами нашей эпохи. Благодаря ему я поняла, какое направление приняли либеральные идеи декабристов. Папа знал свой народ и Россию, как немногие. «Они должны чувствовать руку, которая ведет их», – были его слова. Управлять собой учатся не по теории. Нужно время, чтобы узнать свободу и суметь ее сохранить!

Однако куда же я отвлеклась?..

Тимаев, наш преподаватель русской истории, инспектор классов в Смольном, был педант и сухарь, каким неминуемо становится каждый, если он изо дня в день без всякого подъема проводит однообразную работу надзора за девятьюстами людьми (включая и педагогов). Он был единственным нашим преподавателем, который экзаменовал нас и наказывал, заставляя переписывать что-либо, за малейший проступок. Нужно было принести в жертву свою любовь к Отечеству, чтобы учить его уроки.

Арифметику нам преподавал Колленс, прекрасный человек, рано умерший и замененный Ленцем, нашим преподавателем физики, профессором Академии наук и множества университетов. В нем соединялись большие знания с добродушием, что можно часто найти в немецких ученых. Я была страстно увлечена химией и следила с большим интересом за опытами, которые производил некто Кеммерер, его помощник. Он показывал нам первые опыты электрической телеграфии, изобретателем которой был Якоби. Опыты эти в 1837 году вызывали глубочайшее изумление, и в пользу их верили так же мало, как и в электрическое освещение. Уже в то время мы получили понятие о подводных снарядах, впоследствии торпедах. Папа, интересовавшийся всем, что касалось достижений науки, приказал докладывать ему обо всем. Особо его интересовала техника гальванизации, столь необходимая для промышленности. Мой будущий зять, Макс Леихтенбергский, в 1842 году основал в Петербурге первый завод, строившийся под руководством французских специалистов. Он существует еще и сегодня, под именем завода Шопена.

Все эти преподаватели занимались обучением только нас, четырех старших. Науками Кости ведал Литке. Он выбрал ему в преподаватели некоего Гримма, рациональный метод которого принес очень хорошие плоды. Кости, имевший прекрасную память, вдали от своих летних развлечений на кораблях Балтийского флота приобрел очень большие познания в географии и математике, которые позволяли ему хорошо сдавать все экзамены. Благодаря своему пытливому уму и либеральным взглядам, не совсем обычным для Зимнего дворца, он проявил себя необычайно способным к пониманию всего делового, в то время как в обращении с людьми ему не хватало такта. Он обладал способностями государственного деятеля, и его имя останется связано с реформами, осуществленными в царствование Императора Александра II. Литке умел окружить

его замечательными людьми. Это он ввел к Кости Головнина, который в течение тридцати лет был его правой рукой. Ему удалось провести в Морское министерство способных молодых людей, которые, как и он, стремились изгнать оттуда бюрократический дух. Этих молодых людей называли потом «Константиновичами», и все они играли более или менее значительную роль, как, например, Рейтерн в Министерстве финансов, Набоков в управлении Польши, Димитрий Оболенский в Таможенном ведомстве, Димитрий Толстой в Министерстве просвещения. Напомнить обо всем этом я хочу в тот момент, когда Кости, впавший в немилость у Императора Александра III, совершенно отошел от дел. Это было тяжелым ударом для всех либерально мыслящих, которые могли бы, опираясь на его помощь, восстановить равновесие между кругами отсталыми и передовыми. Но, видно, было суждено иначе. Кости всегда отличался терпимостью по отношению прессы, относился с презрением ко всем нападкам на свою особу и никогда на них не реагировал. Этим объясняется, что поползли подлые слухи об его причастности к заговорам нигилистов. Слухи эти никем не опровергались. Он считал это ниже своего достоинства. Такой взгляд на вещи, вызванный только его благородством, должен был бы быть понятен не только мне одной. К сожалению, это не так.

В 1837 году Кости было только десять лет. Он был маленьким, немного согнутым, близоруким, отчего дядя Михаил прозвал его Эзопом. Живой и веселый, он один производил больше шума, чем целая компания детей. Очень развитой для своего возраста, он сейчас же схватывал нить разговора и никогда не скучал в обществе взрослых. Но незанятый он мог быть невозможен. На все у него всегда был ответ, и его смешные гримасы выводили часто Мама из терпения, и ей приходилось бранить его. Он был упрям, и Литке боролся с этим, постоянно его наказывая; но это не было правильным способом воспитания: если бы с ним обращались иначе, его натура могла бы сделаться великой. Он часто днями не разговаривал, таким обиженным и озлобленным чувствовал он себя тем воспитанием, которое применялось к нему; в двадцать лет он решил жениться, только чтобы избавиться от ярма своего воспитания. Таким образом, прямо из детской он попал в мужья, безо всякого опыта, без того, чтобы изжить свою молодость или побыть в кругу своих сверстников, совершенно неспособный не только вести жену, но и себя самого. Он избавился от воспитательской деятельности Литке, с тем чтобы попасть под башмак своей очень красивой, но

и очень упрямой Санни, урожденной принцессы Ангальт-Саксонской. Одна ее внешность привела его в восторг и вызвала в нем страстные чувства, он любил ее вначале слишком идолопоклоннически, чтобы замечать ее ограниченность. После двадцатилетнего брака у него вдруг открылись глаза, наступило разочарование и с ним несправедливость: она ведь была невиновна в его иллюзиях, которые вдруг УВЯЛИ. Он бросился в работу, и чем больше нужно было сделать, тем больше он отвлекался от печальной действительности собственной жизни. Когда его терпению приходил конец, он уезжал в Кронштадт. В одиночестве он отдыхал, и только музыка была способна снова восстановить равновесие его души. Каждую пятницу он играл на виолончели в русском оркестре под управлением Направника. Разучивались новые произведения, но, конечно, без публики. Раз в году, во время Великого поста, совместно с оперным хором устраивались концерты, на которых исполнялись оратории Бетховена, симфонии Шумана или новые, неизвестные еще произведения. На этих концертах присутствовали все, кто в Петербурге любил музыку. Санни, в большом туалете, прекрасная, всеми восторженно встречаемая, принимала гостей. Кости же, не считаясь ни с кем и ни с чем, вел то в одной, то в другой нише свои особые разговоры. В тот же момент, когда начинался концерт, он бывал так захвачен музыкой, что никого и ничего для него больше не существовало. Эти концерты происходили в готическом зале с высоким сводчатым потолком. Находившийся там орган придавал залу вид часовни.

Несчастливый брак и другие испытания, повстречавшиеся на ее жизненном пути, углубили натуру Санни. В своем отчаянии она обратилась к Богу и религии. В ее характере проявились прекрасные стороны, она доходила иногда до смелого исполнения долга. Но ее характер оставался переменчивым, порой даже вспыльчивым, что очень затрудняло отношения с ней. Мне самой удалось быть с ней, как и с тремя другими моими невестками, в прекрасных отношениях. Санни платила мне всегда полным доверием.

Кости много читал, любил общество ученых и иных умных людей, своей прекрасной памятью запоминал все и мог принимать участие в любом разговоре. Он занимался также изучением русского народного творчества и был в постоянных сношениях с Погодиным и другими москвичами, что многими истолковывалось как славянофильство. Это было не чем иным, как попыткой посеять рознь между двумя братьями. Но Саша достаточно знал своих братьев, чтобы считать, будто кто-либо из

них способен на оппозицию.

Но я все время уклоняюсь: впечатления мгновений увлекают меня и вызывают картины и воспоминания, которые не подчиняются никакой последовательности. Пора, наконец, опять поймать нить.

Итак, мы в 1837 году. Мама вернулась с Кавказа, и мы уезжаем в Москву. Папа должен был следовать за нами позднее. Бенкендорф был нашим провожатым. Из-за серьезной болезни, которою он захворал, он не мог сопровождать Папа на Кавказ и был заменен Алексеем Орловым, как в коляске, так и во всех делах и поручениях.

Деловые качества Бенкендорфа страдали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюднер, кузина Мама (не смешивать с Юлианой фон Крюднер, мистической писательницей, оказывавшей влияние на Императора Александра I во времена основания Священного союза). Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. Она пользовалась им холодно, расчетливо: распоряжалась его особой, его деньгами, его связями, где и как только ей это казалось выгодным, – а он и не замечал этого. Странная женщина! Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натурой скрывалась хитрость высшей степени. При первом знакомстве с ней даже мои Родители подпали под ее очарование. Они подарили ей имение «Собственное», и после своего замужества Мэри стала ее соседкой, и они часто виделись.

Она была красива, цветущим липом и постановкой головы напоминала Великую княгиню Елену, а правильностью черт Мама: родственное сходство было несомненным. (Она была кузиной Мама через свою мать, принцессу Турн-унд-Таксис.) Воспитывалась она в семье графа Лерхенфельда, где ее называли просто мадемуазель Амели. Без ее согласия ее выдали замуж за старого и неприятного человека. Она хотела вознаградить себя за это и окружила себя блестящим обществом, в котором она играла первую роль и могла повелевать. У нее и в самом деле были манеры и повадки настоящей гранд-дамы. Дома у нее все было в прекрасном состоянии: уже по утрам она появлялась в элегантном туалете, всегда занятая вышиванием для алтарей или же каким-нибудь шитьем для бедных. Она была замечательной чтицей. Если ее голос вначале и звучал несколько крикливо, то потом выразительность ее чтения завораживала. Папа думал вначале, что мы приобретем в ней искреннего друга, но Мама

скоро раскусила ее. Ее прямой ум натолкнулся на непроницаемость этой особы, и она всегда опасалась ее. Сесиль Фредерике и Амели Крюднер просто ненавидели друг друга и избегали встреч. Потом, когда ее отношения с Бенкендорфом стали очевидными, а также стали ясны католические интриги, которые она плела, Папа попробовал удалить ее, не вызывая особенного внимания общества. Для ее мужа был найден пост посла в Стокгольме. В день, назначенный для отъезда, она захворала корью, требовавшей шестинедельного карантина. Конечным эффектом этой кори был Николай Адлерберг, в настоящее время секретарь посольства в Лондоне. Нике Адлерберг, отец, взял ребенка к себе, воспитал его и дал ему свое имя, но, правда, только после того, как Амели стала его женой. Теперь, в 76 лет, несмотря на очки и табакерку, она все еще хороша собой, весела, спокойна и всеми уважаема, играет, – то, что она всегда хотела, – большую роль в Гельсингфорсе.

Но вернемся опять к Москве. Нас отвезли к жене старого генерал-губернатора князя Димитрия Голицына, к которой мои Родители были очень расположены. Она встретила нас любезно, мы чувствовали себя хорошо у нее. Мама брала нас с собой, когда навещала приюты, институты, школы и монастыри. Только в госпитали нас не брали. После приезда Папа мы жили в Малом дворце, бывшем местожительстве Патриарха, граничившем с Чудовым монастырем, где покоятся мощи Святого Алексия. В этом дворце за 20 лет до этого появился на свет Саша.

Было принято сейчас же по прибытии совершать поклонение мощам; один из постоянно там молящихся шести монахов поднимал крышку гроба; женщины, за исключением Особ Императорской Фамилии, не смели стоять подле гроба, а должны были молиться в боковой часовне.

Во время утренней молитвы большой колокол Ивана Великого возвестил Москве прибытие Государя. Он звонил только по большим церковным праздникам, к коронации или прибытию Императора. Народ стремился со всех концов города к Кремлю, и в 11 часов утра вся большая площадь была запружена. Папа появился пешком, сопровождаемый только Сашей. Толпа расступилась перед ним безо всякого вмешательства полиции. Мы с Мама следовали за ними в экипаже. При входе в Успенский собор нас встретил кратким словом митрополит Филарет, окруженный московским духовенством. Потом запел хор. Блеск и пышность былых времен смешались в этот миг в этом пении с

возвышенными чувствами благоговения и любви, наполнившими наши сердца. В соборе мы преклоняли колена перед иконами и гробницами Святителей Петра, Ионы и Филиппа, затем шествие следовало в Архангельский собор, чтобы поклониться гробницам предков, оттуда в церковь Благовещения и затем к Красному крыльцу, где мы поднимались по лестнице. На первой площадке Их Величества поворачивались, чтобы поклониться толпе, отвечавшей бурными приветствиями. Русский народ всегда питал к своему Государю и его семье чувства, граничившие с обожанием.

Папа радовало то, что его любили в народе за его справедливость и энергию. Уважение, внушаемое им, исходило главным образом от его взгляда, который могли выдерживать только люди с чистой совестью; все искусственное, все наигранное рушилось, и всегда удавалось этому взгляду торжествовать надо всем ему враждебным.

Папа стоял как часовой на своем посту. Господь поставил его туда, один Господь был в состоянии отозвать его оттуда, и мысль об отречении была несовместима с его представлением о чувстве долга. В то время он был на высоте своей власти, и его влияние на окружающих казалось безграничным. Позднее, когда он знал, что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество никогда не оставляло его. Он был слишком верующим, чтобы предаться унынию: но он понял, как ничтожен человек. Как часто он говорил нам в это время: «Когда меня не будет больше, молитесь обо мне».

Во время нашего посещения Москвы мы осмотрели также Грановитую палату, одно из старейших зданий города. Мы проходили через все покои, через бесчисленные часовни этого старого дворца, и Папа поднимался с нами в терема, где в свое время жили царицы; их реставрировали теперь в том русско-византийском стиле, который восстановил художник Солнцев.

Восхищенный этой первой пробой, Папа решил построить на месте дворца, созданного во времена царствования Императрицы Екатерины и не носившего ни малейшего отпечатка народного стиля, новую постройку, большую и прекрасную, для того чтобы она могла служить для будущих празднований коронаций. Каждый зал должен был носить имя одного из больших орденов:

зал Св. Андрея Первозванного, зал. Св. Екатерины и т. д. Зал Св. Георгия Победоносца должны были украшать мраморные доски с именами кавалеров этого ордена.

Постройка дворца была закончена в 1849 году. Я присутствовала на его освящении в Пасхальную ночь. Это была одна из самых красивых, но и самых утомительных церемоний в моей жизни: она длилась с полуночи до четырех часов утра. По ее окончании Папа получил депешу от юного Франца Иосифа Австрийского, просившего своего союзника о помощи против венгерского восстания. Австрийская империя была в опасности. Папа сейчас же подписал приказ о походе русских войск. Эта депеша и ответ на нее, помеченные числами, хранились в кабинете. Сколько событий произошло с тех пор! Как много изменилось! Но характер Папа остался неизменным до его конца, несмотря на все препятствия и трудности, встречавшиеся на его пути, которые он всегда умел пересилить. Иным сделалось все, когда его больше не стало!

Жизнь в Москве была строже регламентирована, чем в Петербурге. Приглашения на празднества и обеды выдавались строго по чину, всегда на первом месте был митрополит, в то время как в Петербурге митрополит появлялся только на свадебных и крестинных обедах. Здесь в Москве он молился перед тем, как садились к столу, и сесть было можно только после его благословения. Филарет считался светочем Церкви: во все трудные моменты обращались к нему. Он пользовался доверием еще Императора Александра I, у него хранились важные документы, как, например, отречение Великого князя Константина Павловича, которое держалось в секрете до смерти Государя.

Москва всегда смотрела с пренебрежением на свою младшую столицу – Петербург. Она была горда своей седой стариной и своим национальным ореолом. Интересы москвичей ограничивались театром (в отличие от Петербурга, там была Итальянская опера) и местными новостями. Литературой или политикой не интересовались. Но губернатор, князь Голицын, очень заботился о городе. Он построил целый ряд прекрасных колодцев с чистейшей водой, которая с громадными затратами проводилась издали. Промышленность начинала развиваться, пробовали торговать своими товарами. Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготовлял тафту и бархат. Ему мы обязаны своими

первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского. Почти всегда мы, сестры, были одинаково одеты, только Мэри разрешено было еще прикалывать цветы.

«Красная площадь в Москве». Художник Федор Алексеев. 1801 г.

В Москве мне пришлось принять участие в некоторых балах и торжественных обедах, без особой на то охоты: я всегда этого боялась, так как Папа очень следил за тем, чтобы мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами и адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты – прекрасные солдаты, а потому плохие танцоры. Перед мазуркой меня отсылали спать. Об удовольствии не могло быть и речи.

Когда давался торжественный обед за маленьким столом на двенадцать приборов, говорил только один Папа. Он рассказывал о поездках или иных воспоминаниях, был весел, шутил или даже говорил двусмысленности. Когда он говорил о серьезных вещах, его речь захватывала, как это часто бывает у людей, которые живо воспринимают и действительно убеждены в том, что они говорят. После обеда он стоял у камина и разговаривал с генералами о военных делах: вспоминал Бородино, Лейпциг, вступление в

Париж. Мама сидела в кругу прочих гостей. Там были очень оживленные разговоры, особенно если при этом был Серж Строганов, скрывавший под серьезной внешностью веселый темперамент и пользовавшийся большим расположением дам. По вечерам занимались музыкой или же смотрели любительские спектакли. Однажды даже давали «Севильского цирюльника», и все очень хорошо играли. Почин исходил по большей части от Мама и тети Елены или от бывших придворных дам, ставших москвичками, но сохранивших еще былую энергию и умевших занимать Папа.

Несмотря на мою светскую жизнь, я все еще оставалась ребенком, и сейчас еще вспоминаю те шалости, которые я придумывала тогда. Особенно запомнился мне один случай. Анна Алексеевна обещала своим племянницам привести их во дворец. Немного взволнованные предстоящим представлением великой княжны одного с ними возраста, они воображали себе этот визит очень торжественным. Адини и я сложили целую гору подушек. Задрапированные пестрыми платками и лентами из Торжка, обмотанными вокруг голов, мы сели по-турецки поверх подушек, вооружившись киями от бильярда вместо табачных трубок. Дверь отворилась – полнейший конфуз! Затем взрывы хохота, киданье подушками – так произошло знакомство. Но Анна Алексеевна была очень долго огорчена таким недостойным представлением.

Занятий в эти недели, кроме музыки и чтения, у нас не было. Вместе с Мэри мы читали вслух книгу мадам де Сталь о Германии. С Кости, который не только имел «Историю России», но и хорошо знал ее, мы посещали Оружейную палату, монастыри и музеи. Он был прекрасным чичероне и поражал всех своими меткими вопросами и замечаниями. При этом он также шалил: примерял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана Грозного и надел бы на себя и шапку Владимира Мономаха, если бы ему не помешал Литке. Мы присутствовали при облачении Макария Булгакова (1816–1883) известного знатока церковной истории, митрополита Московского, который был ректором Духовной академии в Петербурге. Филарет, который возлагал на него большие надежды, принимал участие в этой церемонии.

Адини не могла сопровождать нас: у нее болела нога, и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шезлонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх к Мама, и она принимала участие в разучивании духовных песен, – это выдумал Папа, с тех пор как узнал от Филарета, что Петр

Великий пел в хоре. Наша часовня была как раз под комнатами Родителей, туалетная Мама даже сообщалась с хорами. Папа, Саша, Мэри и Адини, у которой было прекрасное сопрано, а также Анна Алексеевна и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопения, между ними «Отче наш» и чудесную «Херувимскую», специально для Адини. По воскресеньям, перед обедней, все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения к празднику, а главное, прокимен, который имел на все 52 недели года для каждого воскресенья свое собственное название и молитву. У Папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза встречались с нашими, когда пели очередной прокимен, и Саша потом в память этого делал то же, если присутствовал кто-либо из нас, певцов тогдашнего доброго времени.

При воспоминаниях о Москве я не могу забыть князя Сергея Михайловича Голицына, богатого холостяка, имевшего прекрасную картинную галерею и массу бедных родственников, заполнявших его дом доверху: сестер, племянниц, подруг этих племянниц, бывших слуг с их семьями, служившими часто по три поколения его семье. Его стол был всегда накрыт на 50 персон. Об этом существовал анекдот: тридцать лет подряд появлялся в обеденный час у него человек, исчезавший сейчас же после десерта. В один прекрасный день его место осталось незанятым. Куда он девался? Никто не мог ответить на это. Кто такой он был? И этого никто не мог сказать. Тогда стали узнавать, куда он делся, и выяснилось, что он умер ночью после своего последнего появления на обеде. Тогда только узнали его имя. Это очень показательно для беспечной патриархальной жизни прежней России. Императрица Екатерина гостила в этом дворе Голицыных в то время, когда перестраивался Кремль. Кресло, на котором она сидела, и письменный стол, за которым она писала, хранились особо и с большим почетом.

Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри явилась блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений, по примеру наших предков, учредили какой-либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Составился дамский комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года открыли 12 школ в разных частях города; они назывались «Отечественные школы» и прекрасно работали.

7 декабря, после именин Папа, прекрасным зимним днем мы покинули Москву. Утром было только 5 градусов мороза, вечером, в Твери, уже 15, а на следующее утро 20 градусов. Люди смазывали лица гусином жиром, чтобы не отморозить нос и уши. Мы были плотно закутаны в шубы, в теплых валенках до колена и ноги в меховом мешке. Мэри, которой стало дурно от этого закутывания, должна была пересесть в другой возок, где опускались окна. Ее место в возке Мама заняла Анна Алексеевна; мы весь день напролет пели каноны и русские песни, музыкальный репертуар Анны Алексеевны был неисчерпаем.

На станциях крестьяне приносили нам красные яблоки и баранки. Анна Алексеевна разговаривала с ними, зная, благодаря своей долгой жизни в деревне, что их интересовало и заботило. Мама очень одобряла это ввиду того, что сама недостаточно хорошо говорила по-русски.

10 декабря мы прибыли в Петербург. 17 декабря был пожар в Зимнем дворце. Это случилось вечером. У нас была зажжена по обыкновению елка в Малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги. Родители были в театре, где давали «Бог и баядерка» с Тальони. В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, Папа неожиданно появился у нас с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. «Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков», – сказал он поспешно. В то же время взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: «Горит!.. Горит!..» Мы раздвинули портьеры и увидели, что как раз против нас клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала. В несколько минут мы оделись, и сани были поданы. Я еще побежала в мою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что мне было дорого. С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала Мама и рассказала, что есть надежда спасти флигель с покоями Их Величеств. Когда Мама приехала из театра, ей сказали, что мы в безопасности. Тогда она сейчас же прошла к несчастной Софи Кутузовой (дочь петербургского генерал-губернатора, которая была очень слаба после несчастного случая) и очень осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Она оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок, и не оставила ее,

пока не приехал доктор. Только после этого она прошла к себе, где Папа уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались, и старая камер-фрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить бездедушек и драгоценностей. Отсюда Мама поехала к Нессельроде, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара.

Когда я поднялась утром в Аничковом наверх к Мэри, она сидела за кофе, перед ней в вазе, как обычно, благоухал ее воскресный букет: белая камелия, несколько ландышей и вереск. Россети, бывший камер-паж, теперь офицер Преображенского полка, принес эти цветы вместе с лорнеткой, бриллиантовыми брошками и другими мелочами, которые лежали на подзеркальнике ее туалетной. Он знал все ее привычки и трогательно позаботился о том, чтобы все было на месте при ее пробуждении. Папа всю ночь пробыл на пожаре. Утром нам сказали, что сгорел весь дворец. В обеденное время мы поехали туда и увидели, что огонь вырывается вдоль крыши, как раз над комнатами Папа. Окна лопнули, и посреди пламени виден был темный силуэт статуи Мама, единственной вещи, которую не смогли спасти, так как она придерживалась железной скобой, замурованной в стене.

Когда Папа в театре узнал о пожаре, он сначала подумал, что горит на нашей половине, – он всегда был против елок. Когда же он увидел размер пожара, то сейчас же понял опасность. Со своим никогда не изменявшим ему присутствием духа он вызвал Преображенский полк, казармы которого расположены ближе всех к Зимнему дворцу, чтобы они помогли дворцовым служащим спасти картины из галерей. Великому князю Михаилу Павловичу он отдал распоряжение следить за Эрмитажем, и, чтобы уберечь последний, в несколько часов была сооружена стена, единственное, что можно было сделать, чтобы спасти сокровища, так как нельзя было и думать о том, чтобы выносить их.

В это время пришло известие о другом пожаре, в отдаленной части города. Папа послал туда Сашу с частью пожарных, чтобы немедленно помочь несчастным. В это время уже прибывали полки из других казарм. Пришлось поставить заставы, чтобы сдержать толпу. Папа сам назначил генералов, которые должны были на разных этажах и в квартирах следить за спасением инвентаря. В необычайном порядке, безо всякой спешки, как будто речь шла о переезде, солдаты опустошали одно за другим все помещения от мебели, ковров и картин и превосходили себя в

проявлениях доблести и ловкости при переноске тяжелых вещей. Можно было бы до бесконечности рассказывать об этом, так же как и о многом смешном и трогательном, но это завело бы нас в дебри.

Мы опять оказались сбитыми в тесную кучу в любимом гнезде нашего детства Аничковом дворце. Это был счастливейший период моей юности. Мы жили как в русской поговорке: в тесноте, да не в обиде. Теснота делала совместную жизнь более интимной, чем в Зимнем дворце, где квартиры были разделены громадными коридорами. Там невозможно было между двумя уроками быстро пожелать друг другу доброго утра: следующий преподаватель уже ждал с уроком. И так было во всем.

Мэри выбрала себе единственную солнечную комнату, бывшую детскую столовую. Она так устроила ее, что она служила ей одновременно и кабинетом, и гостиной, и спальней. Низи и Миша, два неразлучных, получили нашу бывшую детскую, тогда как Адини и я получили разные комнаты, потому что я, как пятнадцатилетняя, теперь ложилась позднее. Моя рабочая комната имела окно на площадь, откуда было видно, как проезжал мимо весь Большой свет. Конечно, эта комната стала сборным пунктом для всей семьи. В обеденное время проезжали домой чиновники из своих управлений. Около двух часов выезжал цвет молодежи, мы любовались выездами и лошадьми и обсуждали всякую мелочь.

К Рождеству я получила свою первую обстановку: письменный стол с креслом (оно еще существует до сих пор; мой муж употребляет его в своей туалетной, и подобные ему он заказал для всех своих комнат). Драпировка отделяла мой кабинет от рабочей комнаты. Перед столом была стоячая лампа под розовым абажуром. В одном из углов висела картина, которую я получила тогда ко дню рождения: старик в белом одеянии с красным крестом крестоносца. Под этой картиной стоял аналой с крестом и Евангелием. Здесь мы все исповедовались, и Мэри не могла видеть головы старца, не вспомнив о всех грехах, в которых она каялась под пристальным взглядом с темной картины.

Папа распорядился, чтобы на наш стол употреблялись 25 серебряных рублей: одно блюдо на завтрак, четыре блюда в обед в три часа и два на ужин в восемь часов. По воскресеньям на одно

блюдо больше, но ни конфет, ни мороженого. Для освещения наших рабочих комнат полагалось каждой по две лампы и шесть свечей, две на рабочий стол, две воспитательнице и две на рояль. Каждая из нас имела камердинера, двух лакеев и двух истопников. Общий гофмейстер следил за служащими, к которым причислялись два верховых для поручений. У мадам Барановой, кроме того, был еще писарь для бухгалтерии. К тому же у каждой из нас был свой кучер. Мой Усачев умер в 1837 году и был заменен Шашиным, который сопровождал меня в Штутгарт. Прекрасный человек, прослуживший мне 37 лет и умерший в 1873 году. Я посещала его во время болезни; ему ампутировали обе ноги, но он все еще был весел и встречал меня всегда своей всегдашней доброй улыбкой и благословлял меня. Никогда и ни в чем я не могла упрекнуть его. Единственное, что ему ставилось в Штутгарте в минус, было то, что он давал слишком много овса своим русским лошадям.

Наши преподаватели получали 300 серебряных рублей в год и должны были получать эту же сумму пожизненно, как пенсию. Для нашего гардероба было ассигновано 300 рублей до нашего пятнадцатилетия, чего нам никогда бы не хватило, если бы Мама не помогала нам подарками на Рождество и в дни рождения.

На милостыню были предназначены 5000 рублей серебром в год. Остальное из наших доходов откладывалось, чтобы создать для нас капитал. Каждый год Папа проверял наши расходы. После его смерти наш капитал стал употребляться для уделов.

Комнаты Родителей над нами остались теми же, что прежде. После, когда теперь покойный цесаревич Никс получил Аничков, он все переделал, и это отсутствие уважения к традициям оскорбило меня. Сашка же и Минни (Император Александр III и Императрица Мария Федоровна), напротив, относились с уважением к Аничкову дворцу, что делает честь их уму и сердцу. Может быть, будет небезынтересно для истории, если я дам краткое описание комнат наших Родителей в Аничковом, как они были обставлены во вкусе 1817 года.

Спальня была обита голубым голландским бархатом, вся мебель, в стиле ампир, позолочена.

Туалетная – белая, без ковра, с лепными украшениями на стенах и потолке. Громадное зеркало на подставках из ляписа занимало целую стену. Оно было еще со времен Императрицы Екатерины Великой. Перед камином стоял туалетный стол.

Широкий диван стоял рядом с опущенной в пол ванной. Кроме этого, только несколько шкафов красного дерева и на стенах картины маслом, изображавшие членов Прусского Дома.

Кабинет был обит зеленым, потолок представлял небо в звездах с двенадцатью женскими фигурами – символами месяцев года. Двойной письменный стол, носивший шутливое название «двуспального», перед ним кресло, у камина второе, для Папа, и ширма, украшенная сценами из «Плиады». На окнах решетки, увитые плющом. Громадная печь, похожая своей формой на саркофаг, уставленная вазами, лампами и статуэтками. Я не знаю, было ли это красиво, но нам все нравилось, и никогда я больше этого не видела. Затем еще рояль, этажерки, уставленные раскрашенными чашками (самый изысканный подарок того времени), маленькими античными вазочками и безделушками. Прекрасные старые и новые картины висели по стенам. Мою любимую картину «Святое семейство» Франчески, к моей большой радости, я увидела потом, в салоне Минни, стоящей на мольберте. Я не помню, что стало с обеими картинами Грёза: девушкой, смотрящейся в зеркало, и другой – с девушкой, играющей на флейте.

Аничков дворец – один из императорских дворцов Санкт-Петербурга, у Аничкова моста на набережной реки Фонтанки. Свое название дворец получил от Аничкова моста. Старейшее из сохранившихся зданий на Невском проспекте

Будуар был очень мал, в нем помещался один диван и письменный стол с альбомами. Вот и все. Сюда Мама приходила в часы, когда хотела быть одна перед причастием, здесь велись Родителями интимные разговоры, и здесь же, перед прекрасным бюстом Королевы Луизы (Рауха), нас благословляли перед

свадьбой. 10 марта, в день рождения ее матери, Мама украшала этот бюст венком из свежих цветов. Над письменным столом висели два ангела Сикстинской Мадонны, голова Христа, написанная мадемуазель Вильдермет (швейцаркой, гувернанткой Мама), два портрета – Саши и Мэри, акварелью, затем рисунок солдата-гвардейца, написанный Папа на дереве, и кое-что священное по воспоминаниям, совершенно независимо от художественной ценности. Сидя на ковре, мы читали в этом маленьком будуаре, особенно в Великий пост, английскую детскую повесть об Анне Росс, маленькой верующей девочке, умершей ребенком, и каждый раз, как рассказ приближался к развязке, мы плакали горькими слезами.

Затем надо упомянуть библиотеку с простыми шкафами, затянутыми серой тафтой.

Туалетная Папа – такая крошечная, что в ней с трудом могли передвигаться три человека, стены увешаны военными сценами и английскими карикатурами. Библиотека Папа была устроена так же, как библиотека Мама, с той только разницей, что в ней над шкафами висели портреты генералов, с которыми он вместе служил. И наконец, кабинет Папа – светлое, приветливое помещение с четырьмя окнами, два с видом на площадь, два – во двор. В нем стояли три стола: один – для работы с министрами, другой – для собственных работ, третий, с планами и моделями, служил для военных занятий. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянным колпаком лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта декабристов 14 декабря. Затем еще портрет принца Евгения Богарне, рыцарский характер которого нравился Папа как пример верности, не пошатнувшейся даже в несчастии. Когда Папа страдал головной болью, в кабинете ставилась походная кровать, все шторы опускались, и он ложился, прикрытый только своей шинелью. Никто не смел тогда войти, покуда он не позвонит. Это длилось обычно двенадцать часов подряд. Когда он вновь появлялся, только по его бледности видно было, как он страдал, так как жаловаться было не в его характере. Если ему хотелось несколько рассеяться между работой, он вызывал к себе Орлова или Эдуарда Лдлерберга, брата Жюли Барановой и товарища его детских игр.

Орлов был мне знаком с детства, но я совершенно его не знала, никогда не обменялась с ним ничем, кроме самых банальных слов. Он выглядел очень молодцевато, был затянут,

как во времена Императора Александра I, напудрен и подтянут. Он очень тяготился своей женой, которая была набожной плаксой, он же любил ухаживать. В конце концов, он кончил тем, что попал в руки известной кокотки, расточавшей милости от его имени. Последняя очень вредила ему, лично же он был безупречен. Папа очень ценил его, так как он был прекрасным и понятливым работником. Мама же его недолюбливала. Имя Орлова останется неразрывным с царствованием Папа. Всегда добродушный, всегда благодушный, он был желанным гостем у нас. Папа постоянно дразнил его и называл «mauvais sujet» (шалопай).

Часто приходилось искать его, по крайней мере, полчаса, прежде чем сесть за стол. Заботу о собственном доме он предоставил своей жене. Он явно предпочитал наш дом своему собственному, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Орлов принадлежал к тому типу русского человека, который сам по себе полон противоречий. Временами он мог совершенно распускаться, не одевался по целым дням, ходил в старых ночных туфлях, не брал в руки ни книги для чтения, ни одной бумаги. Но если дело шло о каком-нибудь поручении, которое давалось ему, – его старание и умение тонко вести самые сложные переговоры не знали себе равных. Во всех ситуациях он сохранял свободу своего ума, мужество и твердость, при этом не был ни дипломатом, ни солдатом. Он обладал тем, что отличает русского человека, – «готов ко всему, чего потребует Царь».

1838 год

Эта зима была последней светской зимой для моих Родителей. Из любви к Саше и Мэри, которые не могли жить без развлечений, мы выезжали ежедневно, будь то театр или же балы. Иногда устраивались спектакли во дворце, и я могла, если не было ничего предосудительного в содержании пьесы, в виде исключения присутствовать при ее постановке. Примерно двадцать балов, в том числе и dejeuners dansaiils (детские балы, буквально: завтраки с танцами), на которых появлялись мы, все семеро: Саша – в казачьем мундире, Мэри – в бальном туалете, Адини и я – с лиловыми бантами в волосах, она – в коротком платьице и кружевных штанишках, я – в длинном платье, с закрученными локонами, – состоялись этой зимой. Я была уже ростом с Мама. Кости появлялся в матросском костюме, два маленьких брата – в русских рубашках.

В два часа, после обеда, за которым подавались блины с икрой, начинались танцы и продолжались до двух часов ночи. Чтобы внести разнообразие, танцевали, кроме вальса и контрданса, танец, называвшийся «снежной бурей», очень несложный. Его ввел Петр Великий для своих ассамблей, которые он навязал боярам, державшим до тех пор своих жен и дочерей в теремах. Когда темнело, зажигались свечи в люстрах. Это было в то время, когда танцы, и особенно мазурка, достигали своего апогея. Никогда на этих празднествах не присутствовало больше ста человек, и они считались самыми интимными и элегантными праздниками. Только лучшие танцоры и танцорки, цвет молодежи, принимали в них участие. В пять часов бывал парадный обед, после которого появлялись еще некоторые приглашенные. Мама тогда немного отдыхала, меняла туалет и появлялась, чтобы поздороваться со вновь прибывшими. После этого общество следовало из Белого зала в длинную галерею, и празднество продолжалось с новым воодушевлением. Мама любила танцевать и была прелестна. Легкая как перышко, гибкая как лебедь – такой еще я вижу ее перед собой в белоснежном платье, с веером из страусовых перьев в руках.

Папа танцевал, в виде исключения, только в кадрили. Его дамами были мадам Крюднер, княгиня Юсупова и Лиза Бутурлина, последняя очень красивая, любезная и естественная. В воскресенье перед постом на Масленице, ровно в двенадцать часов ночи, трубач трубил отбой, и по желанию Папа танцы прекращались, даже если это было среди фигуры котильона. Я

уже упомянула, что Папа принимал балы как неприятную необходимость, не любил их. Ему больше нравились маскарады в театре, которые были подражанием балам в парижской «Опера». Как Гарун аль-Рашид, он мог там появляться и говорить с кем угодно. Благодаря этому ему удавалось узнать многое, о чем он даже не подозревал, в том числе и о недостатках, которые он мог устранить, и о необходимости кому-то помочь и даже облегчить чью-нибудь участь, так как ему случалось слышать о том, что Родители иногда выдавали своих детей замуж или женили, руководствуясь только материальным расчетом. Это было так прекрасно в Папа, что он всех людей оценивал по себе самому. Этим он действительно притягивал к себе людей. Кто пользовался его доверием, тот пользовался им неограниченно. Конечно, были и разочарования, – в конце концов, нет совершенства, – но ему было приятнее разочаровываться, чем жить, не доверяя.

На одном из этих маскарадов Папа познакомился с Варенькой Нелидовой, бедной сиротой, младшей из пяти сестер, жившей на даче в предместье Петербурга и никогда почти не выезжавшей. Ее единственной родственницей была старая тетка, бывшая фрейлина Императрицы Екатерины Великой, пользовавшаяся также дружбой Бабушки. От этой тетки она знала всякие подробности о юности Папа, которые она рассказала ему во время танца, пока была в маске. Под конец вечера она сказала, кто она. Ее пригласили ко Двору, и она понравилась Мама. Весной она была назначена фрейлиной.

То, что началось невинным флиртом, вылилось в семнадцатилетнюю дружбу. В свете не в состоянии верить в хорошее, поэтому начали злословить и сплетничать. Признаюсь, что я всегда страдала, когда видела, как прекрасные и большие натуры сплетнями сводились на низкую степень, и мне кажется, что сплетники унижают этим не себя одних, а все человечество. Я повторяю то, о чем уже говорила однажды: Папа женился по любви, по влечению сердца, был верен своей жене и хранил эту верность из убеждения, из веры в судьбу, пославшую ему ее как ангела-хранителя.

Варенька Нелидова была похожа на итальянку со своими чудными темными глазами и бровями. Но внешне она совсем не была особенно привлекательной, производила впечатление сделанной из одного куска. Ее натура была веселой, она умела во всем видеть смешное, легко болтала и была достаточно умна, чтобы не утомлять. Она была тактичной, к льстецам относилась,

как это нужно, и не забывала своих старых друзей после того, как появилась ко Двору. Она не отличалась благородством, но была прекрасна душой, услужлива и полна сердечной доброты. Она подружилась с Софи Кутузовой, дочерью петербургского генерал-губернатора. Из-за несчастного случая последнюю подвергали различным лечениям, как-то: подвешиванию, прижиганию каленым железом и другим мучениям, так что она долго была полуумирающей. Она кричала день и ночь от боли, покуда Мандт (лейб-медик) не услышал о ее болезни и не стал лечить ее другим методом, который, в конце концов, после долгих лет, исцелил ее. Мама, которая очень любила мать Софи, часто навещала ее из сострадания. Софи платила ей благодарностью и называла ее матушкой. Она носила развевающиеся платья, чтобы скрыть свое убожество. Правильные черты ее лица напоминали римлянку. Варенька и Софи жили дверь в дверь. Обе почти не выезжали и имели собственный круг знакомых. Я заметила, что женщины такого типа нравились деловым мужчинам, как так называемые «душегрейки». Папа часто после прогулки пил чай у Вареньки; она рассказывала ему анекдоты, между ними и такие, какие никак нельзя было назвать скромными, так что Папа смеялся до слез. Однажды от смеха его кресло опрокинулось назад. С тех пор кресло это стали прислонять к стене, чтобы подобного случая не повторилось.

После этого отступления я возвращаюсь к воспоминаниям 1838 года. Адини в то время была все еще ребенком, так что ей доставляло удовольствие играть и шалить с маленькими братьями. Таким образом, я была лишена сверстницы, с которой могла бы быть откровенной. После начала поста был конец всем празднествам. Только немногие приглашенные собирались по вечерам у Мама в зеленом кабинете, где по большей части читали вслух. Между этими гостями часто бывали княгиня Барятинская со своей дочерью Марией. Ее застенчивость и скромность показались мне родственными, и вскоре мы подружились. Она была серьезной и глубоко верующей. Дружба между нами была такой, о какой я всегда мечтала: она облагораживала наши натуры. Мы обе были полны идеалов соответственно нашему возрасту и при всей нашей сдержанности очень мечтательны. Мы особенно ревниво оберегали наши желания, мысли и идеи от постороннего взгляда. Мария Барятинская была блондинка с черными бровями, ее взгляд, если она кому-нибудь симпатизировала, был полон тепла, которого я не встречала ни у кого, кроме Императрицы Марии Александровны (жены Императора Александра II), возможно потому, что я искренне

любила обеих.

Ростом Мария Барятинская была такая же, как я. Когда она распускала волосы, они покрывали ей колени, косу же она обвивала три раза вокруг головы и скрепляла ее золотой шпилькой. Я вспоминаю одно празднество в день рождения Папа в Петергофе. Несмотря на то что Барятинские жили в девяти верстах оттуда, она приехала со свежими цветами в волосах. Большинство цветов было еще в бутонах, и в тепле, во время танца, они распустились. Портрет известной художницы Робертсон запечатлел ее во всей ее прелести, играющей на рояле. В 1841 году она вышла замуж за Михаила Кочубея, а восемнадцать месяцев спустя ее не стало. Она скончалась от зловещей лихорадки в несколько часов. Как коротка была эта дружба! Но след ее остается неизгладимым в моей душе. Ее сестра Леонилла, будущая княгиня Витгенштейн, была также очень привлекательна, но ее красота была земная, в то время как Мария походила на ангела. В Марии я нашла отголосок меня самой, и эта четырехлетняя дружба была прекрасна.

Весной этого (1838) года здоровье Мама пошатнулось. Она страдала кашлем и несварением желудка. Лейб-медики Маркус и Раух были в горе и отчаянии. Пригласили на консилиум Мандта (по-моему, очень неудачный шаг). С того дня, как он появился, стало доминировать его мнение, тяжелое, деспотическое, как приговор судьбы. На Папа он имел огромное влияние, я бы сказала, прямо магическое. Папа слушался его беспрекословно. Мандт нарисовал ему будущее Мама в самых черных красках. Его методой было внушить страх, чтобы потом сделаться необходимым. Мама он прописал следующее лечение: ничего жидкого, никаких супов, зато ростбиф, картофельное пюре, молочную кашу, кожуру горького апельсина. И это неделями! Затем стали говорить о курсах лечения за границей, в Зальцбрунне или Креите. Как только Папа услышал об этом, он помрачнел, но на Мандта это не произвело никакого впечатления. «Вы, Ваше Величество, поедете в это время в Теплиц и полечите Вашу ключицу, в то время как мы будем лечить Императрицу, с мая по сентябрь». Это были его слова, и так он тогда и поступил.

Теперь был черед Адини представиться Дедушке. Маленькие братья, которые стали очень красивыми мальчиками, и Саша должны были сопровождать Родителей. Кости плавал в это время в Балтийском море. Мэри же и меня Родители не хотели брать с собой, чтобы не выставлять нас напоказ как невест. Семейная жизнь была нарушена! Вместо уюта в Петергофе все были

разрознены.

Саша уезжал с тяжелым сердцем. Он был влюблен в Ольгу Калиновскую (польская дворянка, фрейлина) и боялся, что во время его отсутствия ее выдадут замуж. В мае поехали в Берлин. Адини писала с дороги интересные письма, полные метких наблюдений и юмора. Из Берлина Саша поехал в Стокгольм, где появился неожиданно и Папа, чтобы повидаться со старым королем. Этот визит вызвал необычайное внимание в Европе. Саша посещал исторические места, такие как Грипсгольм и Дроттингхольм, поехал и в Копенгаген к королю Фридриху и, наконец, в Ганиовер, где он тяжело простудился.

Вместо того чтобы продолжать путешествие, он должен был ехать полечиться в Эмс, затем на виноградное лечение у озера Комо и наконец провести зиму в Италии.

Мэри и я оставались в Петергофе на попечении князя Голицына и графини Строгановой, которая незадолго до того была назначена обер-гофмейстериной. Она с молодости была дружна с нашими Родителями и обладала массой замечательных качеств. Мэри же и я находили, что она пахнет вялыми цветами, и настолько сильно, что это затемняло все ее хорошие качества. Ее сын Григорий, в то время юнкер Артиллерийского училища, стал потом вторым мужем Мэри. Наша жизнь была довольно веселой; на лошадях ли, пароходом или верхом, мы выезжали почти каждый день после обеда. До обеда каждый делал, что хотел, затем мы завтракали все вместе в Садовом зале, где и составлялись планы на следующий день. В день рождения Мэри был устроен деревенский праздник. Ей поднесли хлеб-соль, фрукты и мед. Парни и девушки в народных костюмах пели народные песни и такие, которые были специально разучены к этому дню. Она была тронута до слез и несколько раз повторяла, что никогда не покинет Отечества.

На следующий день была предпринята поездка на крестьянских телегах в колонию швабов. Пятьдесят лет назад там поселили вюртембержцев из Гейденгейма, и они сохранили не только свои костюмы и язык, но и архитектуру своих домов, своей школы и кирки. Что их бывшая родина станет потом моей, я в то время не могла еще и подозревать.

Почти каждый день был заполнен развлечениями: французский театр, любительские спектакли, живые картины и

танцы. Правда, я разговаривала иногда с приятными людьми, но мне недоставало общества Мама, которая не любила ничего неестественного и вокруг которой всегда была благодушная и здоровая атмосфера. Тут процветали лесть и подделывание под нас. Поэтому я чувствовала себя гораздо счастливее со своим роялем и книгами.

Мария Николаевна (1819–1876) – дочь российского императора Николая I и сестра Александра II, первая хозяйка Мариинского дворца в Санкт-Петербурге. В браке – герцогиня Лейхтенбергская. Президент Императорской Академии художеств в 1852–1876 гг.

Совершенно неожиданно пришел приказ, чтобы мы грузились

на «Геркулес» в сопровождении князя Меншикова и Сесиль Фредерике. Дедушка просил Папа доставить ему удовольствие видеть также Мэри и меня. Папа согласился не особенно охотно и дал нам знать, что мы должны быть 30 августа в Потсдаме. Но шторм на море вблизи Готланда задержал нас, а порванный парус заставил зайти в Ревель. Мой шестнадцатый день рождения праздновался в замке милейшей семьи Модем. Из Мемеля мы отправились дальше в Потсдам почтовыми лошадьми. Несколько дней наши Родители оставались без вестей о нас. Знали только о штормах в Балтийском море и о различных крушениях кораблей, так что они очень беспокоились. Свидание было тем более радостным и приятным. Дедушка с семьей принял нас в Сансуси. Мы, три сестры, спали с Мама в комнате, где умер Фридрих Великий. Там еще висели часы, которые остановились в час его кончины.

Несколько раз приезжали и сестры Мама, и также спали у нас. Было тогда так, как в дортуаре: шутки и смех без конца. Мы выскакивали из окон и бегали в ночных рубашках по террасе, затем кто-нибудь из дядей подкрадывался к нашему окну и стучался, чтобы напугать нас, что вызывало новые взрывы хохота.

За стол садились только в семейном кругу, примерно человек тридцать, в Ротонде, известной по рисункам Менцеля. Дедушка всегда сидел между Мама и одной из других своих дочерей или невесток, Мари, Адини и я должны были сидеть напротив него; он любил на нас смотреть и любоваться красотой Мэри, мною – слабо напоминавшей Мама, и Адини, которая была его любимицей. Она, по его словам, была единственной из нас похожей на пруссачку со своим вздернутым носиком и лукавым личиком.

Мы были также на маневрах 2-го Гвардейского полка и на его бивуаке в Грюневальде. Там солдаты пригласили нас помочь им при чистке картофеля: мы опустились на колени в траву и сразу принялись за работу. Один унтер-офицер, который заметил, что мы слишком толсто срезаем кожуру, укоризненно сказал, что мы плохие хозяйки. Эта сцена так понравилась королю, что он приказал ее зарисовать и потом дарил литографии с нее.

В Шарлоттенбурге был завтрак с танцами, который запомнился мне потому, что котильон я танцевала с кронпринцем баварским Максом, племянником тети Элизы (кронпринцессы Прусской). Там хотели, чтобы Макс женился на одной из нас.

Подумали, конечно, сейчас же о Мэри. Но кронпринц, который нашел во мне сходство с владетельницей старого замка Гогеншвангау, изображенной на одной фреске, сказал себе: эта или никто. Он постоянно рассказывал о преданиях своих гор, своих поэтах, своей семье, своем отце, который не понимает его, своей мечте о собственном доме, а также о том, какие надежды он возлагал на свою будущую супругу, – словом, только о том, что явно вертелось вокруг него самого. Я часто говорила невпопад, оттого что страшно скучала, не понимая, что это его манера ухаживать. Никто не решался при нем приглашать меня танцевать, чтобы не прерывать нашего разговора, что меня очень сердило. Уже ожидали официального объявления нашей помолвки. Только я одна в своем ребячестве ничего об этом не подозревала. На следующий день, после завтрака в Шарлоттенбурге, когда молодежь направилась пешком домой, кронпринц опять провожал меня. Я побежала вокруг пруда, чтобы избавиться от него. Он попробовал встретиться со мной, идя мне навстречу, тогда я бросилась к дяде Вильгельму, повисла на его руке и просила не покидать меня больше. В воротах Сансуси стояла женщина из Гессен-Дармштадта и продавала плетеные корзинки. Сначала я взяла одну, потом две, потом больше, оттого что они были очень красивы и могли служить прелестным подарком для оставшихся дома приятельниц. Кузены стали усмехаться, спрашивая по-немецки: «Однако ты хочешь раздать много корзин». (По-немецки «дать корзину» – это отклонить что-либо.) Тетя Элиза была явно возмущена этим намеком: «Кто позволил вам говорить о корзинах?» Мой немецкий язык был слишком слаб для того, чтобы понять этот намек, но мне все же было не по себе. Наконец, на помощь подоспела Мама: «Оставьте ее в покое, она не понимает даже, чего вы от нее хотите». Она отвела Мэри и меня в сторону, объяснила намерения кронпринца Макса и рассмеялась громко, когда я в отчаянье закричала: «Нет, нет, нет!»

Во время курса лечения ваннами в Крейте в Баварских Альпах на горизонте появился второй претендент на брак. Это тоже был принц Макс, но не из королевского Дома, а тот Макс Лейхтенбергский, который однажды, во время маневров в Гатчине, так понравился Мэри. Его мать, принцесса Августа Баварская, сестра короля, была замужем за Евгением Богарне, их сын получил титул герцога Лейхтенбергского.

После смерти своего мужа принцесса Баварская большую часть времени проводила в своем замке Эйхштеттен или в Анконе

и с успехом управляла очень значительным состоянием своих детей. Когда умер ее старший сын (женатый на королеве Португальской) и все дочери были выданы замуж, вся ее любовь сконцентрировалась на младшем сыне Максе, красивом, веселом молодом человеке с очень симпатичным характером. Его происхождение со стороны отца, пасынка Наполеона, не было, конечно, блестящим. Мать его очень страдала, видя, что в Крейте, где вдовствующая королева Баварская Каролина строго придерживалась придворного этикета, ее сын был низшим по рангу. Так, например, он сидел на табуретке, в то время как все остальные сидели в креслах, и должен был есть с серебра, тогда как все другие ели с золота. Он только смеялся, совершенно не придавая этому значения. Папа же он понравился, и он надеялся, что Макс будет тем мужем, который последует за Мэри в Россию. Внимание Папа к его матери очень нравилось последней, когда же Папа упомянул о возможности брака, ее счастье было безграничным. Макс же, не видевший Мари со своего посещения России и никогда не забывавший ее, был в восторге. Он сейчас же согласился на условие Папа: поступить в русскую армию, а также крестить и воспитывать детей в православной вере. Они, а также он сам становились членами Императорской фамилии и имели те же права и титулы. Матери Макса было нелегко думать о русских крестинах ее будущих внуков, что для нее было ересью, но в конце концов она согласилась, и в октябре того же года Макс прибыл в Царское Село.

Прежде чем я перейду к событиям после нашего возвращения, я должна еще упомянуть о посещении Папа короля Вюртембергского в замке последнего Фридрихсхафен. Там были королева, еще очень красивая женщина, три дочери, причем младшая, Екатерина, прелестная и очень женственная. Кронпринцу Карлу (впоследствии моему мужу) было пятнадцать лет. Это был симпатичный мальчик с интересным, но грустным лицом. Его отец, отличавшийся трудным характером, относился к нему деспотически. Кроме них, был еще там герцог Вильгельм Вюртембергский, тощий и длинный, настоящий Дон Кихот. Все были довольно молчаливы, не было уюта и чувства симпатии друг к другу. И Карл не сохранил приятных воспоминаний об этой встрече. Папа был рад поскорее уехать оттуда.

Но вернемся опять к Максу и Мэри. Она была влюблена и чувствовала себя на верху блаженства. 6 декабря в Петербурге, в церкви Эрмитажа, была торжественно объявлена помолвка. Мэри в русском парадном платье была очень хороша: белый тюль, затканный серебром и осыпанный розами, обволакивал ее. Мама

сама придумала ее наряд. Он был так прекрасен, что с тех пор стало традицией надевать его во всех парадных случаях.

Мэри и в самом деле осталась в России – не потерять ее и приобрести такого милого и хорошего зятя делало нас всех счастливыми. Все, казалось, было к лучшему. Но общественность судила иначе: внук Богарне, принц по милости Наполеона, смесь французской и немецкой крови – что за странные элементы проникали в Царскую Семью! И Саша не видел тоже ничего хорошего в этом и писал о своих сомнениях из Италии, где он должен был оставаться еще некоторое время. Даже одна из теток разделяла его заботу о том, что великая княжна, остававшаяся со своим мужем в России, может только повредить благодаря своему влиянию на то или иное. Бедный Макс! Он отдал сердце и душу совершенно чистосердечно, безо всякой мысли о том, что за заботы может вызвать этот его шаг. Он был красивым мальчиком, хорошим танцором и любезным кавалером, живой и веселый. Вначале гарнизонная жизнь причиняла ему некоторые трудности, так же как и более строгие правила жизни в Петербурге; у него дома царило гораздо больше свободы в общении людей из различных классов. Принц Лейхтенбергский интересовался искусством и понимал его, и Папа назначил его председателем Академии художеств. Он интересовался также ботаникой и имел значительные познания в области минералогии. Это позволило ему общаться со знатоками и профессорами, сделало его популярным. Он учредил научное общество, чтобы предоставить новейшие открытия в области естествознания в помощь промышленности. Гальванопластическая фабрика Шопена была основана на средства, которые предоставил Макс. Вызвало немало удивления, когда общество узнало, что он был учредителем промышленного предприятия и его акционером. Его прекрасные начинания были превратно истолкованы людьми совершенно недостойными. Это было его первым разочарованием до того, как из-за своего плохого здоровья он должен был надолго уехать от нас. Но не буду начинать седлать коня с хвоста: до свадьбы оставалось еще шесть месяцев.

Мэри и Макс, эта совершенно откровенно друг в друга влюбленная пара, были для младших членов семьи постоянным предметом любопытства. Я, назначенная к ним «жандармом», видела свои обязанности в том, чтобы главным образом отвлекать от них внимание. Я располагалась, например, в другом конце комнаты таким образом, чтобы Кости и Адини сидели спиной к жениху с невестой, и рассказывала им необычайно длинную и

интересную историю, которая тянулась все время, пока Макс был в Петербурге. В то время я была исполнена самых жертвенных чувств: ничто не казалось мне прекраснее того, чтобы отдать сердце и душу за того, кого любишь. Это чувство укреплялось чтением таких книг, как «Тереза, или Маленькая христолюбивая сестра», и ей подобных. История одной девочки, которая во времена французской революции пошла на эшафот, чтобы спасти жизнь своей подруги, привела меня на вершину моей жертвенности. Если обстоятельства для жертвоприношения и не совсем подходили к случаю, то мне все же удалось этой трогательной историей вызвать у моей аудитории слезы. Мой рассказ был настолько трагичен, что меня попросили даже, чтобы я как-нибудь смягчила конец. Если мои чувства и мысли и были несколько экзальтированными, то все это оправдывалось тем благородным побуждением, которым они были вызваны.

В то время одна смерть следовала за другой, искренне огорчая наших Родителей. Особенно убита была Мама смертью своей камер-фрау Киогель; последняя была дана ей вместе с приданым из Берлина; в нашем доме вообще было традицией почитать старых слуг, но к ней Мама относилась особенно сердечно. В Риме умер князь Ливен, который сопровождал туда Сашу. На его место был назначен Алексей Орлов.

Не могу не упомянуть о назначении графа Бобринского ко мне камергером. Он был так любим всеми нами за его приятный и добросовестный характер, что мы называли его «дядей». Это назначение сгладило неприятности, которые ему пришлось вынести из-за того, что он стал во главе предприятия, построившего первую железную дорогу между Петербургом и Павловском. Враги этого предприятия были неисчислимы; между ними был даже дядя Михаил. В этом предприятии видели зарождение новой революционной ячейки, которая могла привести к нивелировке классов и другим, еще более страшным вещам. Дядя Михаил сдался только тогда, когда ему пообещали, что он получит в своем парке такую же беседку для музыки, как в Баден-Бадене и других немецких курортах.

Папа же для того, чтобы подать пример, устроил деревенскую поездку большим обществом по железной дороге из Петербурга в Царское Село. Это чуть не окончилось трагично. Искры, которые врывались в окно, зажгли скатерти, тотчас же поднялась общая паника, но, к счастью, все обошлось без серьезных последствий. Только некоторым дамам сделалось дурно. Говорили, что пример

прекрасного поведения проявил маленький граф Пальфи, который тоже участвовал в этой поездке. Как всегда с непокрытой головой, он остался непоколебимо на своем месте в то время, как искры падали на него. Но вообще все прошло благополучно и к общему удовольствию, и графа Бобринского напропалую хвалили. Он вообще любил нововведения и был первым, кто ввел посадку сахарной свеклы у себя в имениях, а затем выписал паровые машины и английских механиков, чтобы начать фабричным способом делать сахар.

1839 год

В то время как Саша отсутствовал, а Мэри была всецело поглощена своим женихом, я снова сблизилась с Адини, которая постепенно превращалась в подростка. Прелестная девочка, беспечная как жаворонок, распространявшая вокруг себя только радость. Ранняя смерть – это привилегия избранных натур. Я вижу Адини не иначе, как всю окутанную солнцем.

Совсем еще маленьким ребенком она привлекала к себе прелестью своей болтовни. Она обладала богатой фантазией и прекрасно представляла не только людей, но даже исторические персонажи, словно переселяясь в них. В одиннадцать лет она могла вести за столом разговор, сидя рядом с кем-нибудь незнакомым, как взрослая, и не казаться преждевременно развитой: ее грациозная прелесть и хитрая мордочка говорили за себя. Все в доме любили ее, дети придворных ее возраста просто обожали. Я уже упомянула, что у нее было прекрасное сопрано. Придворные дамы, понимавшие толк в пении, время от времени занимались с ней, отчего она даже была в состоянии, если и не без сердцебиения, петь дуэты со старым певцом Юлиани. Он преподавал пение в Театральном училище, и Адини была очень польщена тем, что он принимал ее всерьез. Грациозность сказывалась во всем, что она делала, играла ли она со своей собакой, влезала ли на горку или же просто надевала перчатки. Ее движения напоминали Мама, от которой она унаследовала гибкую спину и широкие плечи. В семье она называлась всеми «Домовой». Ее английская воспитательница, поставившая себе задачей закалить Адини, выходила с ней на прогулку во всякую погоду, что в один прекрасный день вызвало сильный бронхит, и ее жизнь была в опасности. Благодаря своему прекрасному организму она оправилась совершенно, но с болезнью исчез в ней ребенок. Близость смерти сделала ее совершенно иной. Смысл жизни и мысли о потустороннем стали занимать ее. Вся исполненная особого благоговения, готовилась она к посту, вместе со мной к причастию. Бажанов, наш духовник, заметил, что она производит впечатление, точно едва ступает по земле. И, несмотря на это, она отнюдь не была натурой, которые теряются в неведомом, она осталась по-прежнему веселой, стала только более спокойной и гармоничной, чем прежде. Мы много говорили с ней, особенно о будущем, так как мы были еще очень молоды, чтобы говорить о прошлом. Чаще всего речь шла о наших будущих детях, которых мы уже страстно любили и верили, что

внушим им уважение ко всему прекрасному, и прежде всего к предкам и их делам, и привьем им любовь и преданность семье. Наши будущие мужья не занимали нас совершенно, было достаточно, что они представлялись нам безупречными и исполненными благородства.

В то время у нас появилась новая фрейлина. Вера Столыпина. После Марии Барятинской она стала мне очень близка. Дружба, которая была между нами, носила скорее товарищеский характер и была совершенно иной, чем с Марией. Она была сиротой нашего возраста. Симпатия с обеих сторон проявилась с первого взгляда, когда мы в том году увидели ее впервые на выпускном экзамене в Смольном, где присутствовали как заместительницы Мама. Вера была в числе девиц, окончивших институт. По нашему настоянию навели справки о ней. Она жила у своих Дедушки с Бабушкой, и они очень неохотно дали свое согласие на назначение ее ко Двору, оттого что она была еще очень молода. Вначале ее отпускали к нам только днем, с тем чтобы ежевечерне она возвращалась домой. Адини и я были очень счастливы иметь ее при нас. Серьезность и веселость переплелись в ней очень удачно. Маленький, может быть, даже незначительный, случай может послужить тому примером. После балов или других светских развлечений, которые доставляли ей особенное удовольствие, она любила на следующий день «как противоядие», как она сама говорила, заниматься особенно серьезным чтением или решением трудных задач, чтобы «умертвить плоть». Такова была наша маленькая Вера. Сколько часов веселья, радости или ненастья мы разделили с ней!

«Портрет Веры Аркадьевны Голицыной, урожденной Столыпиной». Художник Владимир Гау. 1840-е гг.

Наша тетя Елена (жена великого князя Михаила Павловича) находила, что мы живем слишком замкнуто среди одинаково мыслящих, ни одна новая идея не проникает к нам и нас нужно бы несколько встряхнуть в нашем девичьем спокойствии. В один прекрасный день она услышала, как мы поем припев одного романса о том, что только озаренный любовью день прекрасен, и спросила нас, понимаем ли мы смысл этих слов. Последовали один за другим вопросы, из которых стало ясно, насколько мы слепы и далеки от жизни. Приобщением к светской жизни,

конечно, я обязана ей. Она приезжала за мною, чтобы взять на свои вечера, на которые приглашали массу молодежи; в Михайловском дворце устраивались живые картины, в которых должна была принимать участие и я, и однажды меня пригласили на несколько часов на Елагин остров. Там я произвела, как мне потом говорили, впечатление вспугнутой лани. В фейерверке игривых слов, галантных шуток и ничего не значащей болтовни, как это принято молодежью в обществе, я чувствовала себя вначале потерянной. Это была атмосфера, полная магнетической силы, свойственной молодежи, и в конце концов и я подпала под ее влияние. Я поймала на себе взгляд, который уже сопровождал меня в обществе тети Елены. Прежде чем я успела что-то понять, этот взгляд уже заглянул в мою душу. Я не могу передать того, что я пережила тогда: сначала испуг, потом удовлетворение и, наконец, радость и веселье. По дороге домой я была очень разговорчива и необычайно откровенна и рассказала Анне Алексеевне обо всех моих впечатлениях. Она стала моей поверенной, и ни одного чувства я не скрыла от нее. Я вспоминаю еще сегодня, как она спросила меня: «Нравится он Вам?» – «Я не знаю, – ответила я, – но я нравлюсь ему». – «Что же это значит?» – «Мне это доставляет удовольствие». – «Знаете ли Вы, что это ведет к кокетству и что это значит?» – «Нет». – «Из кокетства развивается интерес, из последнего – внимание и чувство, с чувством же вся будущность может пошатнуться; Вы знаете прекрасно, что замужество с неравным для Вас невозможно. Если же Вам подобное “доставляет удовольствие”, то это опасное удовольствие, которое не может хорошо кончиться. О Вас начнут сплетничать, репутация молодой девушки в Вашем положении очень чувствительна; не преминут задеть насмешкой и того, кто стоит над Вами. Помните это всегда!»

Несколько дней спустя пришло письмо от Саши, которого я так любила и мнение которого для меня значило все. Это письмо оказалось значительным для всей моей последующей жизни, если бы события и повернулись иначе, чем я тогда могла думать. Саша совершенно поправился и, покинув Италию, проводил весну в Вене. Эрцгерцоги Альбрехт, Карл Фердинанд и Стефан, которые были с ним одного возраста, сейчас же подружились со своим гостем. Стефана же, сына Венгерского палатина эрцгерцога Иосифа, женатого первым браком на покойной сестре Папа, он любил особенно. Стефан выделялся своими способностями, что предсказывало ему блестящую будущность. Он любил Венгрию и по-венгерски говорил так же свободно, как по-немецки, и в Будапеште в нем видели наследника его отца. Саша, исполненный

братской любви ко мне, написал Родителям, что Стефан достойнее меня, чем великолепный Макс (кронпринц Баварский, никому в нашей семье не понравившийся). Стефан был приглашен на свадьбу Мэри, назначенную летом, и это приглашение Веной было принято. Я же считала себя уже невестой. Слово, данное мною в глубине сердца совершенно неведомому мне Стефану, уберегло меня от всевозможных неожиданностей чувства. Я придерживалась этого немого обещания до того дня, как встретилась с Карлом и мое сердце заговорило для него. Но до этого дня еще далеко.

Здесь я должна рассказать немного о Саше и его поездке по Германии, где он посетил Мюнхен, Штутгарт и Карлсруэ. Там, в Карлсруэ, была принцесса, подходившая ему по возрасту, которая могла бы стать его невестой. Она сидела за столом рядом с ним, и ему предоставили возможность разговаривать с ней долго и подробно. О чем же говорила она? О Гёте и о Шиллере, пока Саша, совершенно обескураженный, не отказался от этого разговора. Было взаимное разочарование, и Саша уехал во Франкфурт, чтобы оттуда проехать в Англию. Весной, уже в Берлине, он пережил подобное же разочарование с Лилли, принцессой Мекленбург-Стрелицкой, и его свита не переставала дразнить его неудачными невестами. Один из свиты – кажется, Барятинский – заметил: «Есть еще одна молодая принцесса в Дармштадте, которую мы забыли посмотреть». – «Нет, благодарю, – ответил Саша, – с меня довольно, все они скучные и безвкусные». И все же он поехал туда, и Провидению было это угодно. Под вечер он прибыл в Дармштадт. Старый герцог принял его, окруженный сыновьями и невестками. В кортеже совершенно безучастно следовала и девушка с длинными, детскими локонами. Отец взял ее за руку, чтобы познакомить с Сашей. Она как раз ела вишни, и в тот момент, как Саша обратился к ней, ей пришлось сначала выплюнуть косточку в руку, чтобы ответить ему. Настолько мало она рассчитывала на то, что будет замечена. Это была наша дорогая Мэри, которая потом стала супругой Саши. Уже первое слово, сказанное ему, заставило его насторожиться: она не была бездушной куклой, как другие, не жеманилась и не хотела нравиться. Вместо тех двух часов, которые были намечены, он пробыл два дня в доме ее отца. Никто до сих пор ничего не слыхал об этой принцессе, выросшей очень замкнуто со своим братом Александром, в то время как остальные братья уже были давно женаты. Стали собирать сведения, Мама написала Елизавете, дочери тети Марьянны, чтобы узнать побольше. Ответ был очень положительным. Правда, ей еще не

было и пятнадцати лет, но она была очень серьезна по натуре, очень проста в своих привычках, добра, религиозна и должна была как раз конфирмоваться. Нельзя было терять времени. Можно себе представить, какое волнение вызвало в Дармштадте, да и во всей Германии известие, что внимание Саши остановилось на девушке, о существовании которой до сих пор никто ничего не знал. Неужели он в самом деле станет ее женихом и не было ли это похоже на то, что выбор Наследника русского престола пал на Сандрильону (Сандрильона – Золушка)?

Саша прибыл в Лондон, когда «сезон» был в полном разгаре. Свободно воспитанные девушки, поездки верхом в Гайд-парке, пикники на свежем воздухе с веселыми элегантными людьми – все это очень понравилось ему. Королеве Виктории, в то время еще незамужней, было 19 лет. Говорили, что она краснела, когда упоминалось его имя. Когда он склонился к ее руке, она приятельски хлопнула его по щеке. Он видел всю Англию от Лондона до Эдинбурга и посетил все промышленные и живописные центры страны. Но нужно было думать и о возвращении домой ввиду того, что на 1 июля (день рождения Мама) была назначена свадьба Мэри. Везде, где он побывал, о нем все сохранили самые лучшие воспоминания, главным образом благодаря его необычайной доброте.

Жаркое лето этого года мы проводили в Елагином дворце, откуда, если это было нужно, могли ездить в Петербург. Приданое Мэри было выставлено в трех залах Зимнего дворца: целые батареи фарфора, стекла, серебра, столовое белье, словом, все, что нужно для стола, в одном зале; в другом – серебряные и золотые принадлежности туалета, белье, шубы, кружева, платья, и в третьем зале – русские костюмы, в количестве двенадцати, и между ними – подвенечное платье, воскресный туалет, так же как и парадные платья со всеми к ним полагающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов. От Макса она получила шесть рядов самого отборного жемчуга. Кроме этого приданого, Мэри получила от Папа дворец (который был освящен только в 1844 году) и прелестную усадьбу Сергиевское, лежавшую по Петергофскому шоссе и купленную у Нарышкиных. Я не буду описывать свадьбу и все к ней относящиеся торжества. В пурпурной императорской мантии, отделанной горностаем, Мэри выглядела невыгодно: она совершенно скрывала тонкую фигуру, и корона великой княжны тяжело лежала на ее лбу и не шла к ее тонкому личику. Но его

выражение было приветливым, даже веселым, а не сосредоточенным, как то полагалось. В браке она видела освобождение от девичества, а не ответственность и обязанности, которые она принимала на себя.

Эрцгерцога Стефана не было на свадьбе. Только потом мы узнали, что его мачеха (урожденная принцесса Вюртембергская) воспрепятствовала этой поездке из ревности к своей предшественнице (сестре Папа) и не желала поэтому иметь великую княжну своей невесткой. Тогда же только мы получили извещение из Вены о том, что поездка Стефана в Россию отложена. Таким образом, приехал только эрцгерцог Альбрехт. Я заметила вскоре, что он был влюблен в меня; это меня очень испугало не только из-за моего внутреннего обещания, но и оттого, что он не нравился мне физически, несмотря на то что он был как моим, так и моей семьи лучшим другом. Постоянно я прибегала к Мама, как только он появлялся, чтобы мне не оставаться с ним наедине. Он прогостил у нас некоторое время, чтобы отбывать военную службу. Папа очень любил его; он был главным образом солдатом. В битве при Анторце он впоследствии доказал это. Скромный, воспитанный по-спартански, необычайно чистый по натуре, этот молодой человек, как все люди, имевшие благородное сердце, питал глубокое уважение к Папа.

После свадебных торжеств мы возвратились в покой нашего Петергофского дворца. Какая благодать после всех шумных празднеств! Но для Родителей отсутствие Мэри было очень чувствительным. Меня невозможно было сравнить с ней, и заменить ее я никак не могла, наши натуры были полными противоположностями. И Адини была иной, чем я, но все-таки мы прекрасно ладили друг с другом. Но, несмотря на все разности наших характеров, мы, старшие четверо, были очень дружны между собой. Мы жили одинаковой жизнью, в которой каждое слово, каждое впечатление звучало как один и тот же инструмент. Макс совершенно включился в этот семейный хор. Тетя Елена дразнила нас постоянно: «Вы как стадо баранов, один как другой, безо всяких особенностей природы». Она, несомненно, в какой-то степени была права. Дисциплина, своими совершенно определенными правилами державшая нас в границах, может, и могла у характера посредственного отнять всякую инициативу, но какой замечательной поддержкой была она нам!

Через шесть недель после свадьбы Мэри было торжественно объявлено, что она готовится стать матерью. Только Мама была

сконфужена: она сама всегда старалась скрыть свое положение до пятого месяца. Но, в общем, этот год принес много забот.

Сначала поводом к этому был Саша. Не успел он вернуться из своего путешествия, которое принесло ему столько развлечений и удовольствия, как его любовь к Ольге Калиновской снова разгорелась жарким пламенем. (Он уезжал с очень тяжелым сердцем из боязни, что ее выдадут без него замуж.) Несколько раз заявлял он о том, что из-за нее согласен отказаться от всего. Он доверился дяде Михаилу, и тот, вместо того чтобы призвать его к благоразумию, указал ему на свой собственный брак, жертвой которого он был, женившись не по любви. Папа был очень недоволен слабостью Саши. Еще в марте он говорил о том, что согласен жениться на принцессе Дармштадтской, а теперь после четырех месяцев уже хотел порвать с нею. Это были тяжелые дни. Решили, что Ольга должна покинуть Двор. Польские родственники приняли ее, и мы увидели ее только позднее, уже замужем за графом Огинским. Была ли она достойна такой большой любви? Мне трудно ответить на это. В нашем кругу молодежи она никогда не играла роли и ничем не выделялась. У нее были большие темные глаза, но без особого выражения; в ней была несомненная прелесть, но кошачьего характера, свойственная полькам, которая особенно действует на мужчин. В общем, она не была ни умна, ни сентиментальна, ни остроумна и не имела никаких интересов. Поведение ее было безукоризненно, и ее отношения со всеми прекрасны, но дружна она не была ни с кем. Впрочем, как сирота, без семейных советов оставленная жить в обществе, считавшемся поверхностным и фривольным, она должна была встречать сочувствие. И Папа, относившийся по-отечески тепло к молодым людям, жалел ее от всей души. Но, однако, он и минуты не колебался поступить так, как считал правильным. Он поговорил с нею и сказал ей в простых словах, что не только два сердца, но будущность целого государства поставлена на карту. Чтобы укрепить ее решение и подбодрить ее, он говорил о достоинстве отказа и жертвенности, и слова его должны были так подействовать на нее, что она поняла и благодарила его в слезах.

Саша же, который в то время был в Могилеве, тяжело захворал, и Мама, здоровье которой пошатнулось из-за этой истории, тоже заболела. Мой отец должен был как раз в то время предпринять поездку и ездил инспектировать из города в город. Я посылала ему письма, написанные под диктовку Мама и сопровожденные постскриптумами докторов. Последние боялись

воспаления легких и советовали отцу вернуться. Очень испуганный, он сейчас же решил возвращаться и, путешествуя день и ночь, прибыл домой, где нашел Мама вне опасности. Но вечером в день его приезда слегла я.

Мои силы не выдержали стольких тревог и волнений. Я заболела нервной горячкой и провела 47 дней в постели. При первой попытке встать я должна была снова начать учиться ходить, опираясь на Адини и Анну Алексеевну. Какой восторг, какое сладкое сознание счастья поправиться в семнадцать лет! Снова ощущать себя подаренной жизни и сознавать, как ты любима! Да, главное – это быть любимой! Мне всегда казалось, что я была менее любимой Родителями, чем мои братья и сестры. И вот я могла ощутить, что и ко мне они питали такие же чувства. Адини часами сидела на краю моей постели и рассказывала мне обо всем, что произошло за время моей болезни. Служили молебны о моем выздоровлении в комнатах Мама, на которых Папа присутствовал всегда в слезах, не чая видеть меня больше здоровой. Однажды читали Евангелие о воскрешении дочери Иаира.

Папа упрекал себя в неверии в Провидение, и что невозможно людям услышал Господь! С того дня я стала поправляться. Радуясь, что мне стало лучше, Папа непременно хотел подарить мне какую-нибудь драгоценность. Но врачи запретили ему: никакое волнение, ни радостное, ни печальное, не должно было коснуться меня, чтобы не расстраивать нервы. Он должен был спрятать футляр в карман, покуда не был снят запрет. Как я была счастлива получить этот подарок. Это была Sevigne – украшение в виде банта с жемчужной подвеской грушевидной формы. Я храню ее еще до сих пор, и она считается фамильной драгоценностью.

Для Мама осень и зима этого года были печальными. Она страдала легкими, и ей было запрещено не только выезжать, но много принимать у себя. Каждое утро меня переносили к ней. Анна Алексеевна читала нам по-русски. По вечерам ко мне приходили молодые фрейлины, чаще других Вера Столыпина. Мы поверяли друг другу наши желания и мысли, мы говорили о наших ошибках и недостатках и мечтали устранить их, энергично работая над собой. Но какую же работу можно выполнять, оставаясь в девушках! Таким образом у нас пробудилась мысль о замужестве. Для Веры был выбор свободен, для меня очень ограничен, особенно если герой моей мечты окажется не одного со мной круга. Такие мысли вызывали во мне грусть, сознание,

что я родилась великой княжной, угнетало. Но четверть часа спустя мы уже хохотали из-за какого-нибудь пустяка или шутки, как это свойственно молодым девушкам, и все кончалось тем, что мы благодарили Бога, что жизнь так прекрасна.

1840 год

Накануне Нового года Папа появился у постели каждого из нас, семи детей, чтобы благословить нас. Прижавшись головкой к его плечу, я сказала ему, как я благодарна ему за всю ту заботу и любовь, которые он проявлял ко мне во время моей болезни. «Не благодари меня, – ответил он, – то, что я чувствую, естественно; когда у тебя самой будут дети, ты поймешь меня».

Масленица этого года прошла для нас незаметно. Я вспоминаю только один бал у тети Елены. На мне была сетка из бархатных лент, чтобы скрыть мою бритую голову. Папа был очень огорчен тем, что пришлось обрезать мои длинные косы, которыми он так гордился.

Я упустила упомянуть, что мы снова жили в Зимнем дворце. В Страстную субботу 1838 года там была освящена церковь. В день свадьбы Мэри мы провели в Зимнем дворце одну ночь и переехали туда окончательно в ноябре. За двенадцать месяцев дворец был снова восстановлен благодаря усердию Клейнмихеля. Перед нашим переездом во дворце топили день и ночь, чтобы изгнать из него сырость. В нем устроили новое отопление, подобие центрального, которое совершенно высушило воздух. Чтобы устранить этот недостаток, к нам в комнаты внесли лоханки со снегом и водой, и я думаю, что это произвело очень неблагоприятное действие на наши легкие. Только спустя тридцать лет, благодаря успеху гигиены, было устроено новое, более полезное отопление с вентиляцией.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге – в прошлом главный императорский дворец России. Нынешнее здание дворца (пятое) построено в 1754–1762 годах итальянским архитектором Бартоломео Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах. Начиная с советского времени в стенах дворца размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа

Помещения для нас, детей, были в нижнем этаже, под апартаментами Родителей. Из комнат, расположенных на юг, открывался чудесный вид на Неву, крепость и Биржу. Своды с колоннами помогали приспособить для жилья интерьер этих громадных комнат, и мы чувствовали себя очень уютно. Наши спальни были низкими, моя рабочая комната, с четырьмя окнами, очень большой и не слишком теплой; я предпочитала ей библиотеку, где стояли мои шкафы и мой рояль. Мой рабочий стол стоял между двумя колоннами, очень укромно и приятно. Для этого помещения я получила от Папа прекрасные картины, частью те, которые принадлежали еще Бабушке, частью же копии из Эрмитажа.

И здоровье Саши было окончательно восстановлено. Он раскаивался в своем заблуждении и уехал весной в Германию. 4 марта в Дармштадте была объявлена его помолвка. Барятинский привез его письма и рассказывал о торжестве, на котором он присутствовал. Он прибыл утром, и обрадованный Папа сейчас же повел его к постели Мама, чтобы он рассказал ей о счастливом событии. Мы прибежали со всех сторон и обнимались и целовались, как на Пасху.

Мэри завоевала сердца всех тех русских, которые могли познакомиться с ней. В ней соединялось врожденное достоинство с необыкновенной естественностью. Каждому она умела сказать свое, без единого лишнего слова, с тем естественным тактом, которым отличаются прекрасные души. Саша с каждым днем привязывался к ней все больше, чувствуя, что его выбор пал на Богом данную. Их взаимное доверие росло по мере того, как они узнавали друг друга. Папа всегда начинал свои письма к ней словами: «Благословенно Твое Имя, Мария».

29 марта родился первый ребенок Мэри, маленькая Адини, прелестная девочка с каштановыми волосами и большими темными глазами, совершенный портрет своего отца. Первый ребенок! Какая несказанная радость! Мэри была идеальной матерью, нежная, исполненная заботы и очень ловкая. Она не только сумела добиться от своих детей послушания – они любили ее и уважали, и ее авторитет все увеличивался с годами. Ее дети были для нее также оплотом и защитой от всех жизненных разочарований, вытекавших из непостоянства ее натуры. Как я любила потом прелестную картину, когда она в детской, окруженная всей своей румянощекой детворой, с новорожденным на руках, сидела с ними на полу.

В то время тетя Елена направляла всю свою энергию на то, чтобы поженить меня и своего брата, принца Фридриха Вюртембергского. Тот, в свою очередь, старался избежать брака со старшей дочерью короля Вильгельма Вюртембергского, которая считалась политически развитой, что было в его глазах большим пороком. Тетя Елена подумала обо мне и уверяла, что ее брат заинтересовался мною уже после своего первого визита в Россию в 1837 году. Она расхваливала его на все лады, подчеркивала, какие блестящие перспективы открывались перед ним ввиду того, что кронпринц Карл слишком болезнен и слаб, чтобы управлять государством. Так она судила о моем дорогом Карле! Кто мог думать тогда о том, что в один прекрасный день я стану его счастливой женой! Папа ответил ей: она свободна выбирать кого хочет: он никогда не будет влиять на меня, и об этом плане он тоже ничего не скажет мне ввиду того, что знает, как я отношусь к мысли о замужестве из-за моей юности. Фриц, который в то время долго гостил у тети Елены, приходил к нам по вечерам как родственник, без доклада. Его посещения учащались, я чувствовала его намерения и однажды рассказала все об этом Мама, в ужасе и задыхаясь от негодования. Он был вдвое старше

меня, в свое время он танцевал с Мама, он сверстник моих Родителей; я относилась к нему как к дяде, да ведь я же была связана своим обещанием! На следующий день было воскресенье. Когда Фриц пришел в церковь во время обедни, как раз читали из Апостола о диаконе Св. Стефане. Конечно, я усмотрела в этом указание свыше, и Фрицу было окончательно в любезной форме отказано.

Я совсем не спешила выходить замуж; мне было так хорошо, и я была так счастлива дома. Папа только смеялся, когда я говорила ему об этом. «Я сдержу свое слово, – говорил он, – ты свободна и можешь выбрать кого хочешь». – «Папа, решите вы за меня, мне кажется, я не смогу решиться покинуть вас». Он обнял меня и сказал серьезно и ласково: «За кого ты выйдешь замуж, не зависит ни от меня, ни от тебя. Только один Господь решит это». Эти слова подействовали на меня как бальзам.

В июне из-за здоровья Мама предполагалось поехать в Эмс, но из Берлина написали тревожное письмо, и мы ускорили поездку. Генерал фон Раух нашел Дедушку очень ослабевшим. Он несколько раз выразил желание видеть своих семерых детей у себя. Мы немедленно выехали. Уже в Сувалках нас ожидали тревожные вести. Сообщали из Берлина, что последние дни он не покидал постели. Какими ужасными были последующие дни. Мама и ее сестры сменялись у постели больного. Вся остальная семья собиралась в салоне, так называемой Комнате попугаев, я почти всегда в обществе Саши и Марихен, младшей дочери тети Марьянны. Дяди, их жены и другие бесчисленные родственники стояли группами, в зависимости от руководивших ими ревности или симпатии. Бывали сцены, граничившие с карикатурой. Тетя Элиза (кронпринцесса) держалась в стороне и очень тихо. Но как только она делала движение по направлению комнаты больного, все невестки тотчас же следовали за ней. Принц Карл старался их удержать, тогда Мэри (одна из невесток) делала ему сцену. Однажды Августа (впоследствии Императрица) с возмущением обратилась к старому принцу Августу и пожаловалась ему на такое поведение. Тот попробовал снова восстановить мир между ними. Насколько задушевно было отношение семи детей и Дедушки между собой, настолько плохо ладили между собой четыре невестки. Возможно, что виной этому была громадная разница их темпераментов. Мои Родители очень ценили тетю Элизу, и последующие события показали, что они не ошибались. В семье не любили ее холодного вида и ее спокойную, немного сухую манеру обращаться с людьми. Она же чувствовала, что ее

осуждают, и держалась в стороне от других, предпочитая им общество своих сестер и мужа, который ее обожал. Я была совершенно очарована ею и не находила ее ни в какой мере холодной. Мне она казалась самой естественностью, чуждой всяких поз и фраз. Она была баваркой, католичкой и выросла в скромной домашней атмосфере, так как ее отец, король Максимилиан I, вступил на престол только из-за неожиданной смерти своего брата. Она привыкла к южнонемецкому уюту и, попав в суровую и холодную атмосферу Прусского Двора, долго тосковала по родине. Но ее супружеская жизнь была идеальной. Она была не только поверенной, но даже советницей своего мужа. Последние годы его жизни, во время его болезни, она была настоящей сестрой милосердия. Только вдовой – последняя королева Пруссии – она смогла завоевать симпатию нового Императора Вильгельма I и подружиться с Императрицей Августой. Таким образом, обе эти женщины наконец оценили и полюбили друг друга.

В одно прекрасное утро Дедушка почувствовал себя лучше и захотел увидеть своих внуков. Он поздравил Сашу с помолвкой и сказал ему: «И моя мать была из Дармштадта». Мне он сделал жест снять чепчик и приказал: «Налево кругом», чтобы он мог видеть меня и сзади. «Выглядишь как новобранец», – сказал он, увидев мою бритую голову.

26 мая, в день Св. Троицы, семья присутствовала на богослужении в Малом дворце. Старый король причащался и благословил своих детей. Проповедь была очень трогательной, молились о продлении жизни короля, но вскоре после того, как Папа прибыл из Варшавы, часы деда были сочтены. Приезд Папа был последней радостью Дедушки. Он узнал его, хоть и не мог больше говорить, взял его за руку, прижал ее к своему сердцу и посмотрел на Мама, точно хотел поблагодарить за то, что Папа так бережет его горячо любимую дочь.

Через несколько часов после этого нас всех позвали. В то время как мы стояли на коленях вокруг умирающего, священник читал отходную. Княгиня Лигниц (урожденная графиня Гаррах, морганатическая жена короля Фридриха Вильгельма III Прусского) стояла в изголовье и прижимала к вискам больного одеколон. Затем последовал вздох – молчание – наступил конец. Княгиня поцеловала его лоб, закрыла ему глаза и исчезла, чтобы предоставить место детям. Все рыдали, даже лейб-медик Гримм и старый камер-лакей Киначт, – это была кончина патриарха. Для меня же это была первая смерть, которую мне довелось увидеть

так близко.

Кронпринц, ставший теперь королем, искал глазами княгиню Лигниц, которая находилась в глубине комнаты. Он тепло поблагодарил ее за любовь к его отцу и заверил в почтении и благодарности всей семьи. В этот день вечером семья собралась в нижнем этаже в комнатах моих Родителей, чтобы читать Евангелие.

Король начал с цитирования слов, которые он видел на стене в одной старой церкви Кенигсберга: «Мое время в беспокойстве, моя надежда на Господа». Эти слова остались девизом на всю его жизнь.

На следующий день мы с Мама встали рано. Покойного короля уже перевезли в часовню, где он лежал в шинели и фуражке на походной постели. Камер-лакей и один из адъютантов дежурили при нем. Кроме них, никого не было. Таким образом, Мама могла без лишних свидетелей попрощаться со своим любимым отцом. Когда она кончила молиться, она попросила созвать старых слуг. Среди них были и служившие со времен королевы Луизы. Каждому из них она протянула руку и поблагодарила в теплых, сердечных словах. Как они все плакали и обступили ее! Я чувствовала ту любовь, которую они питали к своей прежней принцессе Шарлотте. После этого Мама обошла все комнаты дворца, вплоть до комнаты своей матери, которая оставалась закрытой с 1810 года, года ее смерти. Так Мама прощалась со своим Отчим домом.

Папа из-за состояния здоровья Мама не хотел, чтобы она принимала участие в похоронных церемониях, и отослал ее в Сансуси. Там в ту чудесную весну она провела дни спокойствия и внутреннего отдыха.

Короля похоронили в парке Шарлоттенбурга, рядом с королевой Луизой. Планы мавзолея были уже спроектированы Шинкелем и Раухом. В следующее воскресенье служили во всех церквах поминальные обедни. Во дворце проповедь говорил придворный духовник Штраус. Он привел с большим умением историческую справку о царствовании короля. Незнакомая с протестантскими обрядами, которые допускают такие исторические речи во время поминальных обеден, я напрасно ждала молитв, которые отвечают в такие минуты внутренним чувствам. Наконец, после нескольких минут молчания, так называемой «тихой молитвы», и после чудесного пения

придворных певчих на мотив нашей Херувимской, обедня закончилась импровизированной молитвой духовника, исходившей действительно из сердца.

Через несколько дней все мы поехали в Веймар к тете Марии. Папа любил эту свою старшую сестру почти сыновней любовью. Мне она казалась воплощенным долгом. Замужем в течение 35 лет за смешным мужем, она никогда не знала слабости. Добрая, большая благотворительница, очень способная в делах финансового управления (она унаследовала это от своей матери, Императрицы Марии Федоровны, и первой ввела в Германии ссудные кассы). С шести часов утра она уже писала, стоя у своего бюро в кабинете, вела все переговоры от имени Великого герцога и старалась еще сохранить традицию Веймара как немецкого литературного Олимпа. На свой собственный счет она заказала в своем огромном салоне четыре фрески у Бернхарда Нехера, которые должны были воспевать Гёте, Шиллера, Геллерта и Виланда. Она покровительствовала артистам, главным образом музыкантам – Веберу, Гуммелю и Листу. Ее двор был сборным пунктом для всех маленьких дворов немецкого Севера. Я восхищалась своей теткой, несмотря на то что ее добродетельность действовала на меня удручающе.

В комнатах моего кузена Карла Александра я увидела на одном столе портрет эрцгерцога Стефана. Я видела его изображение впервые. Он был снят стоя, со скрещенными руками, и напоминал своей позой герцога Рейхштадтского. Его лицо показалось мне притягательным, если не сказать значительным. Мы думали тогда, что он приедет в Эмс, чтобы сделать нам визит. Я ожидала его в нерушимой уверенности, что он назначен мне судьбою.

Во время нескончаемых разговоров моих Родителей с тетей Марией ее муж, дядя Кикерики (это было прозвище Великого герцога), должен был как чичероне показывать мне свою столицу. В доме Гёте, куда он привел меня сначала, я нашла бюст Мама, увитый иммортелями, среди античных слепков. Ее красота, вероятно, показалась поэту типичной для юности и грации, отчего он поставил этот бюст у себя. В библиотеке мне точно указали число фолиантов, их было тридцать тысяч. Потом он провел меня в собрание своих собственных коллекций, что, видимо, доставляло ему громадную радость. Это была невероятная смесь китайских мопсов, китайской мебели, мейссенского фарфора, и между ними находились действительно

ценные старинные гравюры без рам, просто наклеенные на стены. Кто не знал этого дядю, тот не поверит, что это был за оригинал. Сын Великого герцога Карла Августа, воспитанный на глазах у Гёте и его блестящего окружения, он от всего воспитания и атмосферы родительского дома не сохранил ничего, кроме анекдотических воспоминаний. Обладая замечательной памятью, он без конца рассказывал истории, анекдоты, смешные подробности, сопровождая все веселым подмигиванием и подталкиванием локтем. Тетя, слышавшая все эти истории сто раз, даже не обращала на них внимания, если она случайно бывала при этом; мы же, остальные, вынужденные их слушать, умирали со смеху.

5 июня мы уехали во Франкфурт. Из Ханау Саша и я ехали в открытой коляске, и под вечер мы прибыли туда и остановились в Отель де Рюсси. Мы с волнением думали о встрече с Гессенской семьей. Мы сменили траурные черные платья на белые. Я помню совершенно точно, что после первых официальных слов и поздравлений по случаю помолвки Мари Дармштадтская обняла меня как сестра; сестрой она мне и осталась до смерти. По ее манере себя держать и по выражению ее лица ей никак нельзя было дать ее пятнадцати лет, настолько умным было это выражение и настолько серьезным все ее существо. Только по яркому румянцу можно было догадаться о ее волнении. Папа, не переставая, смотрел на нее. «Ты не можешь понять значения, которое ты имеешь в моих глазах, – сказал он ей. – В тебе я вижу не только Сашино будущее, но и будущее всей России; а в моем сердце это одно». Великий герцог, отец невесты, несомненно, самый добрый человек на свете, но довольно незначительный, не сказал ни слова и представил нам своих трех сыновей. Младший Александр, на год моложе Мари и неразлучный с ней, был тонкий и хрупкий, с маленькими умными глазами. Папа пришла мысль пригласить его служить в русской армии, чтобы в будущем сестра и брат продолжали быть вместе. Это предложение было тотчас же принято. Мари нам доверили во время нашего пребывания в Змее. Мы спали в одной комнате. Еще сегодня я вижу ее перед собой в постели, с обнаженными прекрасными руками, в ночной рубашке, оставлявшей открытыми шею и плечи, и распущенными пышными каштановыми волосами. «Спокойной ночи, спи спокойно!» – говорили мы друг другу в которой уже раз и снова начинали болтать, вместо того чтобы спать, столько ей нужно было меня спросить и столько мне рассказать ей. С первого дня между нами воцарились симпатия и доверие. Для меня она была особенным созданием как будущая жена моего любимого брата; теперь же ко

всему этому присоединилось убеждение, что она превзошла все мои ожидания, настолько она была прелестна. Милая, дорогая Мари, твоя память всегда останется благословенной!

В Эмсе Мама пила воду, а я – ослиное молоко. Прогулок по курортному парку я избегала, насколько возможно, так как везде за нами следовали любопытные взгляды. Мы совершали прогулки в горах на осликах, откуда мы спускались к реке Лаан и даже ездили по ней на пароходе. Мы всегда завтракали все вместе. Мама и тетя Луиза писали в своих альбомах, дядя Вильгельм читал газеты и по большей части рисовал. В обеденную пору, когда Мама брала ванну, Мари с Сашей приходили ко мне. Мы ели землянику, и мой преподаватель немецкого языка Оёртль читал нам «Вымысел и правда», описание Гёте коронования императоров во Франкфурте. Я много занималась музыкой, окрыленная Тальбергом (знаменитый пианист того времени), Кларой Вик (Шуман) и Францем Листом, которые играли у Мама. Благодаря слышанному и некоторому усердию я сделала успехи. Русские дипломаты, аккредитованные при различных европейских Дворах, приезжали к Мама. Среди приезжих иностранцев мне особенно запомнилась прекрасная герцогиня Белийоза, белая как мрамор, с горящими глазами, с манерами умирающей, окруженная поклонниками. Она нас интересовала, но нам не нравилась, в то время как маленькая, скромная пожилая дама в коричневом, со следами былой красоты, нас пленяла своей скромностью – то была мадам Рекамье.

Бад-Эмс или просто Эмс – город-курорт в Германии, на реке Лан. Районный центр земли Рейнланд-Пфальц

Недели, проведенные в Эмсе, были для меня сплошным восторгом. Мне казалось, что во мне что-то распускается, расцветает. Все я видела точно окутанным светящимся флером, вся моя будущность казалась мне такой же, как будто меня ожидали одни радости. Вся эта восторженность была вызвана нивами земли Нассауской, берегами Рейна с его замками, развалинами и сказаниями, которые Мама умела так хорошо рассказывать. Крепость Эренбрейтштейн восстанавливалась, от замка Штодьценфельз остались только руины; король Фридрих Вильгельм IV мечтал их реставрировать в готическом стиле, как был восстановлен замок Рейнштейн.

У нас было и много придворных визитов. Между ними – король Людовик I Баварский с королевой Терезой, которые, я это прекрасно чувствовала, особенно рассматривали меня. Во время одной прогулки, когда мы случайно очутились одни, король передал мне лист бумаги:

«Прочтите это». Я прочла стихи «Роза и Лилия» по-французски. «Это вы». Затем он быстро прибавил: «Я хотел бы вас иметь в мраморе и масляными красками», и все в таком роде. Я только смеялась. И все-таки в этом человеке было что-то, что отличало его от остальных людей светского общества и его круга.

Он был, вероятно, деспотичен в семье и придирчив, но по отношению к посторонним мог быть в высшей степени любезен, говоря на свойственном ему языке красок и поэзии.

Нас посетила также герцогиня Лейхтенбергская со своей дочерью Теодолиндой, пикантной и грациозной девушкой, в которой ясно была видна смесь немецкой и французской крови. Было известно, что она питала большую любовь к баварскому великолепному Максу, но осталась эта любовь без взаимности. Она прекрасно понимала это, хотела быть великодушной и старалась уговорить меня выйти за него замуж и сделать его счастливым. Она описывала его таким, каким его изображала ее любовь: он был предан только хорошему и благородному, окружен замечательными людьми, как учеными, так и философами и поэтами, в то время как его отец покровительствовал художникам и ваятелям. Наконец, она указала на сияние той короны, которую я буду разделять с ним, не зная, конечно, что подобное сияние было мне совершенно не нужно, если я не могла последовать голосу своего сердца. Жить в его тени, под сенью моей любви – такой я представляла себе жизнь подле Стефана.

Наконец, «великолепный» получил разрешение приехать в Дармштадт, чтобы навестить свою сестру, Великую герцогиню Матильду, в то время как и мы будем там на обратном пути. Я должна была еще раз повидать его, поговорить с ним, прежде чем окончательно ему отказать. Меня повезли туда, как Ифигению к жертвеннику. Я слушала Макса, отвечала ему как автомат и не чувствовала с его стороны ничего иного, кроме напряженности, усилия и полного отсутствия легкого, естественного поведения. Я думаю, он должен был действовать из соображений благоразумия, а не импульса, что придавало всему его сватовству характер неуверенности, мне же нужен был МУЖ, который мог бы вести меня силою своего характера и любви. Этому требованию Макс не соответствовал. Вечером, когда я перед сном открыла Евангелие, мой взгляд упал на восьмую главу Послания к Римлянам. Это было как бы ответом на мой страх и беспокойство. Утешение и уверенность влились в меня, и вдруг я поняла, как должна была поступить.

Таким образом, я рассталась с Дармштадтом легко и свободно. Короткими этапами мы подъезжали к Дрездену, Мама, Мари и я в одной коляске. От Лейпцига мы ехали железной дорогой. В Дрездене нас с Мари, которая была в близком родстве

с Саксонским королевским домом, встретили очень сердечно. Мари и я осматривали весь прекрасный город, Зеленые своды, Оружейную, собрание коллекций и картинную галерею, первую, которую я осматривала и которая даже после моих поездок в Италию осталась для меня самой любимой. Я купила себе копию Тициана: Христа с податью, эта картина с тех пор никогда не покидала меня. В Дрездене я, между прочим, встретилась с княгиней Мелани Меттерних, третьей женой канцлера; в то время она была в расцвете своей красоты. Классическая голова, овитая тяжелыми косами, глаза необычайно живые и говорящие, голос и тональность полны прелести, свойственной венкам.

В конце августа мы уехали в Варшаву; 3 сентября под проливным дождем прибыли с Мари в Царское Село (в народном толковании это значит: богатая жизнь); 8 сентября был въезд в Петербург в сияющий солнечный день. Мама, Мари, Адини и я ехали в золотой карете с восемью зеркальными стеклами, все в русских платьях, мы, сестры, в розовом с серебром. От Чесменской богадельни до Зимнего дворца стояли войска, начиная с инвалидов и кончая кадетами у Александровской колонны. На ступеньках лестницы, ведущей из Большого двора во дворец, стояли по обеим сторонам дворцовые гренадеры. Мы вышли на балкон, чтобы народ мог видеть невесту, затем были церковные службы в храме, молебен и, наконец, большой прием при Дворе. Все городские дамы и их мужья, как и купцы с женами, имели право быть представленными невесте. Все залы были поэтому переполнены.

Для Мари были устроены апартаменты в Зимнем дворце подле моих, красивые, уютные, хотя и расположенные на север. Осень мы проводили в Царском Селе. Мари учила Закон Божий и русский у Анны Алексеевны, которая сумела не только передать своей ученице прекрасное произношение, но вместе с любовью к языку внушить ей и любовь к народу, которому она теперь принадлежала. Потом говорили, что после императрицы Елизаветы Алексеевны ни одна немецкая принцесса не владела так хорошо нашим языком и не знала так нашу литературу, как знала Мари. Мама много читала по-русски, главным образом стихотворения, но говорить ей было гораздо труднее. В семье мы, четверо старших, говорили между собой, а также с Родителями всегда по-французски. Младшие же три брата, напротив, говорили только по-русски. Это соответствовало тому национальному движению в царствование Папа, которое постепенно вытесняло все иностранное, до тех пор

господствовавшее в России.

5 декабря в церкви Зимнего дворца была пышно отпразднована церемония перехода Мари в лоно православия. С необычайной серьезностью, как все, что она делала, она готовилась к этому дню. Она не только приняла внешнюю форму веры, но старалась вникнуть в правоту этой веры и постигнуть смысл слов, которые она читала всенародно перед дверьми церкви, в лоно которой должна была вступить. Первые слова «Верую» она произнесла робко и тихо, но по мере того, как она дальше произносила слова молитвы, ее голос креп и звучал увереннее. Во время Таинства подле нее стояла ее восприемница мать Мария, игуменья Бородинской обители, высокая, аскетичная, вся в черном, подле нее особенно трогательной казалась Мари, в белом одеянии, в локонах вокруг головы, украшенная только крестильным крестом на розовой ленте, который надел на нее митрополит после того, как лоб девушки был помазан миром. После причастия лицо Марии светилось радостью. Во время молебна ее имя было впервые помянуто как имя православной. На следующий день была отпразднована помолвка и в соответствующем манифесте она названа Великой княгиней Марией Александровной. Поздравления и пожелания жениху и невесте, приносимые духовенством, Советом, Сенатом, всем Двором, городскими дамами с мужьями и, наконец, корпусом офицеров, длились часами. Важен был прием дипломатического корпуса, назначенный на следующий день, так как от донесений и впечатлений представителей всех стран своим Дворам зависела репутация юной великой княгини.

Ум, спокойная уверенность и скромность в том высоком положении, которое выпало на ее долю, вызвали всеобщее поклонение. Папа с радостью следил за проявлением силы этого молодого характера и восхищался способностью Мари владеть собой. Это, по его мнению, уравновешивало недостаток энергии в Саше, что его постоянно заботило. В самом деле, Мари оправдала все надежды, которые возлагал на нее Папа, главным образом потому, что никогда не уклонялась ни от каких трудностей и свои личные интересы ставила после интересов страны. Ее любовь к Саше носила отпечаток материнской любви, заботливой и покровительственной, в то время как Саша, как ребенок, относился к ней по-детски доверчиво. Он каялся перед нею в своих маленьких шалостях, в своих увлечениях – и она принимала все с пониманием, без огорчения. Союз, соединявший их, был сильнее всякой чувственности. Их заботы о детях и их

воспитании, вопросы государства, необходимость реформ, политика по отношению других стран поглощали их интересы. Они вместе читали все письма, которые приходили из России и из-за границы. Ее влияние на него было, несомненно, и благотворно. Саша отвечал всеми лучшими качествами своей натуры, всей привязанностью, на какую только был способен. Как возросла его популярность благодаря Мари! Они умели не выпячивать свою личность и быть человечными, что редко встречается у правителей. Как обожали Сашу в кадетских корпусах и в гвардии, которой он командовал после дяди Михаила! У него была замечательная память на фамилии и лица, и он мог много лет спустя, встретясь с кем-нибудь, назвать его по фамилии или отнестись к нему как к товарищу, что доставляло иногда больше радости, чем всякая награда.

Мари сопровождала его во время маневров в лагеря, на смотры и приемы и храбро со своей простой манерой говорила по-русски с генералами и офицерами частей. Потом, когда Саше внушили недоверие к такому влиянию и представили это как слабость с его стороны, Мари отступила на задний план совершенно добровольно. К тому же ее здоровье оставляло желать лучшего. Смерть ее старшего сына, наследника, которому она отдала всю свою заботливость, доконала ее совершенно. С 1865 года она перестала быть похожей на себя. Каждый мог понять, что она внутренне умерла и только внешняя оболочка жила механической жизнью. Ее взгляды, ее отношение к жизни не соответствовали тому, с чем ей пришлось встретиться, и это сломило ее. У нее были свои идеи, свои нерушимые исповедания, главным образом в вопросах религии и веры. Как все перешедшие в православие, она придерживалась догматов, и это было точкой, в которой они расходились с Сашей; он, как Мама, любил все радостное и легкое в религиозном чувстве. Если все, что делается, делается из соображений долга, а не из чувства радости, какой грустной и серой становится жизнь!

Мама – она еще была молодой в шестьдесят лет! Она всегда понимала молодежь и без труда осталась центром семьи; несмотря на свою болезнь, она была поддержкой только одним своим присутствием среди нас. Мари не хватало мягкости и привлекающей к себе сердечной веселости. Было только немного людей, которые сумели к ней приблизиться. Может быть, я была единственной, кто ее действительно знал и понимал. Для меня она была одной из тех евангельских жен, которые направляются ко Гробу Господню. Она искала примеры только среди тех,

которые стремились к трудной цели и ставили себе высшие задачи. Она любила читать историю наших Святых, житие Св. Моники и письма Св. Августина. Она всегда видела только серьезную сторону жизни, предпочитала серьезные разговоры и любила окружать себя людьми, от которых могла поучиться. В возрасте, когда другие считают себя еще молодыми, она избегала носить розовое и всяких светских увеселений с танцами, – это ее только тяготило. Но на больших балах, когда ей нужно было появиться как Императрице, я поражалась ее гостеприимству. Она никогда не забывала обратиться ко всем с внимательным словом, особенно к тем, кто редко появлялся при Дворе, и с каждым говорила о его личных делах, что совершенно подкупало и очаровывало собеседника. Вообще, она считалась женщиной большого сердца и чувства, но ее улыбка все чаще была грустной.

Но я опять забежала вперед и придала портрету Мари черты страдания последних лет ее жизни. Но в то время она еще была во цвете своих шестнадцати лет, все подпадали под ее юное обаяние, и вся жизнь еще заманчиво лежала перед ней.

1841 год

В конце декабря Мари и я заболели одновременно. Мари – рожистым воспалением лица, а я – сильным кашлем. Мы лежали каждая в своей комнате и не могли видеть друг друга. Чтобы не терять времени и сделать что-нибудь полезное, мы решили переводить с английского на русский язык и распространить в деревне как дешевое издание «Успехи паломничества». Мы довольно далеко продвинулись в своей работе, как нам сказали, что книга уже появилась на русском языке. Когда мне разрешили встать, я хотела было заняться своими красками, но врачи запретили мне это ввиду того, что испарения скипидара плохо отражаются на легких. Мне оставался только рояль; я играла много и с большим наслаждением, главным образом Мендельсона и песни Шуберта в аранжировке Листа. Родители часто приходили ко мне вечером и пили чай в моей библиотеке. Затем я играла для Папа военные марши, а для Мама – Шопена.

В конце февраля врачи Маркус и Раух, лечившие меня также во время моей тяжелой болезни, предложили мне переселиться в Аничков ввиду того, что сухой воздух Зимнего дворца мне вреден. Папа совершенно не был обрадован этим, но так как дело шло о моем здоровье, то он в конце концов согласился, и вся семья с восторгом переселилась в любимое маленькое гнездышко. По прошествии одной недели мой кашель исчез. После этого призвали специалистов, чтобы исследовать свойства воздуха в Зимнем дворце, и выяснилось, что содержание влажности в нем слишком недостаточно как для людей, так и для растений. Построили всюду камины, но и в Аничковом приделали к печам сосуды с водой.

Мама, которая так прекрасно поправилась в Эмсе, в эту зиму начала жаловаться на сердце. Как другие люди заболевают мигренью, так она при каждом малейшем волнении стала хворать припадками сердца, которые часто длились целые сутки. В такие дни она не могла держаться прямо и надеть платье, облегавшее ее. Лейб-медик Мандт не обратил серьезного внимания на эти припадки и считал их основанными на нервности критического возраста. Он прописал только покой и нашел, что Мама нужно избегать больших празднеств в придворном платье. Это была вторая зима, что я не выезжала в свет. Вместо приемов и придворных балов до обеда к Мама приезжали жены послов и другие дамы, и Мари и я присутствовали у нее при таких

посещениях.

Перед Пасхой в апреле приехали дядя Мари принц Змиль Гессенский и ее брат, наследный принц Людвиг. Мари была так тронута и потрясена этим свиданием, что разрыдалась и долго не могла успокоиться. Слезы и душевное потрясение вызвали опять болезненную красноту ее лица, а через несколько дней была назначена свадьба. Камер-фрау Рорбек рекомендовала старое симпатическое средство: без ведома Мари ей положили под кровать язык лисицы, и она таким образом проспала несколько ночей. Совершенно невероятно, но это средство помогло, уже после первой ночи краснота прошла. С тех пор я часто рекомендовала это средство другим, и оно всегда приносило желанные результаты.

Наступил великий день. Это было 16 апреля, канун двадцать третьего дня рождения Саши. Утром была обедня, в час дня официальный обряд одевания невесты к венцу в присутствии всей семьи, вновь назначенных придворных дам и трех фрейлин. Мари была причесана так, что два длинных локона спадали с обеих сторон лица, на голову ей надели малую корону-диадему из бриллиантов и жемчужных подвесок – под ней прикреплена вуаль из кружев, которая свисала ниже плеч. Каждая из нас, сестер, должна была подать булавку, чтобы прикрепить ее, затем на нее была наброшена и скреплена на плече золотой булавкой пурпурная, отороченная горностаем мантия, такая тяжелая, что ее должны были держать пять камергеров. Под конец Мама еще прикрепила под вуалью маленький букетик из мирт и флердоранжа. Мари выглядела большой и величественной в своем наряде, и выражение торжественной серьезности на ее детском личике прекрасно гармонировало с красотой ее фигуры.

«Ольга, королева Вюртемберга». Художник Гемхлин Карлс. 1840-е гг.

В три часа был торжественный банкет для первых трех придворных классов, примерно четыреста человек разместились в Николаевском зале Зимнего дворца за тремя громадными столами. Посреди Царская Семья и духовенство, которое открыло банкет молитвой и благословением. За столом по правую руку сидели дамы, по левую кавалеры. Пили здоровье молодых, Их Величеств, Родителей Цесаревны, а также всех верноподданных, и каждый тост сопровождался пушечными залпами. Высшие чины Двора подносили Их Величествам шампанское, нам, прочим членам Царской Семьи, прислуживали наши камергеры. На хорах

играл военный оркестр, и лучшие певицы Оперы, Хейнефеттер и Ла Паста, пели так, что дрожали стены.

В восемь был полонез в Георгиевском зале: Папа танцевал впереди всех с Мари; в десять часов мы возвратились в свои покои, здесь только семья ужинала вместе с молодыми. Адини и я не принимали в этом участия, а ужинали вместе с нашими воспитательницами у меня и смотрели на Неву, на освещенную набережную, разукрашенные флагами суда, праздничную толпу, а за ней шпиль Петропавловской крепости, поднимающийся к небу, еще позолоченный заходящим солнцем. Жуковский увидел нас у окон снизу, поднялся к нам в приподнятом, восторженном настроении, которое передалось и нам. Таким прекрасным аккордом закончился этот день.

За ним последовал еще целый ряд празднеств, между ними – празднование дня рождения Саши 29 апреля и дня ангела Мама и Адини 3 мая. Закончилось все народным празднеством в национальных костюмах, на которое были допущены тридцать тысяч человек. Зимний дворец освещался всю ночь напролет, и в залах толклась невообразимая толпа. В Белом зале для Мама было устроено спокойное место за балюстрадой, где она могла сидя принимать приветствующих ее. Папа с одной из нас, дочерей, под руку ходил, насколько это было возможно, среди толпы; празднество длилось бесконечные часы. Мы совершенно обессилели под конец. Мама и я, унаследовавшая ее хрупкое здоровье, должны были еще долго потом поправляться.

На свадьбу прибыл также дядя Вильгельм со своим адъютантом, графом Кёнигсмарком, очень приятным собеседником, необычно скромным для пруссака и безо всякого предубеждения против России. С дядей Вильгельмом я очень подружилась во время нашего пребывания в Эмсе. Он только что вступил в масоны и говорил с увлечением об этом гуманном содружестве. Орлов, Бенкендорф и Киселев не разделяли его восторгов. Папа также часто говорил об этом. Я еще прекрасно помню его слова: «Если их цель действительно благо Родины и ее людей, то они могли бы преследовать эту цель совершенно открыто. Я не люблю секретных союзов: они всегда начинают как будто бы невинно, преданные в мечтах идеальной цели, за которой вскоре следует желание осуществления и деятельности, и они по большей части оказываются политическими организациями тайного порядка. Я предпочитаю таким тайным союзам те союзы, которые выражают свои мысли и желания

открыто». – «И все-таки вы допускаете цензуру в прессе?» – «Да, из необходимости, против моего убеждения». – «Против вашего убеждения?» – «Вы знаете, – возразил Папа, – по своему убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность, и покуда я ее выполняю, я должен за нее нести ответственность». – «Вам надо завести орган, предназначенный для того, чтобы опровергать ту клевету, которая, несмотря на цензуру, постоянно подымает голову». – «Я никогда в жизни не унижусь до того, что начну спорить с журналистами».

В то время я соглашалась с Папа. Но с тех пор как я живу в Германии, я на опыте узнала, что пресса представляет собой силу, с которой приходится считаться правительству, если оно хочет быть авторитетным.

По окончании торжеств Папа с Сашей и принцами, присутствовавшими на свадьбе, отправились в Москву. Я, ослабевшая, как комар, должна была пить ослиное молоко, в то время как Мама были предписаны молочные ванны. Эрцгерцог Стефан, также приглашенный на торжества, опять не приехал; Вена удовольствовалась тем, что прислала Рейшаха, который сопровождал Сашу по Австрии, а также молодого фон дер Габленца. Дядя Вильгельм Прусский видел эрцгерцога во время маневров в Богемии, у него составилось о нем самое лучшее впечатление, и он обрисовал его как человека умного, со здравыми политическими взглядами, прекрасными манерами в обществе, словом, дающего повод к самым прекрасным надеждам.

Не нужно говорить о том, какое все это произвело на меня впечатление и еще больше укрепило мое внутреннее чувство, хотя, казалось бы, я должна была себе сказать, что до сих пор Вена еще не высказалась по поводу брака Стефана со мной.

В июне, накануне дня рождения Адини, к нам приехала тетя Мари Веймарская. Она прибыла пароходом, в обществе своего мужа и младшего сына. Тринадцать лет прошло с тех пор, как она была в России, и увидеть эту страну снова было ей очень приятно. Она жила в Петергофе, ее окружение было выбрано с большой тщательностью, и Папа очень старался сделать ей это пребывание приятным. Каждый второй день мы, сестры, шли к ней, чтобы узнать ее распоряжение на этот день; мы присутствовали на ее приемах и сопровождали ее даже во время поездок в город. От нее можно было многому научиться; она знала, как обращаться с

людьми. Ее вежливость по отношению к окружающим, включая самых простых людей, с которыми она встречалась, не знала пределов. Она никогда не забывала поблагодарить за малейшую услугу. Когда она выходила из экипажа, она поворачивалась, чтобы кивком головы поблагодарить кучера, и это было отнюдь не формальностью, а сердечной потребностью. Она всегда думала о тех, кто ей оказывал внимание, чтобы ответить им тем же. Насколько прекраснее и человечнее жить согласно побуждениям сердца, чем совершенно не иметь их и, например, сбросить на пол пальто, вместо того чтобы дождаться, когда оно будет снято, уйти, не попрощавшись, или не заметить поклона!

К обеду тетя почти постоянно приезжала к нам, в громадной шляпе, которые были в моде в 1814–1815 годах. По вечерам мы сидели в зеленом салоне до 10 часов вечера без света, в сиянии прекрасных светлых ночей Севера. Мы, молодые, с кузеном Веймарским и Александром Гессенским, братом Мари, сидели одни, за столом у окна, шутили и дразнили друг друга. Если тетя и не слышала наших голосов (она была глуховата), тем не менее она не спускала с нас глаз. Она мечтала заполучить одну из нас, Адини или меня, в жены своему сыну и старалась отгадать, которая из нас подошла бы ему лучше. Она обратилась с этим к Папа, его отказ ничуть не смутил ее. В один прекрасный день она пожелала видеть мои комнаты. Она критически осмотрела лестницу, множество балконов и дверей, которые все выходили в переднюю, и наконец сказала неожиданно: «Неужели у вас здесь нет ни одной комнаты, в которой нельзя было бы подслушивать?» Я напрасно старалась ее успокоить, и только после того, как Анна Алексеевна обошла все комнаты, чтобы установить, что мы одни, она начала торжественно: «Существуют предрассудки, которые необходимо побороть, предубеждения, граничащие с суеверием, над которыми только смеются в культурных странах. В твоем возрасте надо научиться узнавать это. Я говорила с Николаем, но без успеха. Теперь я сама хочу поговорить с тобой и сказать, что прошу твоей руки для моего сына. Ты согласна?» – «Но, тетя, ведь это мой кузен!» – «Это предрассудки». – «Но Папа сказал тебе то же самое». – «Это отсталые взгляды». – «Но наша церковь запрещает это, и я чувствую себя обязанной ей послушанием».

Разговор длился целый час. Я защищалась, сопротивляясь в корректной форме, в душе несколько обиженная, что она могла подумать, чтобы я ослушалась Церковь, которая была также и ее Церковью. С Адини последовало на следующий день то же самое. Тетя так близко приняла это к сердцу, что захворала и должна

была слечь. Кузен же сделал вид, что ничего не знает, и оставался веселым и непринужденным, вероятно сознавая, что ему более к лицу роль товарища, чем вздыхающего поклонника.

В честь тети состоялись различные приемы и торжества. Мэри, вновь ожидая ребенка, не принимала в них участия. Она жила очень замкнуто в своем прекрасном имении Сергиевское в обществе своего мужа и своей дочурки. Амели Крюднер, ее соседка, разделяла с ней это одиночество. Обе они проводили свое время в критике того, что делалось при Дворе, осуждая и роскошь торжеств и приемов, и потерю времени, связанную с этим, и, главное, вечный сплин, который доминировал надо всем. Родители были обижены этим, они страдали от того, что Мэри точно отвернулась от семьи, но ведь они сделали все, что было в их силах, для ее счастья с Максом. Что Макс не чувствовал себя счастливым, они были невиновны. Существует ли что-либо более унизительное, как быть только мужем своей жены? С каким восторгом приехал он в Россию! И тем не менее ему постоянно давали чувствовать, что он иностранец, его обременяли второстепенными постами или неприятными обязанностями. Макс командовал бригадой в Петергофе, конногренадерами и уланами. Он должен был ежедневно принимать парад под окнами Папа. Устав был очень запутанным, а дядя Михаил – очень придирчивым. Поэтому постоянно были недоразумения, даже грубости, офицеров сажали под арест, часто командиры не знали даже, почему так велика была запутанность и разница в толковании этого устава прусского образца! Сколько было ненужных волнений, сколько прекрасных людей доходили до границы отчаяния! Можно себе представить, что испытывал Макс, выросший в Германии на свободе в своих Альпах, попав в страну с совершенно иными обычаями и нравами и оказавшись среди людей, думавших и говоривших по-другому, чем он, а к тому же суровый климат вредил его здоровью. Папа, прекрасно понимавший тогда последствия, которые вызывала преувеличенная строгость дяди Михаила, старался часто умерить ее. Последнее вызывало только ярость дяди, он начинал кричать, Папа, в свою очередь, выходил из себя, после чего дядя предлагал уйти в отставку, и только Саша мог, внутренне смеясь, снова восстановить мир. Но такие сцены обижали Папа, оттого что он любил своего брата и всегда старался беречь его.

В августе уехала веймарская тетя. Папа отправился на маневры, а мы переселились с обеими молодыми парами, Сашей и Максом, в Царское Село. 4 октября у Мэри родилась вторая

девочка, Маруся, прелестный ребенок с чудесными глазами и правильными чертами лица; она всю жизнь оставалась такой же прелестной, какой была в колыбели. Маруся появилась на свет в той же комнате, в которой 45 лет до нее увидел свет Папа.

В конце октября Двор переехал, как ежегодно, на маневры в Гатчину. Это были беспокойные недели, заполненные празднествами и торжествами. Мне было девятнадцать лет. Мое окружение волновалось: «Как, девятнадцать лет, и все еще не замужем!» Обсуждали и взвешивали все «за» и «против» и пришли к убеждению, что на этот раз необходимо, чтобы брак был равным: брак Мэри не удовлетворил тщеславия и гордости нации.

Из Мекленбурга пришло известие, что кронпринц Баварский гостит там и просит известить нас, что горит желанием увидеть меня. На вопрос Мама, разрешить ли ему приехать, я не рискнула сказать «нет». Цоллер, адъютант Макса, был послан в Мюнхен с письмом, в котором кронпринца приглашали в Петербург. В должный срок он возвратился с письмом короля и королевы обратно. В очень смущенном тоне в них говорилось о том, что кронпринц уже остановил свой выбор на принцессе, имя которой еще не было названо. Не было никого счастливее меня! Гора свалилась с плеч, и я прыгала от восторга. С нашего посещения Берлина в 1838 году Макс Баварский не переставал быть кошмаром моей жизни. Наконец-то я могла вздохнуть свободно и совершенно свободной обратиться к Стефану, чей образ все еще витал передо мною. От Екатерины Тизенгаузен, которая навестила в Вене свою сестру Фикельмон, мы снова услышали о нем. Она видела его часто, говорила с ним, и каждый раз он спрашивал про нас и выразил желание с нами познакомиться. В это время послом в Вену как раз был назначен граф Медем. Ему доверили прозондировать почву, как этого хотели Саша и я. В это время неожиданно пришло письмо от эрцгерцога Альбрехта, которое разошлось с посылкой Модема в Вену. В нем он просил моей руки. Я уже упомянула, что он был мне симпатичен, что я питала к нему уважение и дружеские чувства. Но, несмотря на все это, я почему-то испытывала физическую неприязнь к нему, отчего о браке не могло быть и речи. Без промедления, уже потому, что велись переговоры относительно Стефана, ему был послан отказ.

Ответ из Вены заставил себя ждать очень долго. Только три месяца спустя пришло длинное, от руки написанное письмо Меттерниха. Обрамленное всевозможными любезностями, оно заключало в себе примерно следующее: браки между партнерами

разных религий представляют для Австрии серьезное затруднение. Легковоспламеняющиеся славянские народности в Венгрии и других провинциях государства невольно наводят на мысль, что эрцгерцогиня русского происхождения и православного вероисповедания может быть опасной государству и вызвать брожения и т. д., и т. д.

Сам же Стефан сказал Медему, что, зная чувства Альбрехта ко мне, считал, что поступает правильно, избегая встречи с нами в Германии. Теперь же ко всему прибавились и политические причины, мешающие ему действовать. Через несколько дней после этого разговора умерла его сестра-близнец, принцесса Гермина, которую он обожал. Траур заставил его совершенно замкнуться. Мои надежды были разбиты, и, казалось бы, я должна была сказать себе, что все кончено. Однако чем сложнее были препятствия, тем больше я цеплялась за свою мечту.

Стали подыскивать мне другую партию и остановились на герцоге Нассауском. Это чуть не привело к разрыву с Михайловским дворцом. Тетя Елена уже лелеяла мечту о том, чтобы сделать свою старшую дочь Марию наследной великой герцогиней в Карлсруэ, младшую же Лилли водворить в Висбадене как жену Адольфа Нассауского. Когда Папа узнал об этом, он сейчас же заявил, что его племянницы такие же великие княжны, как мы, и он их считает своими детьми, поэтому Адольф Нассауский волен выбрать между нами по своему усмотрению.

Дядя Михаил тотчас успокоился, стал добрым и любящим, каким он в самом деле и был в глубине души. Но тетя недолюбливала меня с тех пор, как я отказала ее брату (Фрицу Вюртембергскому). Предположение, что мне может быть оказано предпочтение, взволновало ее в высшей степени. Она поспешила написать своей сестре Полине, чтобы та помешала Адольфу под каким-либо предлогом навестить нас. И в самом деле, из Нассау пришло известие, что он и его сестра лишены возможности принять приглашение оттого, что должны ехать лечиться.

Эта переписка и эта неизвестность трепали-таки мои нервы, и по вечерам, когда я оставалась одна с Анной Алексеевной, я поплакивала. Но утром я уже могла смеяться над теми трудностями, которые создаются, чтобы избавиться от меня. Как я была счастлива дома! Как мы любили друг друга, Адини, Мари и я! Отец Бажанов сказал нам, что жизнь молодой девушки подобна поездке на лодке по чудным водам, но всегда с целью приплыть к берегу. Да, конечно, но ведь можно же было продлить эту

поездку, ведь качаться на спокойных волнах было так сладко!

1842 год

Зима была мягкой, и Мама чувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы навещать, как обычно, женские школы и институты. Я всюду сопровождала ее; мы шли в классы, присутствовали при обеде детей, сидели за их столами, осматривали все помещения и гладили по головке маленьких, которые бежали нам навстречу, чтобы сделать перед нами свой лучший реверанс. С нашего пятнадцатилетия мы, сестры, были членами правления Отечественных школ, расположенных в каждом квартале. Та, которая подчинялась мне, была на Литейном. Там учили читать, писать, Закону Божьему, но главным образом шить и вышивать. Моя школа изготовляла, благодаря своей начальнице, самые красивые работы, и все наше приданое шилось там. Дамы общества почитали за честь быть в членах правления этой школы, и много денег стекалось в нее благодаря этому обстоятельству.

После долгого ожидания этой зимой выяснилось, что Мари ждет ребенка. Благоразумная во всем, она и тут не предалась ничегонеделанию или капризам, свойственным женщинам в ее положении. Ежедневно она приходила к Мама во время завтрака, особенно приятного и любимого нами часа; прибегали туда между уроками и маленькие братья, а также приходили Папа и Саша, чтобы поболтать с нами ради отдыха от разговоров с министрами. Мари проводила все утро у Мама или же спускалась ко мне, чтобы взять русский урок у Анны Алексеевны. У меня больше не было уроков, только несколько часов русского и французского чтения у Плетнева и Курно. Я много писала маслом и копировала этой зимой картину для дяди Михаила: французского гренадера в меховой шапке, работы Ораса Берне.

«Портрет Великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны». Художник Тимофей Нефф. 1838 г.

Карнавалы этой зимой были очень оживленными. Каждое воскресенье были танцы с играми в Малахитовом зале, между ними dejeuners dansants или костюмированные балы в Михайловском дворце у тети Елены. Мне никогда не нравились костюмированные вечера. Как утомительны и скучны приготовления к ним! Специально разученные для них танцы часто подавляют прирожденные талант и грацию.

В конце зимы в одно прекрасное утро, когда мы сидели спокойно у Мама, занятые чтением вслух и рукоделием, послышались вдруг шаги Папа в неурочное время. Затянутый в мундир, он вошел с серьезным лицом. «Благослови меня, жена, – сказал он Мама. – Я стою перед самым значительным актом своего царствования. Сейчас я предложу в Государственном совете план, представляющий собой первый шаг к освобождению крестьян». Это был указ для так называемых оброчных крестьян, по которому крепостные становились лично свободными, но должны были продолжать служить своему помещику дальше. Помещиков призывали к участию в таком освобождении, провести же его в жизнь предоставлялось им самим.

Князь Михаил Воронцов (кавказский наместник) был первым и единственным, последовавшим этому призыву. Он пробовал было провести его в одном из своих имений в Петербургской губернии, но встретил столько препятствий со стороны местных учреждений, что почти сожалел о своем шаге. Когда Воронцов пожаловался на это Киселеву, он услышал в ответ: «Что вы хотите! Мы еще варвары». Таким образом, указ остался невыполненным, что было для Папа горчайшим разочарованием. Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше: «Я не доживу до осуществления моей мечты: твоим делом будет ее закончить».

В эти годы, когда пароходное сообщение из Кронштадта в Любек или Штеттин так облегчило путешествие, стало все больше и больше входить в моду часто ездить за границу. «У русских все еще кочевая кровь в жилах», – заметил Киселев. Париж стал землей обетованной для всех, кто искал развлечений. Летом же это был Баден-Баден. Папа пробовал умерить этот «путешественный пыл», наложив на паспорта пошлину; освобождены от нее были только те, кто предпринимал путешествие по докторскому предписанию. Все богатые люди добывали с легкостью себе паспорта и медицинские свидетельства, бедным же не оставалось ничего другого, как принимать ванны в Старой Руссе под Новгородом. Папа надеялся, что открытые в то время ключи Пятигорска на Кавказе станут вскоре местом сбора элегантного русского общества.

Для офицеров гвардии и других молодых людей стало обычаем принимать участие в войне против кавказских народностей и добывать себе лавры, вплоть до Георгиевского

креста. Все дамы, к которым я причисляла и себя, были от них в восторге и считали их героями. Кавказские стихи Пушкина и Лермонтова были у меня в крови, а мои глаза восхищала красочная форма нижегородских драгун с казачьими шароварами и газырями на груди. Волна добровольцев на эту войну была так велика, что выбор решал жребий. Почти все друзья Саши принимали в ней временами участие. Эта война стоила многих человеческих жертв, но вперед не подвигалась. Неизвестно было, которая из войн, французов в Алжире или наша на Кавказе, будет скорее закончена. С волнением слушала я рассказы генералов Анрепа или Граббе, когда они говорили о своих приключениях в Кавказских горах или об обычаях тамошних народностей. Верность кунаков, которая спасла жизнь не одному храбрецу, была непоколебима; жизнь того, кто хоть раз побывал в доме горца и был его гостем, считалась священной.

Но вернусь к событиям того года. Начались приготовления к серебряной свадьбе наших Родителей. Уже в июне прибыли дядя Вильгельм Прусский, кузен Генрих Нидерландский и наша горячо любимая тетя Луиза со своим мужем. Они все жили в недавно выстроенных готических домах, которые были расположены между Летним дворцом и Большим дворцом и которые назывались Готическими. Приехали еще герцоги Евгений и Адам Вюртембергские, друзья юности Папа, а также эрцгерцог Карл Фердинанд. Наконец накануне 13 июля орудия Кронштадта возвестили прибытие короля Фридриха Вильгельма IV, визит которого ожидался, но не было уверенности в том, что он состоится.

Официальные приемы, весь необходимый торжественный церемониал отнимали массу времени, отчего мы совершенно не принадлежали больше себе. Папа, любивший семейные торжества без свидетелей, устроил так, что накануне торжества вся семья, без придворных, в самом тесном кругу собралась вместе, тут он появился с подарками для Мама, со шляпой в каждой руке, третья на голове, футляр во рту, другой под пуговицами его мундира, за ним следовала камер-фрау с платьями на руках, чудесными туалетами, подобных которым мы еще не видели. Для Мама ему самое прекрасное никогда не было достаточно хорошо, в то время как себе он не позволял дарить ничего, кроме носовых платков, и время от времени мы баловали его каким-нибудь оружием, которое он неизменно передавал в Арсенал. От нас, детей, он любил принимать собственноручно нарисованные картины, но не предметы роскоши: кольцо, бумажник, прибор для письменного

стола или, например, более удобный рабочий стул. Случалось, что он засыпал у Мама на какие-нибудь десять минут в ее удобных креслах, когда заходил к ней между двумя утренними конференциями, в то время как она одевалась. Такой короткий отдых был достаточен для того, чтобы сделать его снова работоспособным и свежим. После смерти Адини все сразу изменилось, и его энергия ослабела.

Утром торжественного дня Мама проснулась под звуки трубачей Кавалергардского полка: играли ей «Лендлер» Кунцендорфа, эту вещь она часто слышала еще девочкой в Силезии. Затем был семейный завтрак, к которому каждый принес свое подношение: братья и сестры из Пруссии – серебряную люстру в 25 свечей и глиняные молочники из Бунцлау в Силезии. Мы, семеро детей, поднесли Мама накануне браслет с семью сердечками, из драгоценных камней, которые составляли слово «respect» (почтение (фр.)). От Папа она получила ожерелье из 25 отборных бриллиантов. Каждой из нас, сестер, он подарил по браслету из синей эмали со словом «bonheur» (счастье (фр.)) в цветных камнях, которые отделялись друг от друга жемчужинами. «Такова жизнь, – сказал он, – радость вперемешку со слезами. Эти браслеты вы должны носить на семейных торжествах». Свой браслет я с любовью берегу до сегодняшнего дня и передам его своим наследникам как реликвию.

Папа, растроганный и благодарный за все счастливые годы совместной жизни с Мама, благословил нас перед образами Святых. «Дай вам Бог в один прекрасный день пережить то же, что и я, и старайтесь походить на вашу Мать!»

Затем последовал торжественный выход в церковь Большого дворца; Мама в вышитом серебром платье, украшенная белыми и розовыми розами, мы все с гвоздиками. После службы, на балконе, принимали поздравления. Солнце сияло, было отрадно видеть великое множество поздравлений и приветствий нашим Родителям.

Присутствие короля Пруссии еще больше подчеркивало торжественность церемоний, но отнюдь не означало ничего приятного. Папа особенно старался угодить ему, и оба друг перед другом соперничали в любезностях. Король, совершенно не имевший благородной осанки своего отца из-за сильной близорукости, неохотно садился на лошадь, быстро уставал от

торжеств и парадов и предпочитал им иные интересы. Он так и не нашел точек соприкосновения с Папа. В политических вопросах, несмотря на взаимное уважение, у них были очень разные взгляды. К тому же многочисленная прусская свита вела себя так высокомерно, что не заслужила ни симпатий, ни уважения. Мама и генерал фон Раух (прусский военный атташе в Петербурге) должны были постоянно сглаживать всякие недоразумения. К счастью, совместное пребывание было недолгим, и мы без сожаления расстались с прусскими гостями.

Совершенно иными были отношения с дядей Вильгельмом, который после смерти своего отца носил титул принца Прусского, что приравнивало его к титулу кронпринца. Он очень походил на Мама. Как и она, он относился к людям благожелательно, что облегчало отношения и заставляло каждого чувствовать себя с ним свободно. Духовно он очень уступал Королю, в нем не было той значительности, но он был хорошо образован, и его политические взгляды походили на взгляды Папа; он терпеть не мог ничего неискреннего. Солдат до мозга костей, он страстно любил поездки в Красное Село, маневры, учения. Во время военных игр он был прекрасным судьей, и его советы в военных вопросах очень ценились.

В 1817 году он сопровождал свою сестру-невесту в Петербург; в то время ему было 20 лет, и с тех пор все его симпатии принадлежали России. Он часто приезжал в гости и пользовался расположением как дам, так и кавалеров. С дамами у него были галантно-дружеские отношения, и он сохранял им трогательную верность; когда он в 1874 году, уже Императором, приехал в Петербург, то навестил всех своих оставшихся в живых приятельниц. Он сохранил простоту, которая с юношеских лет делала его таким обаятельным. Как грустно, что этот ясный портрет омрачен тенями 1866 года!

В политике, как и в картах, он походил на Папа. Они оба сейчас же играли с козырей, и их девизом было: «Козыри, вперед!» Оба они не любили тонкостей игры, видя в них что-то неблагородное. Нессельроде, канцлер и министр иностранных дел во время царствования Папа, был тем, кто, как никто другой, умел облечь в вежливую придворную форму то, что было резким в его выражениях или поступках. Он был одним из последних представителей блестящей эпохи, давшей таких способных людей, как Штейн, Талейран, Меттерних, которые в 1815 году могли создать растерзанным народам Европы новую базу

существования. При Нессельроде было много блестящих дипломатов, почти все немецкого происхождения, как, например, Мейендорф, Пален, Матусевич, Будберг, Брунов. Единственных русских среди них, Татищева и Северина, министр недолюбливал, как и Горчакова.

Что же касается Папа, то он не делал разницы ни в именах, ни в национальности. Он считался со способностями и характером человека, требовал уважения и допускал вольномыслие. Я уже упоминала в другом месте, что тем, кто был на его службе, он всецело доверял, даже если знал, что это не совсем надежно; он любил говорить, что выраженное внимание и уважение к людям, готовым впасть в соблазн, как протянутая рука, удерживает их от падения в пропасть. Но какое-то инстинктивное чувство всегда предупреждало его, если в самом деле была опасность. Он всегда говорил непринужденно, полный веры в поставленную цель. Ему не надо было ничего скрывать, и он всегда следовал тому пути, который ему казался предначертанным. Немногие понимали его в его простоте, и многие этим злоупотребляли. Но история оправдает его.

Эти размышления, конечно, не того времени. Мы жили изо дня в день в развлечениях, и заботы о политике и управлении были вне нашей сферы. В 1842 году мне исполнилось двадцать лет. Во мне происходила большая перемена. В то время как за мной укрепилась репутация холодной натуры, мое сердце тосковало по любви, своему дому, детям. Когда я видела перед собой молодые семьи, главным образом Сашу, в его счастливом браке, построенном на взаимной любви и уважении друг к другу, я говорила себе, что для меня все кончено и я никогда не выйду замуж. Мари и Саша постоянно говорили мне, как они счастливы иметь меня при себе, и, несмотря на это, я постоянно впадала в отчаяние. Пустая жизнь, новые развлечения и внешнее веселье давно уже не удовлетворяли меня больше. Чтение, музыка, рисование были, в конце концов, тоже только времяпровождением. Я же чувствовала в себе совсем иную силу. Вскоре Господь услышал меня.

Но прежде чем закончить 1842 год, я должна еще упомянуть о новом военном законе, который зародился в это время и о котором много говорилось. Дело было в том, что Папа непременно хотел облегчить участь солдат и дать крестьянам крепкие руки и свободный труд. Для этого он проектировал сбавить на 15 лет 25 лет солдатской службы, как это учредил

Петр Великий. Ему отвечали, что свободному солдату не место подле крестьянина ввиду того, что все земледелие зиждется на системе барщины, которой солдат никогда не подчинится. Папа сказал Саше: «Я могу умереть со дня на день; я не хочу тебя обременять делом, которое так затруднительно и неразрешенно и к тому же тебе не по душе». Долго обсуждали этот вопрос, пока наконец не пришли к заключению, что нужно образовать нечто вроде прусского ландвера. Однако ввиду наших аграрных условий это было преждевременным решением и привело к образованию пролетариата, до тех пор неизвестного в России. Никто не хотел брать ночным сторожем или на какую-нибудь другую работу людей, которые каждый момент могли быть призваны. Громадные расстояния в нашей стране, потеря времени, вызванная необходимыми формальностями, и многое другое сделали почти невозможным для этих отпущенных на свободу людей найти себе службу.

1843 год

Адини исполнилось семнадцать лет – счастливый возраст, когда можно было, как она говорила, пропускать без угрызения совести уроки, ложиться спать вместе со взрослыми и не нужно было покидать балы до ужина. Во время этих ужинов нас обеих всегда хотели разделить разными людьми постарше; но мы делали все возможное, чтобы нас посадили вместе, и достигали этого, обещая, что не будем пренебрегать нашими соседями справа и слева. Сколькими впечатлениями мы должны были обменяться на этих балах, которые мне, благодаря Адини, вновь доставляли удовольствие. Для меня прелесть новизны после трех лет, которые я посещала такие балы, давно улетучилась.

На одном из костюмированных балов этой зимы Адини, я и еще несколько барышень появились в средневековых костюмах из голубого щелка, отделанного горностаем, на голове лента, усеянная камнями, наподобие короны Св. Людовика. Когда нас спросили, что это за костюмы, мы ответили: «Вы ведь знаете, это костюмы девушек из Дюнкерка!» – «О да, конечно! Известная легенда!» Никто не посмел сознаться, что он ничего не знал об этой легенде, существовавшей в тот момент только в нашем воображении. Папа очень смеялся над этим плутовством. Должна еще сознаться в одном «нарушении этикета». Обычно великим княжнам, как только они становились совершеннолетними, дипломаты представлялись не на приемах, а у них на аудиенции. Так было и со мной, начиная с моего двадцатилетия. Эти аудиенции происходили в присутствии моего камергера Баранова, гофмаршала графа Бобринского и придворных дам Окуловой и Бороздиной. У дверей обычно стояли два дежурных пажа. При моем появлении церемониймейстер уже стоял наготове с жезлом в руках и докладывал имя дипломата. Если это был посол, о нем докладывал граф Воронцов. Эта торжественная сцена каждый раз вызывала у меня желание рассмеяться, но приходилось сохранять серьезный вид. Баранов каждый раз спрашивал меня перед аудиенцией, что я намереваюсь сказать. (Это делалось для того, чтобы дать возможность тому, кого я принимала, подготовиться к разговору.) В один прекрасный день ожидался американский посол мистер Тольт. Поклон, после него три шага по направлению ко мне, несколько обычных фраз, потом молчание. Вдруг я спрашиваю: «Скажите, это правда, что водопад Ниагара обрушился?» – и кусаю себе губы. Он сейчас же понял, что это шалость, и ответил: «Это весьма возможно, я сейчас же

наведу справки». Все смеялись, даже Бобринский, только Жюли Баранова была вне себя, считая, что я себя скомпрометировала. Я же таким образом завоевала симпатии мистера Тольта; потом, когда мы встречались, то тотчас же улыбались друг другу, и если это только бывало возможно на балах и приемах, он подходил ко мне и сейчас же вступал в разговор.

Адини и я очень старались быть вежливыми со старыми дамами, особенно с кавказскими княгинями, которые не говорили ни на каком языке, только на своем собственном, и по-русски едва могли сказать слово. Адини всегда смешила их. Наше внимание к тем, кто по каким-то причинам мог считать себя обиженным, принесло нам благодарность многих, и, вероятно, поэтому нас любили. Много трогательных подарков, которые мы получили, доказывают это.

Александра Николаевна (1825–1844) – младшая дочь Николая I и его жены Александры Федоровны, названная в честь своей тетки

по отцу Александры Павловны. Была любимицей отца, славилась своей красотой и легким характером

Весной этого года в Петербург переехала для воспитания своих сыновей лучшая подруга Анны Алексеевны. Это была госпожа Шульц, урожденная Шипова. Я очень полюбила ее, особенно за то, что она долго жила в деревне и прекрасно знала русских крестьян и условия их жизни. Она заботилась главным образом о судьбе деревенских священников, часто очень бедных и к тому же еще неудачно женатых. Они были обязаны жениться на девушках своей среды, таких же бедных и безо всякого образования, так что не годились в помощницы своему мужу. Если же они посещали какое-нибудь учебное заведение, то становились излишне требовательными и отчуждались от своей среды. Потребность в школе только для дочерей священников стала необходимостью. Я попросила госпожу Шульц сделать письменно несколько заметок по этому поводу и передала их Мама, которая мне посоветовала обратиться к Папа. Он сейчас же понял необходимость учреждения таких школ и велел мне обратиться к графу Протасову, который был прокурором Святейшего Синода. Было решено, что эти школы будут содержаться на средства, поступающие от продажи свечей в церквах. 9 мая, в день Св. Николая Мирликийского, Папа подписал этот указ. Осенью должна была открыться первая школа в Царском Селе. Мое сердечное желание исполнилось: наконец-то я смогла, хотя и очень скромным делом, оказаться полезной своей стране.

Нашли маленький дом в Царском Селе, который принадлежал бывшему камердинеру Папа, жившему на пенсии. Его немного перестроили, и школа была открыта для двадцати пансионерок. Через два года она увеличилась на двадцать учениц, покуда их не стало шестьдесят. Тогда их разделили на три класса, и они должны были учиться шесть лет. Вторая такая школа для дочерей священников была открыта позднее в Ярославле. Госпожа Шульц стала во главе школы. В течение 34 лет она выпустила 900 молодых девушек, посланных в отдаленные уголки России, и все они были тщательно подготовлены к своему будущему положению. Я часто посещала школу, знала всех учениц по имени и могла следить за их успехами и ростом их зрелости. Госпожа Шульц, так же как и ее сестра Елизавета, заведовавшая школой в Ярославле, оправдали все возложенные на них надежды.

Теперь я должна перейти к совершенно иным событиям того

года. Мэри, обосновавшаяся с семьей в Италии, написала из Рима об одном принце Гессенском, с которым она познакомилась, и предлагала его как подходящего, по ее мнению, кандидата мне в мужья. Опять кандидат! Стали собирать сведения, и выяснилось, что это принц без страны. Правда, были возможности наследия из-за его принадлежности к дому Гессен-Кассель, а также Дании. Поручили Максу позондировать почву, хочет ли он сделать визит в Россию. Он сейчас же с радостью согласился, выразил только сомнения по поводу того, не слишком ли он молод для брака. Мэри и Макс вернулись из Италии в июне, Мэри опять в ожидании, Макс очень поправившийся. Рекомендованный ими Фриц Гессенский приехал вместе с нашим кузеном Фрицем Мекленбургским немного позднее. Мы с Троицы жили в Петергофе в Летнем дворце, оба молодых человека остановились у нас. Адини, которая была простужена и кашляла, не появилась за ужином в первый день их посещения. Фриц Гессенский сидел за столом подле меня. Мне он показался приятным, веселым, сейчас же готовым смеяться, в его взгляде была доброта. Только на следующий день, незадолго до бала в Большом Петергофском дворце, он впервые увидел Адини. Я была при этом и почувствовала сейчас же, что при этой встрече произошло что-то значительное. Я испугалась; это было ужасное мгновение. Но я сейчас же сказала себе, что я не могу стать соперницей собственной сестры. Целую неделю я страшно страдала. Мои разговоры с Фрицем Гессенским были совершенно бессмысленны: он вежливо говорил со мной, но стоило только появиться Адини, как он сейчас же преображался. Однажды после обеда Адини думала, что она одна, и села за рояль; играя очень посредственно, она сумела вложить в свою игру столько выражения, что казалось, что она изливает свою душу в этой игре. Теперь мне все стало ясно, и я вошла к ней. Что произошло между нами, невозможно описать словами, надо было слышать и видеть, чтобы понять, сколько прекрасного было в этом прелестном создании. Да будет священной твоя память!

Вечером в тот же день был большой прием в Стрельне, и после него Папа со всеми мужчинами уехал на маневры. Не успели они уехать, как я бросилась к Мама и сказала: «Адини любит его!» Мама посмотрела на меня и возразила: «А ты?» Никогда я не забуду этого вечера на стрельницкой террасе. Мама прижимала нас обеих к себе. Вдруг мы услыхали вдали колокола Сергиевского монастыря, звонившие к вечерне. Мы поехали туда. Я опустилась на колени подле могилы Марии Барятинской и ясно чувствовала, что по ту сторону бытия была другая жизнь, в

которой все несбывшееся найдет свое осуществление.

Год спустя мы прочли в дневнике Адини запись ее сердечной истории; одно число было особенно подчеркнуто, и заметка под ним гласила: «Он мне пожал руку, я на верху блаженства». Она видела Фрица через поэтическую вуаль своих восемнадцати лет, и Бог отозвал ее к Себе ранее, чем ее взгляд увидел другое.

В день Петра и Павла, 29 июня, во время торжественного обеда, была объявлена помолвка. Когда Фриц незадолго до этого спросил Папа, смеет ли он говорить с ним, Папа заключил его в объятия и сказал: «Вот мой ответ!» 1 июля, в день рождения Мама, принимали поздравления. Мне же многие выразили сочувствие. Одни говорили:

«Он мальчик и слишком молод для вас», другие: «Он никогда не был бы достоин вас!» Последнее я с ужасом отвергла: Адини была в тысячу раз ценнее меня и заслужила быть счастливой.

Вечером в тот же день Папа постучался ко мне: «Если у тебя есть потребность в беседе, здесь перед тобой друг, которому ты можешь излить свое сердце!» Папа страдал за меня, и все-таки он был счастлив удержать меня при себе. Конечно, он любил также и Адини, но она была для него еще ребенком, а не равной ему, с кем можно было поговорить, как со мной; к тому же Адини была всегда очень молчаливой в его обществе из боязни неправильно говорить по-русски. (Благодаря своей английской воспитательнице она не научилась свободно говорить на родном языке.) Каким сокровищем была Адини, Папа понял в тот момент, когда ее не стало.

23 июня у Мэри родился сын, его назвали Николаем. Папа покинул маневры, чтобы обнять этого своего внука. Обе дочки Мэри были больны коклюшем, и в ночь после рождения Николая состояние маленькой Адини настолько ухудшилось, что опасались за ее жизнь. Макс ходил от кроватки ребенка к постели матери и старался улыбаться, чтобы успокоить встревоженную мать. Но ребенок умер в ту же ночь. В то время как перевозили маленькое тельце в Крепость, Мэри казалось, хотя она ничего не знала об этом, что звонят колокола и горят огни факелов. Только на двенадцатый день после рождения ее сына врачи позволили сказать ей правду. Макс пришел к ней с маленькой Марусей на руках. «А Адини?» – сейчас же вскричала она. «Доктора обеспокоены ее состоянием», – ответил Макс смущенно. Она

упала на колени и сказала беззвучно: «Она умерла!» Ее печаль разрывала душу. Никогда больше она не произнесла имени ребенка. Мэри приказала построить часовню на месте павильона, в котором умерла маленькая. Она сама следила за эскизами для часовни и с большой тщательностью выбрала туда иконы. Так же сдержанно она держалась, когда двадцать лет спустя потеряла своего маленького Григория, сына Строганова, за которого вышла после смерти Макса.

Вскоре после этого грустного события, однажды вечером донесли, что герцог Нассауский и его брат Мориц прибыли в Кронштадт и ожидают указаний Папа, где и когда они могут сделать ему визит. В то время не было принято, чтобы принц или какой-нибудь путешественник, имевший значение, приезжал в Россию без предварительного приглашения или же запроса. Папа приказал герцогу приехать в Ропшу, где был на маневрах, принял его в своей палатке, и герцог тогда же сказал ему, что просит у него руки великой княжны Елизаветы (дочери дяди Михаила). Папа был удивлен, но ничего не имел против этого, и герцог поспешил уехать в Карлсбад, где в то время лечилась со своими дочерьми тетя Елена. Мориц же остался у нас. Это был красивый мальчик, хорошо сложенный, очень приятный в разговоре, с легким налетом сарказма. Он быстро завоевал наши симпатии, мне же он нравился своим великодушием, заложенным в его характере, а также своей откровенностью. Восемь дней он оставался у нас; затем он уехал. Мое сердце билось, как птица в клетке. Каждый раз, когда оно пыталось взлететь, оно сейчас же тяжело падало обратно.

Мэри узнала, что Мориц уехал с тяжелым сердцем, и спросила меня: «Хочешь, чтобы я поговорила с Папа? Он, конечно, разрешит тебе брак вроде моего». Я подумала, но все же сказала: «Нет!» Я не сказала вслух того, о чем подумала: жена должна следовать за мужем, а не муж входить в Отечество жены, а также что мне была бы унизительна мысль о том, что Мориц будет играть роль, подобную роли Макса. Это было последним происшествием такого характера; влюбленность, где теряется сердце, в то время как благоразумие удерживает и предупреждает, становится мучительной. Никто, кроме Альбрехта, не внушал мне достаточного доверия, чтобы вместе пойти по жизненному пути. Брак, каким я представляла его, должен был быть построен на уважении, абсолютном доверии друг к другу и быть союзом в этой и потусторонней жизни. Молодые девушки, главным образом принцессы в возрасте, когда

выходят замуж, достойны сожаления, бедные существа! В готтском Альманахе указывается год твоего рождения, тебя приезжают смотреть, как лошадь, которая продается. Если ты сразу же не даешь своего согласия, тебя обвиняют в холодности, в кокетстве или же о тебе гадают, как о какой-то тайне. Была ли я предназначена для монастыря или же во мне таилась какая-то несчастливая страсть? Так говорили в моем случае. Мама все еще надеялась возобновить разговоры об эрцгерцоге Стефане. Тут Папа получил известие, что у Стефана чахотка и что он не решается поэтому принять наше приглашение и отправиться на маневры с их трудностями. Одновременно же мы узнали, что Альбрехт по воле своего отца женился на баварской принцессе Хильдегарде.

Осенью этого года вся семья собралась в Царском Селе. 8 сентября, в день Рождества Богородицы, у Мари родился сын Николай, будущий Наследник престола. Радость была неописуемой. Папа приказал своим трем сыновьям опуститься на колени перед колыбелью ребенка, чтобы поклясться ему, будущему Императору, в верности. Кто мог тогда подумать, что этот Наследник, этот ребенок, с которым связывали столько вполне заслуженных надежд, которого так тщательно воспитывали, что это существо сгорит в 22 года вдали от Родины, незадолго до свадьбы с датской принцессой Дагмарой. (Ники умер в Ницце 12 апреля 1865 года. В его память там основана церковь, украшенная иконами с Родины.) Крестины были в октябре, Папа и я были крестными отцом и матерью. Как своей «куме» Папа подарил мне, по русскому обычаю, прекрасную опаловую брошь.

Мы очень полюбили те тихие дни, когда молодая мать должна была жить вдали от всяких развлечений и обязанностей. Как уютно было в комнатах, совершенно закрытых для внешнего мира, с полуспущенными шторами, где лежало юное существо, ослабевшее, но счастливое, с ребенком в руках. Какими сердечными, какими откровенными были наши разговоры, как мы все, сестры и братья, любили друг друга и наших Родителей! Происшествия этого года сблизили нас, если это только было возможно, еще больше, каждый приобрел опыт, мучительный или счастливый, и каждый получил поддержку любящих его. Только потом я поняла, как легко в таких условиях делать добро, исполнять свой долг. Если передо мной стояла какая-нибудь задача, я отдавалась ей всей душой. После смерти моих Родителей, к сожалению, моя энергия ослабла. Со смертью

Родителей я потеряла мою опору, и все-таки я всегда старалась быть достойной их памяти, так же как и мой муж, который чувствовал себя после того, как побывал вместе с Папа, внутренне возвышенным. Благодаря мне и моей матери он впервые узнал, что значит семья, оттого что никогда не знал счастливого детства и любящих Родителей.

Год приближался к концу, скоро должен был наступить новый, которому суждено было бросить на мою жизнь глубокую тень. В октябре приехала мистрис Робертсон, известная английская художница, чтобы написать с Адини большой портрет в натуральную величину. В розовом платье, с волосами, заплетенными в косы по обе стороны лица, – такой она изображена на нем. Она была немного меньше меня ростом, с не совсем правильными чертами лица и очень хороша своеобразной красотой. Ее лицо всегда сияло весельем; но сейчас же меняло свое выражение, как только начинался разговор о чем-нибудь серьезном. В молитве, когда я закрывала глаза, чтобы сосредоточиться, она, наоборот, широко открывала глаза и поднимала руки, точно желая обнять небо. Она, которая так нетерпеливо ждала момента, когда попадет в общество, уже после одного года, вернее одной зимы, была разочарована той пустотой, которую встретила. «Жизнь только коридор, – говорила она, – только приготовление». Она любила религиозные книги. Ее «Исследование Христу» было совершенно испещрено карандашными пометками, особенно глава о смерти. И, несмотря на все это, у нее не было никаких трагических предчувствий, каждый считал ее обладательницей здоровой натуры. Она никогда не садилась во время богослужения, даже если оно продолжалось часами. Когда она бывала в комнатах детей, она всегда поднимала маленьких на воздух, кружилась с ними, шалила с младшими братьями и совершала с ними самые дальние прогулки верхом. Обежать парк в Царском Селе было для нее пустяком, в то время как я считалась хрупкой и была обязана беречься. И все-таки это я должна была ее пережить! С июня этого (1843) года Адини начала кашлять. Мисс Броун, вместо того чтобы обратить на это внимание, заставила ее продолжать принимать морские ванны, которые считала закаливающими, и по ее почину Адини принимала их каждый день. Когда мы поехали поздней осенью в Москву, кашель настолько усилился, что Адини несколько раз просила освободить ее от вечерних приемов. Зимой она снова поправилась и в Рождественский пост могла принимать участие в службах, которым отдавалась с еще большим рвением, ввиду предстоящей разлуки с нами и своим

девичеством. Фриц Гессенский приехал в Сочельник к раздаче подарков. В Концертном зале были расставлены столы, каждому свой. Я получила тогда чудесный рояль фирмы Вирт, картину, нарядные платья к свадьбе Адини и от Папа браслет с сапфиром – его любимым камнем. Для Двора и светского общества был праздник с лотереей, на которой разыгрывались прекрасные фарфоровые вещи: вазы, лампы, чайные сервизы и т. д.

26 декабря было официальное празднование помолвки Адини, а на следующий день большой прием. Фриц рядом со своей прелестной невестой казался незначительным и без особой выправки. Позднее я вспоминала, как был обеспокоен старый доктор Виллие, лейб-медик дяди Михаила, после того как, пожав руку Адини, он почувствовал ее влажность. «Она, должно быть, нездорова», – сказал он тогда.

Отец Фрица, старый ландграф Гессенский, прибыл к предстоящим торжествам из Копенгагена. Это был человек с прекрасными манерами, очень простой в обращении, ему нельзя было дать его семидесяти лет. Очень естественный и безо всяких претензий, он принадлежал к натурам, которые любил Папа, и оба отца улыбались счастливо, глядя на Адини, прелестную невесту. После обеда невеста и жених встретились в моей комнате; меня они называли своим добрым ангелом, оттого что я вскоре их предоставила самим себе. Они ворковали часами, и свидания всегда казались им слишком короткими. Оттого, что Саша и Мари в это время были в Дармштадте, я часто грустила и чувствовала себя одинокой.

1844 год

Кто жил в полном согласии с любимой сестрой, поймет, что я пережила перед приближающимся прощанием с Адини. 16 января была отпразднована свадьба. На последнем балу, заключительном после всех празднеств, во время полонеза, от радости, что все торжества кончены, танцевали бешеный галоп через все большие залы, с Папа во главе. Камер-пажи с трудом поспевали за нашими шлейфами, и за ними, задыхаясь от усилий, следовал весь Двор.

Фриц и его молодая жена должны были остаться у нас до весны и занимали большие апартаменты в северном флигеле дворца, очень нарядные, но неудобные. Адини должна была пройти пять салонов, прежде чем попасть в комнату к своему мужу. На Пасху предполагался переезд в Копенгаген, где для молодых устраивался дворец, а также дом на морском берегу для летних каникул. Датский король любовно заботился об обоих молодых людях.

Фридрих Вильгельм, принц Гессен-Кассельский (1820–1884) – единственный сын Вильгельма, ландграфа Гессен-Кассельского (1787–1867), и Шарлотты Ольденбургской. Супруг великой княжны Александры Николаевны

Светская жизнь этой зимы была, пожалуй, особенно богата разнообразием. Каждый хотел что-то сделать для молодых, и в их честь было дано одиннадцать больших балов. Три раза в неделю посещали итальянский или французский театр, между ними иногда русский. Артисты были прекрасны, но репертуар неважный. После грибоедовского «Горя от ума» не ставили больше ни одной значительной пьесы, кроме гоголевского

«Ревизора», который благодаря поддержке Папа миновал цензуру. Я, для которой светская жизнь была обязанностью, приучила себя после балов или празднеств вставать на час раньше, чем обычно. В санях я уезжала в Царское Село – в школу к моим маленьким дочерям священников – и возвращалась оттуда только к обеду. Это было для меня большим удовлетворением, но чтобы скрыть от других, что внешняя оболочка жизни мне уже недостаточна, из страха, что мои серьезные наклонности будут осмеяны, я изображала в обществе кокетку, чтобы только не показать скучное или усталое лицо.

Адини простудилась, когда возвращалась с бала от Нессельроде. Одно из окон экипажа было по недосмотру какого-то лакея опущено при десяти градусах мороза. На следующий день она проснулась с жаром. Никто не придал этому серьезного значения, полагаясь на ее здоровую натуру. Она появилась, как всегда, за утренним завтраком, а также вечером к обеду, зная, что Родители ее ждали, ведь она вскоре должна была покинуть их. Так было и на следующий день. Я сама не заметила в ней никакой перемены, когда мы, занятые никогда не иссякавшим разговором двух сестер между собой, сидели вместе. С живостью она рассказывала мне о своем плане совместной жизни с Фрицем. Она хотела развить Фрица морально и духовно, хотела читать с ним, главным образом Плутарха, чтобы пример благородных мужей помог ему. Она подозревала в нем склонность искать развлечений в неравном себе обществе, однако была убеждена, что вскоре совершенно изменит его: «Мы ведь так любим друг друга». Мы говорили также часто о религии. То, что молодые девушки переходили в католичество, нас очень удручало. В большинстве случаев это были те, кто воспитывался за границей, главным образом во Франции. Они вырастали безо всякой связи с родной Церковью. Мы же были пронизаны учением нашей православной веры. Как мы благословляли судьбу за эту нашу веру отцов, как мы любили нашего духовника о. Бажанова! Терпимый в своей религиозности и совершенно беспристрастный, он учил нас истории Церкви. Благодаря ему мы научились понимать, что русский характер и русская Церковь – неразъемлемое единство. Когда мы стали взрослыми, о. Бажанов приходил, как и прежде, каждый понедельник к нам, но вместо урока были разговоры, сердечные и задушевные.

С тех пор как мы стали более зрелыми и более серьезными, мы узнали о том, что прежде едва касалось нашей жизни. Это было общественное мнение, вернее, его отголосок на разные

мероприятия правительства. Нас постоянно возмущало двуличие многих: в лицо Государю они говорили одно, а за спиной – другое. Кроме Киселева и Бобринского, я не помню никого, кто бы говорил с Папа так откровенно и свободно. Почему правда доходит до монарха в искаженном виде, а не такой, как она есть? Боязнь ли это показаться в невыгодном свете, трусость, ревность, интриги, преследующие какую-либо цель, или только потребность внести путаницу? Может быть, все вместе действует на поведение камарильи, этого бича каждого Двора? Какими зоркими должны быть глаза монарха, какими крепкими – его сердце и его мысли, чтобы остаться невозмутимым и, невзирая на все это, продолжать управлять!

В конце Великого поста в этом году мы переехали, как всегда, в Аничков, чтобы приготовиться к причастию. Возвращение же после Пасхи в Зимний дворец происходило уже без Адини. Она была в ожидании и очень ослабела от сильного кашля. Врачи предписали ей покой и уложили в постель на три недели. После этого срока она переехала в Зимний дворец и поселилась в своих мрачных комнатах, страдая по свету и зелени садов в Аничковом, которые там были под ее окнами. Поездки в коляске были ей запрещены, и она проводила целые дни, безропотно лежа на диване. Никто не беспокоился о ней. Папа предпринял поездку в Англию, чтобы познакомиться со своей юной племянницей Викторией и ее супругом Альбертом. В разгар празднеств в его честь он узнал ужасную весть, что у Адини скоротечная чахотка. Сам Мандт приехал к нему, чтобы сказать ему эту страшную новость. По его словам, одно легкое было уже совершенно разрушено, и надежды на поправку не было. Уезжая, Папа сказал Адини при прощании: «До свиданья в Копенгагене!» Мандт был в это время в Теплице, чтобы лечить свою больную ногу, а оба других врача обратили все свое внимание на беременность Адини, приписывая состояние ее здоровья этому обстоятельству. Когда Мандт в мае вернулся обратно, он два раза очень тщательно исследовал больную. После этого, не тратя лишних слов, он сейчас же уехал к Папа в Лондон. Папа тотчас же прервал свой визит и приехал в большой спешке в Петербург. Мы уже несколько дней жили в Царском Селе.

Деревенский воздух оживил Адини, она часто сидела в саду и предпринимала маленькие прогулки в экипаже с Фрицем, чтобы показать ему свои любимые места. Когда Папа сказал нам о диагнозе Мандта, мы просто не могли ему поверить. Врачи же Маркус, Раух и Шольц выглядели совершенно уничтоженными.

Их, кроме Шольца, который был необходим как акушер, сейчас же отпустили. Мандт взялся за лечение один. Он был так же несимпатичен Адини, как нам всем, и только из послушания она пересилила себя и позволила ему себя лечить. К счастью, он не мучил ее. Горячее молоко и чистая вода, чтобы утолить жажду, было, собственно, все, что он предписал. Эту воду он магнетизировал, что, по его мнению, успокаивало больную. Когда дни стали теплее, Адини начала страдать припадками удушья. Мама отдала ей свой кабинет с семью окнами, он даже летом полон был воздуха и свежести. Его устроили как спальню для Адини. Когда Мандт сказал ей, что было бы лучше для нее, чтобы Фриц жил отдельно, она долго плакала. Фриц был преисполнен нежности к своей молодой жене, но Адини знала, что он не выдержит долго спокойной жизни, и постоянно уговаривала его что-либо предпринять, боясь, что он может скучать из-за нее. Уже в начале своей болезни она выразила желание видеть свою «Мисс», и Мисс приехала, сейчас же прошла к постели своей «дорогой девочки», чтобы уже больше не покидать ее. У нее на груди Адини выплакала то, что ее заставили расстаться с Фрицем. В середине июня, за несколько дней до ее девятнадцатилетия, положение ухудшилось. Она была точно выжжена жаром. Приступы тошноты мешали ей принимать пищу, а припадки кашля – до сорока раз в ночь – разгоняли сон. Мне было поручено предложить ей причаститься. «Я слишком слаба, чтобы приготовиться», – возразила она мне. Отец Бажанов написал ей: «Ваша длительная болезнь – это лучшая подготовка». «Если он считает меня достойной, я хочу причаститься завтра», – было ее ответом. На следующий день было рождение Адини. Обедню служили в наскоро устроенной часовне в Александровском дворце; оттуда мы все шли за священником, который нес Св. Дары к больной. Мы все опустились на колени у ее кровати, в то время как священник читал молитву. Ясным голосом она повторяла слова молитвы и, принимая Святое причастие, скрестила руки на груди. В глазах ее было какое-то особое сияние. Она протянула всем нам руку с улыбкой, в которой уже не было почти ничего земного. Затем она молча попросила нас удалиться, ей нужен был покой. Когда через несколько часов она позвала меня к себе, ее лицо все еще светилось неземным светом.

«Сегодня ночью мне пришла мысль о смерти, – сказала она и сейчас же добавила: – Боже мой, неужели я не смогу выносить своего ребенка до конца?» Но тут же тихо добавила: «Пусть будет, как угодно Господу!» И затем она добавила своим обычным, почти детским голосом: «Знаешь, Оли, я много думаю о Папа,

который теперь из-за меня остается в Царском, где он живет так неохотно. Я подумала о занятии, которое доставит ему удовольствие. Посмотри, здесь я нарисовала что-то для него». И она показала мне эскиз маленького павильона, который был задуман для пруда с черными лебедями. Этот эскиз она переслала Папа со следующими строками: «Милый Папа, ввиду того, что я знаю, что для вас нет большей радости, как сделать таковою Мама, предлагаю вам следующий сюрприз для нее».

Этот павильон был построен после ее смерти и поблизости от него на берегу пруда часовня с ее статуей с ребенком в руках, сделанная Витали.

С того дня, как она приняла причастие, стало казаться, будто болезнь приостановила свое разрушительное действие. Мы, обнадеженные этим, воображали, что это улучшение. Мама говорила о поездке в Берлин, что позволило бы ей сопровождать Адини при ее поездке в Копенгаген, по крайней мере до Штеттина, так как ребенок должен был родиться в Копенгагене. 30 июня акушерка установила первые движения ребенка. Адини сейчас же написала об этом счастливом событии Мама. Начиная с этого дня ни одной жалобы больше не сорвалось с ее губ. Она думала только о ребенке, и только ему она посвятила свою болезнь. Лежа у окна, она смотрела на синеву неба. Так она лежала часто со сложенными руками в немой молитве.

Однажды, когда я принесла ей букет полевых цветов, она сказала мне: «О, пожалуйста, не нужно больше; они вызывают во мне только грусть, оттого что я не могу больше собирать их сама». И когда Папа подарил ей изумрудный крест: «Вы так хороши все ко мне, ваша любовь прямо давит меня».

Врачи хотели, чтобы наши Родители поехали ненадолго в Петергоф, полагая, что больная увидит в этом хорошее предзнаменование; на самом же деле они только хотели немного отвлечь их от удручающих забот. Смотреть на Папа было, правда, ужасно: совершенно неожиданно он стал стариком. Мама часто плакала, не теряя, однако, надежды.

Прохладные, дождливые дни в июне, которые принесли облегчение Адини, сменились в июле жарой. Красные пятна на ее щеках возвестили о возвращении жара. Врачи прописали ингаляцию креозотом; Адини все исполняла с большим терпением, но ее слабость усиливалась. Сначала она отказалась

от прогулок в сад, затем от балкона и могла пройти только несколько шагов от постели к дивану, который стоял у открытого окна. Скоро она перестала даже читать, и Фриц, «ее Фриц», когда он бывал при ней, утомлял ее. Мисс Хигг и старая камер-фрау Аяна Макушина менялись, ухаживая за ней. Она так похудела, что ее губы не закрывали больше зубов, и прерывистое дыхание заставляло ее держать рот открытым. Но все это не делало ее некрасивой. От худобы обручальное кольцо спадало с ее пальца; Папа дал ей тогда совсем маленькое колечко, которое держалось на нем. Это кольцо я ношу по сей день ровно сорок лет. В середине июля она неожиданно выразила желание выйти в сад и попросила Папа и Фрица к себе, чтобы они снесли ее вниз по лестнице. Поддерживаемая с обеих сторон, она сделала только несколько шагов и попросилась обратно в комнату. Врачи увидели в этом последнюю вспышку ее сил и не надеялись на то, что она переживет ночь. Но она прожила еще пятнадцать дней. В конце месяца она позвала к себе наших маленьких братьев и Кости, который только что вернулся из поездки на Белое море. Всем троим она передала маленькие подарки и сказала: «Хотя ваши дни рождения и осенью, я сегодня уже хочу передать вам маленькие сувениры, кто знает, где я буду тогда!» Мысль о родах очень занимала ее. Она хотела быть в то время в Аничковом дворце. Но ночью с 28 на 29 июля у нее начались сильные боли; это были первые схватки. Ей ничего не сказали об этом, но она догадалась сама по встревоженным лицам сиделок, и начала нервно дрожать при мысли о преждевременных родах. «Фриц, Фриц, – вскричала она, – Бог хочет этого!» И неописуемый взгляд ее поднятых кверху глаз заставил догадаться о том, что она молится. Ее пульс ослабел, послали за священником, и о. Бажанов исповедал и причастил ее. Это было в восемь часов утра. Между девятью и десятью часами у нее родился мальчик. Ребенок заплакал. Это было ее последней радостью на земле, настоящее чудо, благословение Неба.

Ребенку было только шесть месяцев. В этот момент меня впустили к ней. «Оли, – выдохнула она, в то время как я нежно поцеловала ее руку. – Я – мать»! Затем она склонила лицо, которое было белое, как ее подушки, и сейчас же заснула. Лютеранский пастор крестил ее маленького под именем Фриц Вильгельм Николай. Он жил до обеда. Адини спала спокойно, как ребенок. В четыре часа пополудни она перешла в иную жизнь.

Вечером она уже лежала, утопая в море цветов, с ребенком в руках, в часовне Александровского дворца. Я посыпала на ее

грудь лепестки розы, которую принесла ей за день до того с куста, росшего под ее окном. Священники и дьяконы, которые служили у гроба, не могли петь и служить от душивших их рыданий. Ночью ее перевезли в Петропавловскую крепость; Фриц, Папа и все братья сопровождали гроб верхом.

У меня больше нет сил писать об этом и о тех днях, которые последовали затем. Все, кто потерял любимого человека, знают, что эти дни полны как любовью, так и болью. Мама могла плакать и облегчала этим свое горе. Папа же, напротив, старался бежать от него и проявлял необычайную энергию. Он избегал всех траурных церемоний, не любил черного и слез. Он не вернулся больше в Царское Село и распорядился изменить там клумбы, балкон и все, что напоминало о болезни Адини. Комнату, в которой она умерла, кабинет Мама, разделили надвое; на том же месте, где она скончалась, повесили большую икону Св. Царицы Александры, черты лица которой отдаленно напоминали Адини.

Остальные недели лета мы провели в Летнем дворце в Петергофе, покуда нас не выгнали оттуда осенние туманы. У меня было только одно желание: быть одной! Я могла часами сидеть в маленькой комнатке Адини, где все осталось неизмененным с прошлого лета. Я читала маленькие тетрадки ее дневника, которые теперь лежали передо мной. Каждое слово этих трогательных записей говорило о нежности ее маленького существа и о любви, которую она питала ко всем нам и особенно ко мне. В самые последние дни она с нежной заботой думала обо мне.

Когда мы в своих черных платьях приехали осенью в Гатчину, где все напоминало пышные празднества, развлечения и юношеские глупости, это явилось полным диссонансом нашему состоянию. Чтобы сделать мне сюрприз, Папа приказал обить мой кабинет прелестным красным кретоном и распорядился сделать надпись: «Люби своего старого Папа здесь так же крепко, как в Летнем дворце». Вечером, в день нашего приезда, он спросил меня, к которой из моих сестер я больше привязана. «О, к Адини, – воскликнула я, – уже со своего пятнадцатилетия она была такой зрелой, что я могла делиться с ней каждой мыслью, каждым переживанием». Мэри же была как волчок, который нельзя схватить, так как он все время вертится. С тех пор как я потеряла Адини, я еще больше сблизилась с Сашей и Мари. При их маленьком Дворе было такое искреннее понимание, все дышало весельем и доверчивостью, как редко бывает, где есть два Двора –

Монарха и Наследника. Там не было ни интриг, ни ревности, ни сопротивления. Непринужденно и свободно все относились друг к другу, следуя потребности сердца и прекрасной привычке.

1845 год

Когда я проснулась в день Нового года, мне принесли пакет, отправителем которого было Военное министерство. В нем было мое назначение шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка. Я почти задушила Папа, устроившего этот сюрприз, в своих объятьях, и он, тронутый до слез, обнял меня. Я приказала запрячь сани и поехала в Крепость к Адини, чтобы поделиться с ней своей радостью. Потом дядя Михаил провел передо мной моих гусар в их чудесной белой форме, с белым ментиком. Папа непременно хотел нарядить меня так же, включая расшитые чакчиры генерала. Я же протестовала против брюк, Папа настаивал на этом, и впервые в жизни он рассердился на меня. Наконец был найден выход: вышивка должна была быть нашита на мою верховую юбку; со всем же остальным, включая саблю, я согласилась. Папа представил меня разным лицам в форме моего полка и заказал для полка мой портрет в форме елисаветградских гусар. Уменьшенную копию портрета он сохранил для себя; она была его любимым портретом. И когда я покинула дом после моего замужества, Папа уже с ней не разлучался. Он выразил желание, чтобы я сочинила для моих гусар полковой марш. Я сейчас же взялась за это вместе с моим стареньким Бэлингом. Я напевала ему мотивы, и он записывал их, потому что я понятия не имела о теории композиции. Результатом был марш полка, который носит мое имя в России и который и сегодня еще играют в Штутгарте для моих драгун.

Большой Гатчинский дворец построен в 1766–1781 годах в Гатчине по проекту Антонио Ринальди для фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова. Расположенный на холме над Серебряным озером, и ныне окруженный массивом высоких деревьев, дворец производит впечатление средневекового замка

Но вообще зима эта была серьезной и грустной, вся еще под впечатлением понесенной нами утраты. Мама жаловалась на глаза, испорченные постоянными слезами, кроме того, она опять страдала сердцем, в то время как Папа жаловался на печень. Мы жили очень замкнуто. Единственными просветами были в феврале и марте рождения двух детей. У Мари родился мальчик Александр (теперешний Император Александр III), а у Мэри – девочка Евгения. Эти роды были очень сложные: ребенок появился на три недели раньше из-за испуга, который пережила мать. Она видела, как ее маленький сын Коля толкнул тяжелый стол с подсвечниками, который опрокинулся, и она решила, что ребенок погиб под ним. Но он тотчас поднялся, целый и невредимый, в то время как мать стала жаловаться на спазмы и разрешилась преждевременными и очень тяжелыми родами. По счастью, ребенок был очень мал, и это обстоятельство спасло жизнь Мэри. Девочка была так слаба, что не могла питаться у груди, и целых шесть недель сомневались в том, что она выживет. В этом миниатюрном ребенке была заложена большая энергия, он должен был жить и обладал, как это выяснилось потом, самым сильным характером из всех детей Мэри.

Этой зимой мы слушали несколько прекрасных концертов заграничных артистов, особенно запомнилась мне игра юной Клары Вик, впоследствии знаменитой Клары Шуман.

Тревожные вести дошли к нам из прибалтийских провинций. Местное население было там охвачено беспокойством. Пустили слух, что государство даст тем, кто перейдет в православие, большие льготы. Было невозможно установить, каким образом эти слухи могли появиться. Во всяком случае, многие перешли в православие, и это повело к враждебным отношениям между крестьянами и их немецкими помещиками. Отец был неправильно информирован и думал сначала, что переход к Православной церкви был искренним; он ненавидел все новообращенство и был по-православному очень терпим в отношении других религий. Когда же выяснилось, что движение вызвано политическими мотивами и сеяло ненависть между немцами и латышами, был послан Опочинин, чтобы на месте выяснить, каким образом начались беспорядки и от кого исходила пропаганда. Эта миссия осталась, как все, где говорят страсти, без успеха. Это было начало той борьбы рас, которая в наше время стала еще острее и про которую только один Господь Бог ведает, как она закончится.

Я вспоминаю, как на Пасху этого года приехал в Петербург, чтобы представиться Государю, Патриарх Католикос Нерсес, кавказский армянин. Это был маленький старичок, одетый во все белое, с большим носом и глазами, горевшими как уголья. Если я не ошибаюсь, это было первым шагом армян к подданству. Отец посетил их монастырь у подножья Арарата, где ему показывали реликвию: кусок дерева от Ноева ковчега, который был найден монахами на том месте, куда пристал ковчег. Но на Папа величие природы там произвело большее впечатление, чем подобные рассказы монахов.

Чудесные майские дни пробудили в нас тоску по Царскому Селу, где мы всегда проводили весну; но Папа не хотел больше там жить, и мы переехали на Елагин остров. Ввиду того, что общество собиралось там только в июне, мы жили совсем по-деревенски и на свободе. По утрам мы слышали пастушью свирель, искали грибы в лесах Крестовского острова, не встречая при этом ни души, только вечером, на закате солнца, появлялись некоторые экипажи. Без Адини общество не было для меня приятным. Изредка мы с Анной Алексеевной посещали земледельческую школу, основанную Львом Перовским, где крестьянам показывали рациональные методы земледелия.

Лето этого года проходило по обычной программе, только спокойнее: Мама чувствовала себя ослабевшей и жила очень замкнуто. Ко дню смерти АДИНИ приехал Фриц Гессенский. Мы поехали с ним в Царское Село, где в маленькой часовне у пруда была только что поставлена статуя Адини. У павильона, построенного по ее рисунку, ждали, что их покормят, черные лебеди. Но наверху во дворце не существовало больше балкона перед ее комнатой, а также сирени под ее окнами, цветущие ветви которой доходили до самого окна. В дворцовой часовне служили панихиду, все разрывающие сердце воспоминания прошлого года встали передо мной: я видела ее лежащей с ребенком на руках посреди моря цветов, и мне казалось, что с любимой сестрой я похоронила свою молодость. Потом мы поехали в Крепость и той же ночью вернулись на Елагин. Когда я думаю об этом последнем лете на Родине, меня охватывает невыразимая тоска по всем тем, кто раньше меня ушел в другую жизнь.

Здоровье Мама становилось все хуже. Оно трепетало как пламя свечи, грозящей погаснуть, и сделало необходимым консилиум врачей. Они все требовали скорого отъезда на юг, не ручаясь в противном случае ни за что. Папа был в отчаянии при мысли о долгой разлуке, но в конце согласился. Предложили Крым, но Папа отверг это ввиду того, что там бушевала малярия. Вопрос о юге Франции даже не поднимался из-за короля Луи Филиппа. Неаполь не подходил оттого, что там был Двор, а следовательно, обязанности по отношению к нему, поэтому остановились на Палермо. Там будет спокойно. Предполагалось, что Мама уедет на девять месяцев. Я должна была сопровождать Мама. Мне это казалось приговором к смерти. Оторваться от близких, от Родины, без Папа, без братьев, скитаться по Европе, не зная, когда можно будет воротиться и суждено ли мне привезти Мама обратно. Недели, которые последовали за этим решением, были подобны агонии. Родители стали еще нежнее ко мне, мы еще больше сблизились друг с другом. Папа взял у меня экземпляр Адини «Последование Христу». Он считал, что эта книга поучительна только для женщин, и обнаружил с удивлением, насколько это свидетельство глубокой и серьезной религиозности подходит к взглядам и настроениям его натуры. С глубоким волнением читал он места, отмеченные рукой Адини.

23 августа, после службы с молебном, мы отправились в путь. Нас сопровождали оба лейб-медика, Мандт и Маркус, граф

Апраксин и граф Шувалов и фрейлины Екатерина Тизенгаузен, Варенька Нелидова и Анна Алексеевна. К моей большой радости, для того чтобы я «в изгнании» не была одна, к нам присоединилась в Италии Вера Столыпина. Мы ехали в нескольких экипажах и только днем. Два экипажа были предназначены для камер-фрау, из которых один всегда ехал впереди нас, чтобы быть на месте, когда прибудет Мама, и чтобы приготовить для нее все, к чему она привыкла. В то время как она спала, один из экипажей уже ехал дальше. Это было прекрасно организовано, но из-за множества экипажей почта была не в силах поставить нужное количество лошадей, и запрягали крестьянских лошадей, которые очень медленно подвигались с перегруженными экипажами. Поэтому часто бывали опоздания на 5–6 часов. До Штеттина мы ехали таким способом. В Кенигсберге мы остановились на день для отдыха, а 30 августа праздновалось мое 23-летие в замке Мариенбург. Это было под вечер. Рыцарский зал замка был ярко освещен факелами, навстречу мне неслось хоровое пение, и мне показалось, что я перенесена на столетия назад, во времена, когда рыцари Немецкого ордена стояли здесь на страже своей веры.

Из Штеттина, где нас встретил Король Фридрих Вильгельм IV и дядя Вильгельм, мы поехали по железной дороге в Берлин. Путешествие длилось 6 часов. На вокзале нас встретила русская делегация и бесконечные кузины и кузены всех возрастов. Когда мы наконец приехали в Сансуси, я была совершенно оглушена; Мама же была рада видеть своих близких и не чувствовала усталости. Несколько дней мы провели в Потсдаме, Берлине и Шарлоттенбурге. Эти дни неслись в вихре разных развлечений и празднеств. Король дал в нашу честь «Антигону» в инсценировке Тика. Это был уже пожилой человек: жил он, так же как и Александр Гумбольдт, при Дворе. Я посетила в Берлине скульптора Рауха в его ателье. Он был поражен моим сходством с Папа и очень хотел сделать с меня бюст. «Сейчас Вы во цвете своих лет, – сказал он, – через четырнадцать дней Вы, может быть, уже будете выглядеть иначе». И он стал говорить о том, что возьмет отпуск и приедет в Палермо. Отпуска этого он не получил, к большому моему сожалению, так как мне очень хотелось, чтобы он сделал с меня бюст.

Я страшно скучала во время визитов всевозможных немецких принцев и принцесс. Первые мне казались безвкусными и узкими в своих взглядах и натурах. Это было, наверное, следствием их воспитания, которое не требовало от них ничего иного, кроме

военных учений, выдержки и хороших манер в обществе, а также знания верховой езды и охотничьих приемов. Все же остальное, как, например, прочесть хорошую книгу, было ненужным и смешным, ученый был только предметом насмешек, на которого они могли, благодаря своему знатному происхождению, смотреть свысока. Таковы были тогдашние принцы: стали ли они теперь иными? Совершенное исключение представлял собой принц Карл Баварский. Несмотря на то что ему было уже за сорок лет, он сразу же произвел на меня симпатичное впечатление. Он был преисполнен рыцарства, и чувствовалось, что в нем есть сердце. При встречах с ним мы много и непринужденно болтали.

Через Веймар, Нюрнберг, Аугсбург мы приехали в Мюнхен и затем в Инсбрук. Везде делались остановки, всюду были приемы в нашу честь, утомительные для Мама с ее больным сердцем. Меня не покидала боязнь, что она может серьезно захворать в дороге. К тому же погода была чувствительно свежей, особенно когда в Партенкир-хене мы приблизились к Альпам. Долины и горы были окутаны туманом, пейзаж казался мне безнадежным. Но когда мы перевалили через Бреннер, неожиданно прояснело. Там, где вытекает Етч, уже веяло мягким воздухом, и над Южными Альпами стояло синее небо. Встав в экипаже, я вдыхала в себя этот чудесный южный воздух и смотрела вперед на дорогу, где в синем утре вырисовывались горы Италии. Вскоре направо и налево от дороги замелькали гирлянды виноградников, дома с плоскими крышами и стоящие отдельно от церкви колокольни. Когда вечером, около десяти часов, мы достигли Триеста, везде были открыты окна, поющие люди возвращались из деревни в город, и их мелодичные голоса приятно ласкали слух. Я слушала, и какое-то неведомое чувство счастья вливалось в мое сердце. Вскоре ко мне пришла Мама и положила мою руку на свое сердце. Я чувствовала его равномерное биение, а она сказала мне, что не чувствует больше тех болей, которые, не переставая, мучили ее в течение нескольких месяцев. Мы обе плакали радостными слезами. Здоровье Мама, которое было целью нашего путешествия, восстановилось, как только мы ступили на землю Италии.

Наш путь лежал через Брешиа, Верону, через Ломбардию в Комо. Там нас нагнал курьер из Петербурга, принесший весть, что Папа через Прагу также выехал в Италию. 4 октября, когда мы обе были еще в постели, я услышала барабанный бой, подняла штору и вскричала: «Это Папа!» Чтобы сделать нам сюрприз, он приехал на три дня раньше, чем его ожидали. С его приездом для меня

настали дни уверенности и покоя, который он всегда распространял вокруг себя. Все вместе мы поехали в Геную и оттуда, два дня морем, в Палермо. Мама была совершенно ослабевшей после морской болезни. Ее снесли в экипаж. Мы проехали через город и должны были еще полчаса добираться до предназначенной нам виллы «Оливуцца». Она принадлежала княгине Бутера (русской по происхождению) и была устроена в привычном для нас вкусе. Палермо не показался мне по приезде таким эффектным, как Генуя или Неаполь. Я могла бы сравнить его с натурой, которая открывает свои сокровенные нежные стороны характера только постепенно. В саду нашей виллы росло все, что только есть в Италии: олеандры, пальмы, сикоморы, бамбуки и густые кусты мимоз, на клумбах – фиалки и розы, в изобилии. Любимая скамейка Мама стояла под кипарисом. Оттуда можно было видеть через цветы и зеленые газоны маленькое возвышение со стоящим на нем небольшим храмом, по правую руку синело море. Уже в первые дни Вера Столыпина и я предпринимали на осликах далекие прогулки по окрестностям. Мы были совершенно одинаково одеты, в платья из козьей шерсти и в круглых шляпах из итальянской соломки.

В один прекрасный день граф Потоцкий, наш посол в Неаполе, возвестил нам о визите короля Фердинанда II Неаполитанского. Королева Тереза не смогла его сопровождать, так как еще поправлялась после шестого ребенка. Король был огромный, настоящий колосс. Он был воспитан, как все бурбонские принцы до революции 1789 года, и так же, как Людовик XIV, был уверен: «Государство – это я». Он думал, что Папа является воплощением абсолютной власти, и открыл ему свое сердце. Как глубоко было его удивление, когда Папа сказал ему, что считает себя первым слугой своего государства и для него прежде всего долг, а потом уже собственные удобства и развлечения. Он был очень смущен и признался, что был воспитан в ложных идеях и ложных представлениях. Он старался во всем подражать Папа. Надо считаться с этим, когда оцениваешь его личность или говоришь о тех ошибках, которые были сделаны в его правление. В глубине души это был честный человек. Когда мы после месяцев пребывания в Палермо поехали через Неаполь, мы несколько раз имели возможность убедиться в его деликатности и дружбе к нам. Он приходил, только когда Мама приглашала его, и каждый раз, когда говорилось о Папа, он сиял и называл его своим образцом для подражания.

Наше посольство в Неаполе делало все для того, чтобы Мама

чувствовала себя в Палермо как дома. Из России выписали печи и печников, которые их ставили, русские пекари выпекали наш хлеб, ничто не должно было напоминать Мама, что она вдалеке от России. У нас были православная часовня и священник, дьякон и певчие с Родины. Если бы не солнце и то неописуемое чувство счастья, которое охватывает нас, людей севера, при виде моря, света и синевы, можно было бы думать, что мы дома.

Во время одной из наших поездок по окрестностям нас провели в униатскую церковь. Внутри все было такое, как у нас, даже ризы священников; но эти последние подчинялись папе римскому и не смели жениться. Рядом, в семинарии, воспитывались обращенные из православия молодые люди. Я разговорилась с ними на духовные темы и должна была сдерживать смех, видя, как ловко они старались парировать мои вопросы. По-видимому, я произвела на них большое впечатление, потому что на следующий день несколько семинаристов появились в саду нашей виллы, куда они перелезли через стену, и когда я сошла на утреннюю прогулку, они бросились к моим ногам, загородили дорогу и кричали наперебой, что они непременно хотят стать русскими подданными и что я должна им помочь попасть на русские суда. Я была так напугана этим неожиданным вторжением, что позвала на помощь. Лейб-казаки Мама прибежали ко мне и отвели их в семинарию. Их разочарование было велико, но благодаря нашему заступничеству они избежали наказания.

Наступала осень, но дни оставались по-прежнему синими и мягкими. Почти ежедневно мы предпринимали поездки. Одна из самых прекрасных была на Монте-Пеллегрино, куда мы взбирались на наших маленьких осликах. Вид, который открывается при подъеме, заставляет чаще биться сердце. Красные скалы вблизи, вдали синева моря, между ними апельсиновые рощи и темные кипарисы, выделяющиеся на фоне серых маслин, – я все еще вижу это сегодня, так же как и грот, к которому мы попали через темную лощину. В этот грот, как рассказывает легенда, святая Розалия, покровительница Палермо, бежала в день своей свадьбы. Она посвятила свою девственность Жениху Небесному и готова была потерять трон, лишь бы сберечь душу. Статуя Святой стояла в гроте, вокруг нее приношения паломников, на ее шее был надет Мальтийский крест на черной ленте. Глядя на статую, я невольно подумала: обречена ли и я, как эта Святая, на девственность? Это было 10 ноября, я никогда не забуду этого дня. Вечером, когда перед сном я раскрыла

Евангелие, я натолкнулась на то место в послании Святого Павла, которое всегда встречалось перед решительными моментами в моей жизни. Мое сердце забилось. И действительно, на следующий день Папа позвал меня к себе в необычный час. «Прочти, – сказал он мне и протянул несколько депеш, которые ему доставили из Риги, – прочти и не торопись с ответом; ты совершенно вольна в своем выборе; помолись сначала!»

Первая депеша была из Штутгарта и содержала запрос короля Вюртембергского о том, может ли его сын представиться мне в Петербурге, Вене или Палермо, потому что он очень хотел бы познакомиться со мной. Вторая весть была от Меттерниха из Турина о том, что Императорский Дом снова заинтересован в сближении, если австро-русская женитьба сможет облегчить положение Римской церкви в русских землях и если Император, как представитель Православной церкви, согласен примириться с папой римским. Папа протестовал против разговора о примирении, так как для него не существовало ни спора, ни конфликта между обеими Церквями. Ввиду возможности австро-русского брака он говорил только о желаемых дружественных отношениях между обеими Церквями. Встреча с папой римским предусматривалась в ближайшие недели.

Карл I (1823–1891) – король Вюртембергский с 25 июня 1864 года. Муж Ольги Николаевны

Событие, о котором я мечтала в течение семи лет, казалось

осуществимым. Но тут впервые во мне поднялись сомнения. Я буду привязана к мужу, который, не имея прочного положения, целиком зависит от всесильного Меттерниха. Как странно, что я никогда не думала об этом прежде! Неожиданный запрос из Штутгарта поверг меня в недоумение. Но я недолго колебалась. Я подумала о Папа и его совете и предоставила все решить за меня Господу. Папа же я предложила назначить визит Вюртембергского кронпринца на январь, до тех пор будут закончены переговоры в Риме, и он сам сможет решить, который из обоих претендентов более приемлем для меня, а также и для него. Я снова почувствовала себя спокойной и счастливой и благодарила Господа, в руках Которого была теперь.

Папа покинул нас в конце ноября, чтобы через Неаполь, Рим и Венецию возвратиться в Россию.

Пронизанные сиянием солнца дни следовали один за другим, такие светлые и легкие; часы пролетали за часами без однообразия, и ко всему этому – моральное и физическое самочувствие, вызывавшее радость бытия, согревавшее, как ласковый огонь. Однажды вечером на наш двор пришли два музыканта, один играл на флейте, другой ударял в тамбурин. Горничные, лакеи, повара и садовники сбежались отовсюду и начали под звуки этой музыки танцевать тарантеллу. Маленькая темнокудрая горбунья с желтым платком на плечах танцевала с таким же упоением, как самая красивая девушка. Музыкантов попросили к нам наверх, и мы тоже закружились в танце под звуки кастаньет; даже Апраксин и старая княгиня Салтыкова вспомнили грацию своих двадцати лет. Мы все кружили вокруг Мама, которая сидела посреди нас, счастливо улыбаясь.

Перед Рождеством пришло письмо от Папа из Венеции. Вюртембергский кронпринц представлялся ему там, и Папа писал: «Благородство его выдержки и манер мне нравится. Когда я ему сказал, что решение зависит не от меня, а от тебя одной, по его лицу пробежала радостная надежда».

Иными были вести из Вены под конец года. Сначала пришло короткое письмо от Адлерберга. «Все кончено», – писал он. Мне показалось в один момент, точно погасили семь лет моей жизни. Но когда после этого пришло подробное письмо с описанием визита Папа в Вену, в глубине моей души шевельнулось что-то, похожее на благодарность. За пышными приемами, торжественными спектаклями и балами в честь Папа скрывалось

не что иное, как отказ и боязливое ожидание грядущих мрачных событий. Меттерних в разговорах с Папа производил впечатление собственной тени, его влияние ослабевало и опиралось только на былую славу его имени. В Венгрии – брожение, в Богемии вспыхивало стремление к независимости, положение Стефана там было далеко не прочным. Что бы случилось со мной, если бы я была женой Стефана, после катастрофы, когда он, скомпрометированный и преследуемый, должен был окончить свою жизнь в изгнании! Но еще менее приятным, чем все это, был разговор, который Папа имел с Императрицей-матерью Каролиной Августой. В своих апартаментах она подвела его к алтарю, сооруженному на месте кончины Императора Франца I, и начала говорить о гонениях, которым подвергается римско-католическая церковь в России. С театральными жестами она спросила, видит ли Папа возможность изменить это положение. Папа возразил ей, попросив доказательств таких гонений. На это Императрица не смогла ему ответить и стала говорить о русских законах, которые были направлены против католичества. «Назовите мне их!» – сказал Папа. «Я не могу сейчас точно вспомнить, – ответила она и прибавила к этому вопрос: – Должна ли эрцгерцогиня, выходя за великого князя, переменить свою веру?» – «Конечно нет», – был ответ Папа. Императрица чувствовала себя побежденной и попробовала занять более дружественные позиции. Но Папа был очень рассержен, тем более что в разговоре Императрица даже не упомянула обо мне.

Совершенно откровенно он сказал ей, что это она порвала с традициями, которые связывали покойного Императора с Русским Царствующим Домом. Папа доказал свою верность своим визитом в Вену и хотел это сделать перед глазами всей Европы, но сама Австрия оттолкнула его.

Он уехал, и все было кончено. Может быть, Папа реагировал слишком круто, не принимая во внимание трудное положение в Вене, но не было ли это перстом Провидения? Вена также была очень разочарована таким оборотом событий. Орлов слышал это от Лихтенштейна и Виндишгреца. Меня желали видеть невестой Стефана и видели в этом залог продолжения Священного союза.

Курьер со всеми этими новостями прибыл к нам незадолго до Нового года, когда я с Верой сидела за итальянским уроком. Мы горели желанием поскорее прочесть почту. Вера увидела между письмами письмо от своего брата, который должен был ей сообщить о князе Голицыне. Она любила его и несколько недель

спустя стала его счастливой невестой, – и все же мы довели урок до конца. Мы обе были так взволнованы, так тронуты содержанием писем, что предпочли вечером, вместо того чтобы идти в театр, как предусматривалось, пойти к вечерне в церковь. Затем наступил последний день 1845-го года, и я испытывала грусть от того, что Папа не было с нами: он каждый год благословлял меня в этот день.

1846 год

Проснувшись в день Нового года, я увидела перед моей постелью ковер, затканный розами. Его приготовила для меня Анна Алексеевна. Только по цветам должны были ходить мои ноги в этом году, так желало мне это любящее сердце. После обедни мы завтракали в саду и там же принимали новогодние поздравления. Потом на прогулке мы спускались вниз к гавани и увидели, как к красивой церкви Мария де Катена причалила шлюпка. Из нее вышли лакеи в ливреях с чемоданами и пальто в руках. Кто был неожиданным гостем? Может быть, он?

Возвратившись домой, мы узнали, что почтовый пароход Неаполь – Палермо, который должен был привезти нам весть, что приезжает Вюртембергский кронпринц, опоздал из-за непогоды на двенадцать часов, из-за чего принц прибыл одновременно с письмом, извещавшим о его визите. Тотчас Кости был отправлен в отель, где остановился гость, чтобы приветствовать его и привезти к нам.

Я была готова с переодеванием еще раньше, чем Мама. В белом парадном платье с кружевами и розовой вышивкой, с косой, заколотой наверх эмалевыми шпильками, прежде чем войти, я подождала минуту перед дверью в приемную. Два голоса слышались за ней: молодой, звонкий голос Кости и другой, мужской, низкий. Что-то неописуемое произошло в тот миг, как я услышала этот голос: я почувствовала и узнала: это он! Несмотря на то что мое сердце готово было разорваться, я вошла спокойно и без смущения. Он взял мою руку, поцеловал ее и сказал медленно и внятно, голосом, который я тотчас же полюбила за его мягкость: «Мои Родители поручили мне передать вам их сердечнейший привет», при этом его глаза смотрели на меня внимательно, точно изучая.

Вечером за столом были только самые близкие. Он был скорее застенчив, мало говорил, но то немногое, что он сказал, было без позы и совершенно естественно. При этом он ел с аппетитом, что не согласуется с законом, говорящим о том, что влюбленный не может есть в присутствии дамы своего сердца. Это обстоятельство было также замечено и отмечено нашим окружением. Перед тем как идти спать, я сказала Анне Алексеевне: «Очень прошу вас: ни слова о сегодняшнем дне; я не буду в состоянии что-нибудь сказать вам об этом раньше, чем, по

крайней мере, через неделю».

Прошло четыре дня. Я познакомилась с его свитой, со старым графом Шпитпенбергом, адъютантом фон Берлихингеном, врачом Хардеггом и секретарем Хаклендером. Мы гуляли, а по вечерам весело играли в разные игры, но пока еще не нашли случая для разговора с глазу на глаз – наше общество было слишком мало для того, чтобы можно было уединиться. 5 января, в сияющий солнечный день, Мама предложила нам поездку на Монреаль. Мы шли пешком по горной дороге вверх, я опиралась на руку Кости. Он с Мама позади нас. Солнце было близко к закату, и окружающие горы ясно обрисовывались на вечернем небе: темно-синие, в розовом освещении, которое, казалось, заливало весь край, лежавший у наших ног. Простыми, сердечными словами он говорил Мама о том, как счастлив видеть такую красоту. Когда я слушала его голос, во мне развивалось и углублялось чувство доверия, которое я испытала к нему в момент первой встречи.

На следующий день было Крещение (в России оно празднуется по старому календарю и связано с водосвятием), и я жарко молилась, чтобы Господь вразумил меня и указал, как мне поступить. Я встретилась с кронпринцем после службы в комнате Мама. По ее предложению мы спустились вниз, в сад. Не помню, как долго мы бродили по отдаленным дорожкам и о чем говорили. Когда снова мы приблизились к дому, подошла молодая крестьянка и с лукавой улыбкой предложила Карлу букетик фиалок «пер ла Донна» (для госпожи (ит.)). Он подал мне букет, наши руки встретились. Он пожал мою, я задержала свою в его руке, нежной и горячей.

Когда у дома к нам приблизилась Мама, Карл сейчас же спросил ее: «Смею я написать Государю?» – «Как? Так быстро?» – воскликнула она и с поздравлениями и благословениями заключила нас в свои объятия.

Анна Алексеевна была первой, кого мы посвятили в случившееся. Она после первой же встречи поняла, что происходило в моем сердце. Я знала и чувствовала, что все хорошее во мне должно было пробудиться теперь, когда я любила и была любимой, и я молилась о том, чтобы Господь сделал меня достойной Карла.

Со всех сторон посыпались поздравления, – в России слуги принимают участие в семейных событиях, как нигде в другой

стране, – я была тронута их радостью, они целовали мне руку, а моему жениху плечо. День прошел за писанием писем; было решено объявить помолвку, как только придет письмо Папа из Петербурга. Кости, который увлекался теперь всем античным, сравнил меня с Пенелопой и её женихами. «Ну, – говорил он, – наконец появился и Улисс (Одиссей)!»

Как он выглядел? Выше среднего роста, он был выше меня на полголовы. Глаза карие, волосы каштановые, красиво обрамляющие лоб и виски, губы полные, выгнутые, улыбка заразительная. Руки, ноги, вся фигура была безупречна. Таким я вижу его перед собой, с одной только ошибкой: он был на шесть месяцев моложе меня. О, какое счастье любить!

Прошли три безоблачных дня, на четвертый письмо из Штутгарта омрачило нашу радость. С поздравлениями о помолвке пришло известие о том, что король Вильгельм (отец Карла) заболел. Старый Шпитценберг считал, что надо сейчас же возвращаться; но Мейендорф сумел убедить его, что даже в том случае, если надо ожидать конца, они не смогут приехать вовремя и лучше поэтому оставаться и ждать дальнейших вестей. Зачем разлучать нас в эти первые дни счастья, которые никогда не повторятся?

Таким образом, нас ожидало еще несколько счастливых дней и первое совместное празднество – на корабле «Ингерманланд» в нашу честь давался бал. Палуба была украшена шатрами из флагов всех стран, играл военный оркестр, и первый танец я танцевала с Карлом. По его просьбе я надела платье, которое было на мне в день помолвки: фиолетовое с жакеткой с жемчужными пуговицами. Я упоминаю эти мелочи, оттого что, когда любишь, каждой мелочи придаешь значение.

Однажды, когда Мама привела его ко мне наверх, в мою красивую комнатку, он остановился на пороге и поцеловал меня в лоб. С тех пор моя комнатка казалась мне освященной. Идти с ним под руку или, прижавшись головой к его коленям, сидеть у его ног и слушать, как он повторяет: «Оли, я люблю тебя», – все это подымало меня на небеса. Для невесты дни проходят, как один-единственный сон; она живет в привычной обстановке своего окружения, но поднятая высоко надо всем своей любовью и душевным озарением. Для жениха, конечно, это время более смелых желаний и надежд.

Наш сон продолжался неполных десять дней. Врачи из

Штутгарта написали, что непосредственная опасность устранена, но в возрасте короля (ему было шестьдесят четыре года) поправка идет медленно и поэтому было бы желательно, чтобы кронпринц вернулся. В момент, когда звал долг, колебаний уже не было. 16 января он еще раз пришел к любимому нами часу завтрака, мы сошли с ним в сад и обошли все любимые дорожки вдоль стены, которая была покрыта цветущими розами и малиновыми бугенвиллиями. В последний раз мы вместе вдыхали аромат, в котором пробудилась наша любовь. Наконец настал час разлуки, тем более жестокой, что мы не смели писать друг другу, не имея ответа из Петербурга. Две недели нужно было, чтобы письмо дошло в Петербург, и столько же обратно; целый месяц мучительного ожидания стоял перед нами. Из Генуи мы получили несколько строк, написанных его рукой и адресованных Мейендорфу. Затем больше ничего до 5 февраля.

Несколько дней спустя мы присутствовали при посвящении в монахини в Канцелиера. Вся в белом, как невеста, она вошла в церковь с Родителями, которые подвели ее к алтарю. Священник снял с нее белый венок, приблизилась игуменья с ножницами и, после того как ее прекрасные локоны усыпали пол, набросила ей на голову черное покрывало. Затем ее вывели через решетчатые ворота. Мы пошли через другие ворота внутрь монастыря и увидели там эту молодую монахиню лежащей на полу под надгробным покрывалом. Вокруг нее читали надгробные молитвы все остальные монахини. Из этого мрачного оцепенения нас вывели удары в дверь часовни. Это вызывали нас – прибыл курьер из Петербурга. Как описать ту радость, которую принесло мне письмо Папа! Все, что было в нем нежного, было вложено в его пожелания и благословения, только маленькая приписка в конце: «Думай немного еще о твоем Папа, который будет так одинок без тебя» – говорила о грусти. В письме к Мама он описывал радость народа и как в Петербурге люди на улице кричали друг другу: «Наша Ольга Николаевна – невеста!» Теперь народная гордость была удовлетворена, после того как браки обеих моих сестер считались недостаточно достойными для дочерей Императора.

Что мне еще сказать об этих последних неделях в Палермо? Только половина моего существа была еще там. Мейендорф, который жил некоторое время в Штутгарте, рассказывал мне о городе и стране, которая должна была стать моей новой родиной. Он дал мне книги Уланда, Гауфа и Шваба для чтения и назвал ученых страны. Скоро прибыли письма от короля, – он писал очень сдержанно, – от будущих невесток Мари и Софи, которые

писали «дорогая кузина», и от королевы, которая просто и любовно писала мне: «Ты, дорогая дочь». Письмо Карла прибыло, благодаря несчастливому случаю, последним. С момента, как оно было в моих руках, я стала регулярно вести дневник и посылать каждую неделю ему эти листки. Он делал то же самое, и еще теперь, после 36 лет брака, мы придерживаемся этого обычая. Мой ответ королю был написан с помощью Мейендорфа, который, зная его характер, взвешивал каждое слово. В ответном письме моей свекрови еще непривычный мне немецкий язык также заставил меня хорошенько подумать.

Наше пребывание в Палермо подходило к концу. Цель поездки была достигнута. Мама поправилась так, как давно этого уже не было: она прибавила в весе, плечи и руки стали такими полными, что она снова могла показаться с короткими рукавами. Ее веселость росла вместе с силами, которые позволяли ей снова вести ее обычную деятельность. Как я была счастлива быть при ней, как я наслаждалась каждым моментом, когда она еще принадлежала мне!

Весенним днем – розы и апельсинные деревья стояли в полном цвету – мы распрощались с Палермо. Утром я в последний раз стояла у открытого окна, долго смотрела на море, на Монте-Пеллегрино, а затем закрыла глаза, чтобы впитать эту картину.

Улица, ведущая к гавани, была покрыта народом, когда мы по ней спускались. Люди махали с крыш и балконов и показывали таким образом, как они любили Мама, у которой всегда была «широкая рука» для бедных; она была ласкова с детьми и исполнена приветливости к каждому. Со всех сторон слышались прощальные приветствия: «Адио, ностра Императриче!» Тысячи маленьких лодок, шлюпок и пароходиков крутились в гавани, и люди с них долго кричали нам вслед благодарные пожелания. Мы были глубоко тронуты таким сердечным участием чужого нам народа.

В Неаполе был официальный прием Двора. Нас встретили пушечным салютом. Король Фердинанд II с братьями и большой свитой стоял в гавани в парадной форме. Королева встретила нас в замке; это была бывшая эрцгерцогиня Тереза, которая когда-то, будучи девушкой, пленила мое детское сердце в Теплице и Праге. Какая перемена с тех пор! Под влиянием строгого духовника из веселой, любезной девушки она сделалась безжизненной, куклоподобной ханжой. Рассказывали, что этот духовник каждый

вечер благословлял супружеское ложе, перед тем как они ложились на него. Королева была крайне озабочена доброй моралью в балете, театрах и моде. Так, она предписывала зеленые трико вместо розовых, картины, на которых были видны большие декольте у дам, по распоряжению цензуры покрывались черной вуалью до подбородка. С церковных кафедр порицали бесстыдную моду, которая обнажает грудь и руки и только черта тешит. Указывали на закутанную одеждой Королеву, которая должна была служить примером для каждой женщины страны.

Меня королева встретила как чужую. Она не протянула мне руки и не говорила мне «ты», как прежде. Король, который знал о нашем старинном знакомстве, пригласил меня, по своему добродушию, после службы в церкви в интимные покои семьи; там, среди своих шести детей, которые доверчиво со мной играли, королева немного смягчила свою сухость. С легким сердцем я оставила этот Двор в его неподвижности.

Неаполь мы покинули на пароходе и после 8-часового путешествия прибыли в Ливорно. Там нас встретил русский консул и проводил в отель, где нам сейчас же вручили два письма. Одно извещало Мама о смерти ее горячо любимой тети Марьянны. Это было ужасным для нее ударом. Другое же, – прости мне, Боже, мою радость в такую минуту, – принесло мне неожиданную весть, что мой Карл на следующий день прибудет в Ливорно.

Во время дальнейшего путешествия мы проехали мимо Пизы, мимо кривой башни Кампо-Санто, но я едва смотрела на все это – мой Карл был со мной, и я видела только его. Во Флоренции он жил в том же отеле, что и мы. Отель этот стоял на берегу Арно, против палаццо Липона (собственность бывшей королевы Каролины Мюрат), его сад спускался к самому берегу, и наш балкон отражался в воде. Весна во Флоренции, ее цветение, ее сияющие дни приносили радость за радостью. Наши комнаты были заполнены цветами, и на торжественные вечера великогерцогского Двора в Тоскане я украшала себя живыми цветами. Герцогиня, вторая жена Великого герцога Леопольда и сестра короля Неаполитанского, была замечательной женщиной. Она жила только для своего мужа и детей, в почти обывательском счастье. Замечательные сокровища искусства, которые окружали ее и заполняли ее каждодневную жизнь, представляли с этим разительный контраст.

Над постелью герцогини висела Мадонна дель Грандича Рафаэля, на столе во время торжественных приемов лежали ножи,

вилки и ложки, а также стояли сосуды из мастерской Бенвенуто Челлини. Когда подымались из-за стола, то шли в салоны галереи Питти, самой прекрасной в Италии, картины которой собирались в течение веков любящими искусство владетелями страны, а основоположниками были Медичи. Я прекрасно запомнила поездку в Поджио а Чаяно, загородный дворец Лоренцо Великолепного, примерно в двух часах езды от Флоренции. Серебряный свет Тосканы разливается над зелеными холмами в долину Омброне, восточного притока Арно. Сам замок стоит высоко над берегом реки, смотрит на зеленые купы деревьев, и над ним господствует божественная тишина. Там, у наших любезных хозяев, я впервые поняла тихую радость этого цветущего уголка, который так хорошо управляется, обложен минимальными налогами, и народ с доверчивостью смотрит на своего Государя, совсем по-другому, чем в Неаполе-Сицилии, где его подавляют, угнетают налогами и где царит произвол. Здесь все дышало миром, доверием и прочностью. И все же три года спустя здесь была революция, и семья властелина бежала в изгнание.

Я не буду описывать наши посещения церквей, дворцов и монастырей Флоренции, они все очень хорошо известны, я же сама в то время была еще незрелой и неуверенной в том новом, что мне встречалось, чтобы дать направление моему вкусу. Карл провел целую зиму во Флоренции, благодаря чему его вкусы и взгляды были уже увереннее, он любил предшественников Рафаэля и привел меня к картинам Фра Анджелико, чтобы я тоже полюбила их. Я смотрела на все его глазами и слушала его в упоении; но предстоящая большая перемена в моей жизни слишком занимала меня, чтобы у меня сохранились ясные воспоминания и впечатления. Тогда мне казалось более важным и значительным узнать характер и натуру Карла. Его детство не было счастливым: Родители жили безо всякой внутренней гармонии между собой. Он вырос одиноким, и его потребность в ласке была очень велика. Он любил разговаривать со мной во время прогулок в саду, по берегу Арно. Когда я сидела в комнате с работой в руках, он быстро становился нетерпеливым; это напоминало ему совместные семейные вечера дома, где мать и сестры молча сидели за своей работой, дрожа заранее от придирок короля. Когда он узнал, что день моего рождения по заграничному исчислению приходится на 11 сентября, он воскликнул: «О, он лежит как раз между днями рождений моих Родителей! Это может означать, что тебе суждено стать соединяющим звеном между обоими». Он разгадал мою натуру и

указал мне таким образом направление моего пути.

21 апреля мы покинули Флоренцию и ехали короткими дневными этапами через Болонью и Падую в Венецию. Там мы провели еще целую неделю, и там же было решено, что наша свадьба состоится 1 июля. Доктор Мандт считал, что здоровье Мама настолько окрепло, что ей незачем ехать в Бад-Эмс или Шлангенбад, а можно возвращаться прямо в Петербург. Перед этим была еще намечена встреча в Зальцбурге с королем и королевой Вюртембергскими. Во время поездки по Ломбардии погода изменилась, начал идти дождь, а когда мы прибыли в Триест, поднялась сильнейшая гроза. В несколько часов ручьи, стекавшие с гор, залили дорогу, и мы не могли проехать дальше. Генерал Врбна, сопровождавший нас через Австрию, поехал вперед, чтобы устроить нам квартиры. Когда он узнал о наводнении, то пересел из экипажа в лодку, чтобы возвратиться к нам. Мы должны были три дня ожидать в Триесте. Источник многих неприятностей для путешественников, это наводнение только радовало нас, жениха и невесту, и на каждое приключение мы смотрели как на приятное развлечение. Каждое утро во время завтрака Карл читал нам «Лихтенштейна» Гауфа, и каждый вечер мы шли в театр, примыкавший непосредственно ко двору нашего отеля. Деревенская публика ела в антрактах апельсины и бросала их корки тут же на пол. Актеры, не менее естественные, чем публика, вызывали у нас своей игрой гомерический хохот.

Суровым показался мне въезд в горы Тироля. Синева Сицилии, серебряный отсвет Тосканы, были ли они наяву? Было ли счастье только сном, а действительность пробуждением, которое разгоняло его? Холод проник в мое сердце. Первую ночь в горах мы провели в монастыре Св. Иоанна, окруженном со всех сторон горами, безо всякого вида на окрестности, а над нами возвышались снежные вершины, освещенные заходящим солнцем. Последние лучи окрасили их розовым пламенем. Красиво, но какой тоской повеяло на меня от этого впервые виденного горения Альп. Момент блеска, триумфа – затем молчание, ночь навеки. Горы и мрачные леса давили на мое сердце, и от этого впечатления я не избавилась на всю жизнь. Дитя равнины, я ношу в себе желание видеть большие пространства; море, зеркало дальних вод дает мне радость и легкое дыхание.

В Зальцбург мы прибыли около полудня. Мама, боясь натянутости официального представления, решила импровизировать встречу с королем и королевой

Вюртембергскими. Она приказала экипажу попросту остановиться у отеля, где жила Королевская семья. Первая встреча произошла в полутьме вестибюля. Затем сели большим обществом за круглый стол. Я была так взволнована, что боялась задохнуться. Карл пожал мне руку, король смотрел на меня с любопытством своими поблекшими глазами. На следующий день этот взгляд стал более благосклонным. Он был недоволен неожиданностью встречи и винил Карла в том, что он не известил его о намерении Мама. Таким образом, его настроение не было блестящим. Милая, добрая королева, которая знала все выражения его лица, казалось, ожидала грозы и была совершенно сконфужена. Карл скоро вывел меня из этого круга в комнату своей младшей сестры Августы. Как раз в это время она стояла перед зеркалом и прикрепляла брошку к своему лифу. Карл схватил ее за плечи и быстро повернул, так что мы оказались лицом к лицу друг перед другом. Она вскрикнула от неожиданности и бросилась мне на шею. Я облегченно вздохнула – лед растаял.

На следующий день была чудесная погода, и мы поехали на прогулку. Мама с королевой и Августой, я с Карлом и королем в экипаже последнего. Манеры короля напоминали прошлое столетие, тон, которым он обращался ко мне, был скорее галантным, чем сердечным, его разговоры любезны, подчас даже захватывающи, но всегда такие, точно он говорил с какой-либо чужой принцессой, ни слова, могущего прозвучать сердечно или интимно, и ничего о нашем будущем. Казалось, он избегал всего, что могло вызвать атмосферу непринужденной сердечности. Такое поведение казалось мне, с детства привыкшей к свободе и откровенности, совершенно непонятным, и мое сердце сжималось от мысли, что мне придется жить под одним кровом с человеком, который был мне непонятен и чужд. И все же как Государь, самый старший среди немецких князей, он считался самым способным. Он был просвещенных либеральных взглядов и дал своей стране конституцию задолго до того, как она была принята в других странах. Он правил страной 30 лет, и это было счастливым для нее периодом. Все это я уже знала до встречи с ним и старалась теперь думать об этом, чтобы увеличить хотя бы мое уважение к нему, раз сердце для него молчало. И это уважение стало почвой для всех моих последующих с ним отношений. Я ему обязана многим, он научил меня выражаться точно и вдумчиво, что было необходимо, например, при передаче ему моих бесед с нашим послом в Штутгарте Горчаковым, для которого я служила как бы рупором в его сношениях с королем.

Но вернемся в Зальцбург. Королева расспрашивала обо мне

Анну Алексеевну и обещала ей, что будет относиться ко мне как к своей дочери. Она сдержала свое слово и относилась ко мне всегда с большой добротой, несмотря на все старания, которые делались, чтобы поссорить нас. Ее лицо носило следы былой красоты, щеки были розовыми и свежими, и когда она улыбалась, были видны два ряда белоснежных безупречных зубов, которые она сохранила до глубокой старости. Ее волосы в то время тоже были еще совсем темными. Но фигура у нее была тяжеловатой, без грации и гибкости, хотя вся внешность ее не была лишена спокойной величавости. Разговоры на балах и приемах она вела несколько однообразные и не скрывала равнодушия к своим собеседникам. Распорядок дня ее был строго урегулирован, она боялась движений и перемен и была бы для человека с обывательскими привычками идеальной женой. Она была полной противоположностью второй жены короля Вильгельма Вюртембергского, королевы Екатерины Павловны, сестры Папа (ошибка автора), женщины во всех отношениях недюжинной, что невольно раздражало короля, и он часто бывал несправедлив и придирался к ней. Она же, будучи по природе безобидной и доброй, не могла играть никакой роли в политике. Она была прекрасной рукодельницей, но совсем не могла отражать насмешек или понимать иронию и сейчас же, как улитка, уходила в свой домик, откуда потом с трудом выбиралась. Ко мне она относилась прекрасно, и я не могу себе представить лучшую свекровь. Она никогда не вмешивалась в нашу жизнь и порядок нашего Двора. Она не знала ревности и не ставила никаких требований. Мне она была благодарна за каждую мелочь и внимание, которое я ей оказывала.

Совместная жизнь в Зальцбурге подходила к концу, Карл и его семья поехали через Мюнхен в Штутгарт, а мы, в конце мая, в Линц, куда нас просила приехать милая Императрица Австрийская Мария Анна, чтобы заверить нас в своей дружбе и симпатии. С разных сторон делались попытки помешать этой встрече, но Мама слушалась только своего сердца, тем более что у нас совсем не было причин избегать ее. После первых же слов приветствия Императрица заговорила о переговорах, которые постоянно начинались из-за меня. Она с жаром заверила, как она лично была бы счастлива иметь меня своей родственницей, тем более что полюбила меня с первой встречи в свое время в Теплице. Мама же заметила, что не стоит теперь говорить о прошлом. Императрица подарила мне парадное платье из богемских кружев на розовом шелку. Мама выбрала от приехавших из Вены ювелиров и представителей модных домов

разные красивые вещи для моего приданого, которые до краев заполнили наши чемоданы. Их затянули ремнями и, закрыв, привязали к экипажам, чтобы уже не открывать до Петербурга.

Наш дальнейший путь лежал через Прагу, где проживал эрцгерцог Стефан, который хотел нас встретить. Наша встреча произошла на Градчане. Мне было очень интересно наконец-то увидеть героя моих мечтаний наяву! Наверное, и он испытывал то же чувство, с той только разницей, что мне удалось наконец встретить человека, которого искало мое сердце, в то время как он должен был еще искать. Хотел ли он вызвать во мне сожаление к своей неудачной судьбе? Если да, то он сделал это очень неумело. Его манера держаться казалась мне неестественной, возможно, что его разговор и заинтересовал бы меня, если бы он не старался все время показать себя в как можно выгодном свете. Он был полной противоположностью эрцгерцогу Альбрехту, которого мы еще раз встретили в Зальцбурге и простота и естественность которого опять были нам так приятны. Чувствовалось, что Стефан очень честолюбив и очень доволен собой.

Из Праги через бесчисленные туннели поезд повез нас в Брюнн и Краков, и наконец в Варшаве Папа заключил нас в объятия. Он, не переставая, смотрел на меня, и в его глазах я замечала грусть от предстоящей разлуки. Когда я вновь ступила на родную землю, я с силой ощутила то чувство, которое вызывает Отечество, и я поняла, почему Господу было угодно завести меня так далеко от всего родного, чтобы ничем не стесненной сделать выбор сердца. Наконец, 3 июня мы приехали в Петергоф. Была чудесная погода, и мы тотчас же пошли в церковь, двери которой были широко открыты. После молебна перед церковью была радостная встреча с Мари и братьями, родственниками и друзьями. Мы обменивались поздравлениями, так как многие из моих подруг тоже стали невестами. Каким радостным, каким сердечным было все вокруг! Все встречали меня так ласково, все старались сделать мне приятное, всячески доказать свою любовь. Еще теперь, когда я пишу это, я с волнением вспоминаю все трогательные проявления любви и дружбы. И все же в эти недели я чувствовала какой-то внутренний разлад, покуда не приехал Карл; я ощущала, что не принадлежу больше Родителям, друзьям и Родине, и казалась себе неблагодарной, оттого что Карл значил для меня теперь больше.

Карл прибыл в день начала маневров кадетских корпусов. В

гавани его встретили Папа и все четыре брата. Сейчас же после обеда, вместо того чтобы дать ему время отдохнуть, его посадили на коня и галопом поскакали в Стрельну на маневры. Нам, дамам, было приказано часом позднее следовать в экипажах. В Стрельне, на даче одной знакомой, мы встретились с кавалерами, чтобы пить вместе чай. После чая моему жениху было разрешено возвращаться с нами в экипаже. В одиннадцать часов мы поужинали в комнатах у Мама. Мы ни минуты еще не оставались с глазу на глаз, и Сесиль Фредерике с участием заметила: «Ну и уютная встреча для жениха с невестой!»

Вскоре Карл был совершенно захвачен личностью Папа. Сияющая беспорочность его существа, отеческая симпатия, с которой он относился к Карлу, завоевали целиком его сердце. Он благодарно относился ко всем советам, которые давал ему Папа, оттого что от своего собственного отца никогда не слыхал ничего иного, как только критику и неприязненные слова.

25 июня была торжественная помолвка в петергофской церкви, а свадьба была назначена на 1 июля, день рождения Мама и одновременно день свадьбы Родителей. Это число должно было принести нам счастье! Последние дни перед этим торжественным днем были заполнены суетой. Я проводила их в примерках платьев, в выборе и раздаче сувениров и подарков, в упаковке и прощальных аудиенциях, я не принадлежала больше самой себе. С трудом мне удалось выбрать день для поста и молитвы, чтобы пойти к исповеди и причаститься в церкви Св. Петра и Павла 29 июня. Там я просила Господа только об одном: сделать меня достойной того, с кем я буду делить свою жизнь и выполнять обязанности, которые ждали меня. Родители и братья были при этом моем последнем причастии девушкой в церкви и, конечно, также и Карл, присутствие которого еще больше углубило мое благоговение. В моей комнате Карл встретился потом с моим духовником отцом Бажановым и попросил его объяснить ему обычаи нашей Церкви. 30 июня, согласно своему обещанию присутствовать на моей свадьбе, прибыл дядя Вильгельм, принц Прусский. Наша дружба относилась еще к совместному пребыванию в Эмсе в 1840 году. Так же дружественно он относился и к Карлу; с 1840 по 1842 год Карл учился в университете в Берлине и часто посещал то общество, которое собирала вокруг себя принцесса Августа. К ее кругу принадлежали в то время такие умы, как Ранке, Савиньи, Курциус и другие.

Когда я вечером 30 июня поднялась в последний раз в свою комнатку, я долго не могла заснуть. Я позвала Анну Алексеевну, и мы долго говорили на моем балконе.

После полуночи Папа постучался в мою дверь: «Как, вы все еще не спите?» Он обнял меня, мы вместе опустились на колени, чтобы помолиться, и потом он благословил меня. Как он был нежен ко мне! Какой бесконечной любовью звучали его слова! Потом он поблагодарил Анну Алексеевну за все, что она сделала для меня во время нашего десятилетнего совместного пребывания. В дверях он еще раз повернулся ко мне и сказал: «Будь Карлу тем же, чем все эти годы была для меня Мама!»

Наступил торжественный день. Уже рано утром нас разбудили трубачи под окнами. Я поспешила к Мама, чтобы поздравить ее и передать мои подарки. Я подарила ей медальон с моей миниатюрой и маленький секретер из орехового дерева с сиреневым бархатом. Она пользовалась им до самой смерти и держала в нем свои частные бумаги; после ее смерти там нашли ее духовное завещание.

У Мама собралась вся семья, не хватало только Карла, которого по русскому обычаю я не могла видеть в день своей свадьбы до церкви. Богослужение было назначено на и часов утра, затем меня должны были одеть в Большом дворце в наряд невесты, и в час дня начинались свадебные церемонии. Утром я должна была подписать Отречение, как это полагается в нашем Законе. Его подписывает каждая великая княжна перед своим браком. Затем Адлерберг, который в то время был министром Двора, поднес Анне Алексеевне розетку ордена Св. Екатерины. В Орлином салоне Большого дворца меня ждал наряд. Я действовала как в тумане, я не помню больше ничего до момента, как в салон вошел Карл и Папа сказал ему: «Дай ей руку!» Все вышли, мы опустились на колени перед иконой, которой нас благословили Родители. Затем на мои плечи прикололи тяжелую великокняжескую мантию, которую несли восемь камергеров, но конец шлейфа подхватил мой гофмаршал граф Бобринский и, шепнув мне тихо: «С Богом!», отечески тепло посмотрел на меня. Шествие тронулось. Сначала шли камер-юнкеры, затем камергеры, за ними статские сановники и, наконец, обер-гофмаршал граф Шувалов, предшествовавший Императорской Чете и всему семейству. Прошли шестнадцать зал и галерей дворца. В церкви собрался весь дипломатический корпус. При входе Мама обменяла наши обручальные кольца, которые мы носили уже с помолвки; после этого Папа подвел нас к алтарю.

Чудесные песнопения нашей Церкви точно созданы для того, чтобы пробудить в сердце чувства счастья и благодарной радости, и заставляют забыть всю грусть и заботы. Потом мне говорили, что редко видели невесту такой сияющей.

После православной свадьбы мы тем же порядком проследовали в лютеранскую часовню, которая была устроена в одной из дворцовых комнат. Мы стали на колени на скамейку, и пастор произнес короткую, но очень чувствительную речь. Принц Гогенлоэ-Эринген стоял, как представитель короля, подле нас.

Весь этот день, заполненный церемониями, казался мне бесконечным. Наконец, вечером нас торжественно отвели в наши будущие апартаменты, где нас встретили Саша и Мари с хлебом-солью. Тяжелое серебряное парчовое платье, а также корону и ожерелье сняли с меня, и я надела легкое шелковое платье с кружевной мантильей, а также чепчик с розовыми лентами, оттого что теперь я была замужем!

После этого мы ужинали в тесном семейном кругу, все были в прекрасном настроении и только в полночь стали расходиться. Папа еще раз благословил меня. Мама же отвела меня в спальню и покинула только тогда, когда в комнату вошел Карл.

На этом заканчиваются мои воспоминания юности. После замужества начинается совсем иная жизнь, жизнь, к которой примешиваются также и горькие воспоминания, несмотря на счастье домашнего очага. Поэтому мне кажется разумным не тревожить и не будить их! Как хорошие, так и плохие дни нашей жизни формируют наш характер. Не стать озлобленным, чтить тех, которых мы не можем любить, на зло отвечать добром и сохранить в себе чувство независимости, спокойствия и благосклонности – это было то, что я всегда старалась исполнить.

Записать воспоминания моей юности было для меня благодетельным деянием; они помогли мне прожить два года моей жизни, которые были самыми мучительными для меня. Они были заполнены болью душевной и телесной от ударов, которые один за другим на меня рушились. По мере того как я писала, я снова переживала годы моей молодости, когда все казалось мне прекрасным и точно пронизанным небесным светом. Я от души желаю, чтобы мои горячо любимые внучатые племянницы Ольга и Эльза были так же счастливы в своем детстве и в своей молодости, как была я, чтобы черпать из этой сокровищницы

воспоминаний столько же радости и утешения, сколько имела в старости я.